



ЮНОСТЬ

8
1976



с. дудник.

яблоки.

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЮНОСТЬ

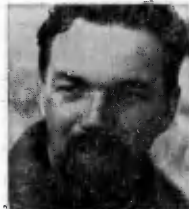


8 [255]
АВГУСТ
1976

Журнал
основан
в
1955
году

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА

Илья Фоняков



Дни проходят, пролетают ночи
Над поселками и городами.
Не длинной становяся — короче
Автобиографии с годами.

В юности — размахистой писалось,
Все тогда существенным казалось:

То, что школа кончена с медалью,
То, что был на практике в Сибири...
Жизнь влекла необозримой далью,
Открывала сказочные ширь!

А с годами мы все меньше склонны
[Говорю отнюдь не в поученье!]
Драгоценной собственной персоны
Столь преувеличивать значение.

Спорщики, строители, бродяги,
В сорок лет мы бережем чернила —
Оттираем над листом бумаги:
Что же в жизни в самом деле было!

Плотник

Мы у колозного плотника квартировали.
Мы были высокого мнения о себе.

По летнему времени — спали на сеновале,
Но вечерами подлогу засиживались в избе.

Спорщики отчаянные, как и положено
студентам,

Особенно, если ночь холодна и темна,
Мы сперва занимались текущим моментом,
А потом углублялись в прошлые времена.

Вскакивая в азарте с продавленного
дивана,

Отурец соленный сжимая в руке,
Кто-то объяснял взгляды

Карамазова Ивана,
У кого-то Раскольников с Порфирием
были на языке.

А хозяин в конце подытоживал сжато,
Вытирая лысину цветастым платком:
— Ох, и умные нынче пошли ребята!

Слушаешь вас — и чувствуешь себя
дураком!

Что я знаю!
Топор, да отвес, да уровень,
Дом построить могу,
Заработать на хлеб и табак.
У вас, конечно, другой уровень,
Образование — оно не пустяк...

А потом добавлял,
отчасти ворчливо,
На ораторов поглядывая из-под очков:
— Но еще неизвестно,
куда бы, умники, мир завели вы,
Если б не было на свете
таких, как я, дураком...

Баллада об энтомологе

Не бывает ненужных знаний:
Все сойдется когда-нибудь.
Пусть сегодня тебе ни званий,
Ни наград —
Разве в этом суть!

Жил чудак-профессор, который
Всю-то жизнь свою на земле
С увлеченьем вникал в узоры,
Что у бабочек на крыле.

«Не пора ли уgomониться,—
Кто-то сетовал,— время жечь!
Помогли бы лучше пшеницу
От вредителей уберечь!

Ведь от вас — никакой отдачи,
Так, схоластика лишь одна.
Вы подумайте, а иначе...»
Тут как раз началась война.

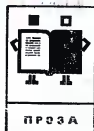
Бились яростно батальоны,
За собой взрывали мосты...
И пришел в Совет Оборонь,
Разложил профессор листы...

Вот бьются в жизни дела же!
Оказался узор живовой
Наилучшим при камуфляже
Зданий
В городе над Невой.

И когда сирена завывала,
Много жизней убергло,
Много судеб собой прикрыло
Это бабочкино крыло.

Не бывает ненужных знаний,
Все сойдется когда-нибудь,
Пусть сегодня тебе ни званий,
Ни наград —
Разве в этом суть!

Лишь была бы твоя работа
В самом деле
Делом души,
Не для слезы,
Не для отчета,
Делом чести,
Не терпящим лжи...



Ирина РАКША

А КАКОЙ СЕГОДНЯ ДЕНЬ?

РАССКАЗ

Замерзшее ноябрьское солнце осторожно поднялось и удивленно и ласково оглядело белую землю. За ночь выпал снег и сделал все неузнаваемым. И поля, и станцию, и поселковую площадь перед селом.

У магазина на первом хрустом снежке толпились женщины. Стояли, сидели на завалинке — ждали хлеба. Пришли в селпо загодя по белым прибранным улицам посудачить, новости разузнать, да и свежего теплого хлеба взять.

Похаживают в пушистых шалях, в непривычных, еще не притершихся валенках, ногами постукивают, кошелки в руках. Вдруг всполошились:

— Везут!

Голубой фургон с хлебом катил все ближе по белой площади. Вот круто затормозил под самыми окнами. Женщины шарахнулись:

— Ну, Гришка шальной!

Щелкнув дверцей, лихо выпрыгнул шофер.

— Здравствуй, Гриш, здравствуй! — вразнобой запели бабы.

— Небось, горяченький! Из пекарни?

— Привет! — Он с улыбочкой распахнул задние дверцы фургона. — А ну, малетай. Кто скорее.

И те принялись помогать — буханки носить.

В магазине еще не топлено, сумрачно, холодно. По полкам ткани, калоши, пряники. Продавец открыл железные ставни и нехотя пошел за прилавком, товар принимать.

А бабы, дыша белым морозным паром, одна за другой уже несли в обнимку живой, теплый хлеб. От машины, вверх по ступенькам и в магазин. Скрипит снег, скрипят ступени, скрипят темные половицы под валенками. На ходу балагурят, смеются:

— Ты глянь-ка, глянь, Кузьмовна-то сколь подхватила! Эй, не лопни, кума!

Маленькая, в клетчатой шали, та еле протиснулась в дверь с хлебом, будто с охапкой дров. Положила на прилавок чуть не выше головы — продавца загородила.

Рисунок
Ю. РАКША.

— Андреич, слышь, Андреич? — заглянула она в просвет меж буханок.— Дело у меня к тебе,— по сторонам глянула и тихо: — Сноху мою к себе не пристроить? Чего ей дома баклуши-то бить! Пристрой, а?

Продавца было не видно, только жилистая рука с карандашом ползала по бумажке.

— Пристрой, ради бога. На станцию ее жалко, рабочей-то, на зиму. Молодая еще,— шептала Кузьмовна.— Охота где потелее.

За буханками было тихо, потом раздалось:

— В сект-то она работала?

— Да нет,— огорчилась Кузьмовна.— На заводе была учтицей.— Но добавила живо: — С десятилеткой она, с аттестатом. А как же... Ученая.

Верхние буханки продавец снял. Они глухо стукнулись о полку. Лицо у продавца было постное, безучастное, он шевелил губами — хлеб считал, что ли.

— Не надо мне. Вон к Лизавете сходи, в чайную. Уж там куда теплее.

Кузьмовна поджала губы и пошла к выходу. И хлеба больше носить не стала, зря стараться. Села на завалинку ждать, пока все примут, обдумывать положение.

И тут к магазину, звеня сбруей, фыркая от мороза, лихо подкатила рыжая лошадевка, вперые после осени запряженная в сани. Еще на ходу соскочила Лиза, Лизавета, станционная буфетчица—приехала хлеб получать. Стоит у фургона, как сахарная, полушолок белый, шубка белая, смеется, бумажку Грише сует:

— На-ка, распишишь... тридцать буханок. И не тронь, чумазый! Вот ляпну... Подхватила с лотка, понесла в сани первые кирпичи хлеба, крикнула весело: — А ну, бабонки, помогай! Где встали!

А бабы ни с места, носы в сторону. Одна с укором:

— Ну, как же, ты мужиков наших приваживать да спазывать, а мы — «помогай»? Ишь ты, язва.

Лиза хочочет, укладывает парной, душистый хлеб на солому:

— А ты его привяжи. Чуб не сбег.

И Гришка-шофер зубоскалит:

— Да вырвется. От такой жинки как не вырваться.

Лизавета порхает от саней к фургону, считает вслух:

— Одиннадцать... четырнадцать...

Тут Кузьмовна подошла:

— Давай, Лиза, подсоблю. Давай-ка.

— Вот спасибочки! — Щеки у Лизы румяные, зубы белые.— Вот спасибочко за сознательность.

— А как же... Кузьмовна посочувствовала на ходу: — Чего сама хлеб-то возишь? Нешто положено тебе, заведующей, надирать?

— Ой, и не говори,— вздыхает Лизка.— Третью подсобницу меняю. То в декрет уходит, то не работались. Торговля — дело такое.

И Кузьмовна остановилась в объезд с буханками. Ну как тут было не погоспит:

— Слышь, Лиза. А ты сноху мою возьми. Таньку. Девко — золото. И покладистая и шустрая.

Лиза сразу посерьезнела, солидно села на край саней:

— Это та, что ль, маленькая? Витка из города привез?

— Ну, ну,— обречовалась Кузьмовна.— Из Томска. Служил он там.

Лиза подбила желтую солому с боков, лукаво на Гришку глянула:

— Взять, что ль? — И Кузьмовне: — Да ты буханки-то клади, клади.

Кузьмовна торопливо сложила хлеб, уж больно ей

хотелось пристроить сноху к делу. Но Лиза дернула вожжи, и сани поплыли от крыльца, лошадь сразу двинулась ходо, вид первого сема тревожил ее. Кузьмовна расстрелилась, но Лиза все же оглянулась, крикнула весело:

— Ладно, пусть завтра зайдет! Погляжу!

Над поселком разливался голубой рассвет, и в домах уже зажигались ранние теплые окна, когда Таня подошла к чайной. Она бежала асю дорогу из Заречья по сплящим улицам, боясь опоздать. Но у запертой двери на пороге еще лежал мягкий, нетронутый снег, и вся улица и деревянные тротуары были белы. Таня уселась на ступеньки — ждать. Вот и фонари у вокзала погасли. А Лизы все нет и нет.

Таня ждет, волнуется: как-то пройдет этот первый рабочий день, что расскажет она дома вечером? Таня думала и чертила varejku на ступеньке «Витя + Таня» и не заметила, как подошла Лиза, оглядела ее согнутую фигуру, по-хозяйски поднялась к дверям, чуть не наступив на varejku.

— Здравствуй,— вскопила Таня,— а я вас жду.

— Здорово,— усмехнулась сверху Лиза, доставая ключ, и, щелкнув коловым замком, со звоном откинула щеколду.— Ну, заходи, помощница.

Посреди пустой чайной Таня застлала столы голубыми клеенками. Взмахнул над столом, расправит, разгладит ладшами, поставит солонку.

— А Витюшка мой ничего и не знает,— говорит она весело.— Из маршрута сегодня вернется, а я, ложалте, с работы иду. Вот увидишь.

— А что ж, нечего на них надеяться. О себе самой надо думать.— Лизина голова в сахарной напольке то появляется над стойкой, то исчезает, она разбирает продукты.— И вообще девушке надо быть при деле. А то шляется за теми, кто с гитарками. Угомон не берет. А потом дети сиротами расгут.— И вздохнула: — Я тоже дурой была когда-то.

За окнами встает солнце. На стеклах цветет розовый иней. И буханки кружева на полках становятся розовыми. И такая благодать кругом, что душа у Тани поет. В чайной чисто, уютно, потрескивает дрова в печи, сладко пахнет хлебом, свежевымытыми полами, капустой.

Таня ставит греть воду, режет хлеб, говорит из подсобки громко:

— А на заводе я в стаканном цехе учтицей была. Красота, конечно. Все звенит, крутится, только успевай.

Лиза слушает и не слушает, взвешивает товар — открывать скоро.

Таня подносит ей стопку тарелок:

— А вообще-то везде интересно... — У нее мечтательные глаза.— Как говорит мой Витюка, лишь бы работать с полным кпд, верно ведь?

— Эх, детсад.— Лиза качает своей пышной красивой прической.— Мой сыншиска Толечка и то умнее тебя,— и подает ей белый передник.— На-ка вот, сегодня май надену, потом свой сошьешь.— Улыбается: — И чтоб с полным кпд, ясно!

В чайной ладно и уже душно. По стеклам течет. Гомон.

Таня ходит меж столиков, собирает посуду. Вот Гришка-шофер ест винегрет, на стойку поглядывает. Но Лизы ему не видно, только ее сахарная наполька мелькает иногда поверх голов и звонкий голос доносится:

— Котлеты — одни, хлеб — триста, следующий!

Таня стирает со столиков, поглядывая вокруг. Вот с мороза ввалились в чайную деповские девчата, в телогрейках, брюках. Запахло бензином, мазутом. Гремят в углу рукомойником, занимают столик, одну сразу посылают в очередь. Таня шурует у печи кочергой, слушает их грубоватые голоса. И к ним у нее уважение, даже почтение: кажутся ей эти двадцатилетние очень взрослыми.

Посуду со столов Таня носила в подсобку. В обед — горы посуды, только успеваешь вымыть и скорей больше столики зал, к Лизе.

— Ты больно-то не размывай, некогда, — кидает Лиза тихо. Народ к ней ломится.

Вода из крана бежит в мойку. Таня берет стакан, моет под струей, ставит на чистый поднос. Причновилась, и лопунается ловко, как на заводе поточная линия. Звенит крышкой чайник, звенят стаканы, а Таня, как в вальсе: берет — раз, моет — два, ставит — три. Раз, два, три. Раз, два, три.

Иногда, стуча босоножками, забегает Лиза. То к плите кинется, то в холодильник нырнет. На ходу спросит:

— Ну, как кпд?

— Как в стаканном чеху!

А по радио — производственная гимнастика: «Встаньте прямо, поднимите руки на уровень плеч... Таня взмахивает руками, они у нее по локоть мокры. — Упражнения начали: раз-два-три...»

Значит, в Москве только одиннадцать. А тут уже день к закату. За белым морозным окном проехал красный автобус. Пробежали ребята с портфелями.

Иногда через открытую дверь Таня смотрит на Лизу, любуется, как та ловко орудует у стойки. Народу к ней — тьма: и шоферы, и транзитные пассажиры, и сценщики. И все — Лиза, Лиза! Всем нужна Лиза, все к ней с почтением. А она, как Хозяйка Медной горы, стоит гордо, руки, как птицы, порхают, от стойки к витрине, от витрины к весам, к бочке с пивом. Сережки вздрагивают, костяшки на счетах щелкают:

— Три бутерброда, треска, два пива. Все? Девяносто. Сдачи — мелочи нет. — Взяла рубль, ириску бросила. — Следующий.

В подсобной Таня чистит картошку, уже третье ведро с утра.

— А что я придумала, — говорит она Лизе (та рядом с ней насхеп ест винегрет, прямо из бака). — Давай стойки на окна повесим, голубенькие. Я такой материальчик в сельпо выдала. Могу считать, хочешь?

Лиза жует, устало глядит в окно:

— Делать, что ли, нечего? И так не чаю, как отсюда вырваться. — У нее прямо ложка из рук валится.

«Нехорошо, конечно, из бака, — думает Таня, запивая кофе в стакан. — Но ведь и поест ей толком некогда, вон уж кричат из зала».

Лиза вздыхает:

— Есть у меня мечта, девочка. Хочу в вагон-ресторан уйти. Вот дельце одно проверну и сдам точку.

В зале шум. У стойки ждет очередь, но Лиза туда и глядеть не хочет.

— Думаешь, нравится мне улыбаться тут всем? Думаешь, нравится?.. А надо. Вон Гришка-шофер на зиму дров подкинул, завягм Толечку в интернат устроил... — И сразу голос потеплел, смягчился: — В первый класс пошел мой Толечка. Палочки пишет, нолики. — Она помолчала и опять твердо: — И хоть одна я, Таня, хоть мать-одиночка, а Толечку выучу. Распишет, а выучу. Он у меня еще ученым будет... Стоит Лиза, ест винегрет, а в глазах свое что-то: невеселое-невеселое. Еще не видела ее Таня такой.

— А вы бы замуж шли. Вы вон какая красивая. Лиза усмехается горько:

— Господи, за кого замуж-то? За Гришку, что ль, голь перекатаную? — И ложку бросила. — А солидные люди все женаты.

И опять в зале:

— Сардельки — одни, хлеба — триста... Таня, чай там кипит! — Костяшки щелкнули, крыфетку бросила. — Следующий.

Чайник с кипятком веверный, синей эмали. Прихватив тряпкой, Таня тащит его двумя руками. Уже шестой сегодня выпивают. Это сколько же люди пьют за сутки? Ну, по району, например? Или по области. А по всей стране? Ой, река!

— А я говорю, мне сдача нужна. — Это управит-ся гражданочка в шляпе, из транзитных, не хочет ириску брать.

Лиза расстраивается:

— Ну, сколько раз объяснять, гражданочка? — Потряса пустым блоддем. — Нету мелочи — видите? — И вторую ириску ей бросила.

Сзади торопят:

— Ладно, дамочка, отходи. Нам на смену, — тянут через головы деньги. — Лиза, пять пива.

А гражданочка как присрала:

— Я сдачи жду, — и глядит в упор сквозь очки.

«Бываю же люди. — Таня взгромодила чайник на табурет. — Дались ей эти копеечки! — И вдруг увидела блюдце, полное мелочи, под прилавком, на полочке.

— Лиза! — Чуть чайник не опрокинула. — Да вот же! — и достала скорей — мелочь брякнула.

Женщина усмехнулась, а Лиза померкла вся, зло взглянула на Таню:

— А кто тебя просил убирать? — И отвернулась: — Так, вот вам сдача. Следующий.

Таня мяла тряпку в руках. Не знала, куда деваться от взглядов. Постоляла еще и молча пошла в подсобку.

Из репродуктора над ее головой диктор звонко вещал:

«Дорогие друзья! Начинаем концерт по заявкам наших доблестных воинов-артиллеристов и ракетчиков!»

— Ты не лезь в мои дела. — Лиза спокойно раскупоривала консервы на табурете. — И к стойке не подходи. А то первый и последний день тут. Поняла? — Сережки сердито дрогнули. — А то без тебя не знаю, что делаю.

Таня стоит как мертвая, машинально моет стаканы: раз, два, три. А по радио давняя знакомая песня:

Русское поле, русское по-о-ле,
Я как и ты, ожидаю жизнь...
Верю молчанью, как обещаю...

За окном меркнет день. И уже фонарь над улицей качает желтый тревожный свет да перекаликаются тепловозы.

Таня собирала со столов солоники, стаскивала грязные голубые клеенки. С улицы стучали, дергали дверь. Крючок звяжал.

— Мне на базе шепнули, ревизия скоро. — Не обращая внимания на стук, Лиза «снямала остаток», — надо все подготовить, чтоб комар носа не подточил. — Скинув босоножки, она заехала на стойку и считала в буфете коробки с вафлями, бутылки портвейна. — Чего молчишь? Обиделась, что ль, за мелочь? — Усмехнулась. — Вот уж правда, что мелочь... Нет, девушка. Надо легче на все смотреть, веселее. А то много тут не заработаешь. Да и жить легче веселому человеку.

— Может, открыть? — спросила Таня.



— Да ну их. Небось, за вином.—И крикнула на весь зал:—Закрыто! Закрыто!... Так. Портвейнов тридцать четыре по два тридцать... Прямо голова кругом с этой арифметикой... Слушай, а вдруг нужен кто? Ну-ка, открой.

И Таня побежала быстро, крючок скинула.

В клубах пара ввалился квадратный заснеженный дядка в брезенте.

— Что, Лизавета, в праздник рано закрываешь?— Он притопнул на месте, и комья снега с плеч и ног полетели на пол, зашипели на печке.

Лиза обрадовалась:

— Ой, Петр Иванович!— Слезла со стойки.— А какой сегодня день? Заработалась я совсем. Неужто и правда— праздник?

Он обижено засопел, вылезая из своего твердого плаща.

— Наверное, День артиллерии,— сказала за его спиной Таня.

— Ой Точно.

Он оглянулся и увидел знакомую девочку в фартуке. Молча повесил у двери гремящий плащ и сразу стал такой домашний, в вязаной душегрейке и в серых казанках. Стоит, руки потирает.

В подсобке Лиза срочно достала пол-литра из холодильника.

— Видела? Ужас! Как раз вовремя!... Бывший начальник станций!— Она развеселой стала.— Вот так каждый праздник. Придет и сидит, размышляет. Жена у него— мегера. Сроду выпить не даст, печень его бережет. А сын в Москве учится...— Раскупила бутылку, отерла тряпочкой.— Ты сыру нарежь голландского, да потоньше.

А он сидел в пустом зале, среди голых столов и следил, как за окном в свете фонаря крутится желтый снег.

— Чего ж редко заходите, Петр Иванович? — Лиза плыла к нему — на тарелочке полный стакан, огурчики, хлеб.

Он очнулся от мыслей.

— Дела все, Лиза, дела.— Расстегнул душегрейку. — Вот только что с партбюро. Наши к отчету готовятся. Пришлось выступить, подсказать.

Лиза присела, оперлась на белые локти.

— И чего вам беспокоиться, Петр Иванович? Как говорится, на заслуженном отдыхе. Сидели бы дома.— Стаканчик подвинула: — Как печенью, не тревожит?

— Ерунда. — Он помолчал и серьезно поднял стакан: — Ну, что, Лиза. С праздником, значит? За артиллерию нашу!

— С праздником, с праздником!

— Ракетных войск я не знаю, а вот артиллерию... — Дыхнул и выпил.

Лиза обернулась и крикнула:

— Ну, долго ты там?

Он закусил огурчиком:

— Новенькая? И как, ничего?

— А кто знает,— похлава Лиза плечами.— Новый сапог всегда жмет.

— Да притирайся. Я старый солдат. Знаю.

Он был прост лицом. Добродушен. Смотрел, как спешит новенькая с чаем и сыром, как горячий стакан жжет ей пальцы. Улыбнулся:

— Садись, посиди с нами. Праздник нынче.

Но Лиза отослала:

— Иди, иди. Нечего ей тут рассиживать. Еще кленки мыть. А вы закусывайте, Петр Иванович. Сыр свежий.

— Да, сыр свежий.— Он смотрел, как под фонарем уже валит кося по летящий желтый снег.

— А как же, все стареньшие стареньшие,— уже поделовому заговорила Лиза.— Сами знаете, пятый год на одной точке, без жалоб. В ночь полночь стучат, и днем не присядешь. И все хочешь, как лучше.— Вдохнула мечтательно.— Вот штортик собиралась для уюту шить, голубенькие такие. Уже и ткань присмотрела.

Он сидел благодушный, чуть раскрасневшийся от выпитого.

— Люблю я тут посидеть в удовольствие. На тебя поглядеть... Хрипловатый голос его звучал в пустом зале.— Ну, хочешь, признаюсь?

— Да вы выпейте,— перебила Лиза.— Я еще при-несу.— И стакан подвинула.

— В сорок четвертом, в такую же вот зиму, под Рогачевом командовал я батареей...— И поднял стакан.

— А вообще-то у меня вопросик к вам, Петр Иванович.— Лиза смотрела, как он пьет.— На базе мне один человек сказал, что в вагоне-ресторане местечко освободилось. Как вы думаете, стоит?

Он отставил стакан, помолчал:

— Надоело, что ли?

— Да не то, чтобы надоело,— сказала она,— а охота свет посмотреть, себя показать. Может, замолпте за меня словечко? Вы ведь всех там знаете.— Она оживилась.— И с планом у меня порядок, без пяти минут ударник коммунистического труда,— и улынулась.— Я ведь самостоятельная.

Петр Иванович заботился:

— Подумать можно... А с личной-то жизнью у тебя как?

— Ой!— засмеялась она.— Какая уж тут личная! Вся моя личность на общество тратится.— И серьезно:— А может, записочку напишете?... Я набросала там кой-чего на листочке, чтоб вас не утруждать.

— Так сразу и записочку... Погоди. Покумекать надо,— сказал он задумчиво и поглядел в окно. Там уже не было видно фонаря, снег совсем залепил стекла.— Напейка мне, Лиза, еще. Сегодня мой день. Салют сегодня в городах-героях. А в сорок четвертом под Рогачевом...

Лиза устало вошла в подсобку. С лица стерлась улыбка:

— Ох, уж эти мне пенсионеры! Слушать их тошно.— Достала начатую бутылку.— Ладно, бог терпел и нам велел. А улетит без меня вагон-ресторан мой... Ковер-самолет мой голубенький.

Таня молча перетирала солоники.

— Это один человек мне умный совет дал. Иди, говори, в вагон-ресторан. Сразу достаток изменится.— Лиза щедрой рукой отрезала любительской колбасы.— А ты, если хочешь, иди. Я сама тут управлюсь. Только печку проверь, не то угорим.

Петр Иванович машинально возил стакан по клеенке:

— Мне ведь Лиза, что думаешь, выпивка эта нужна?.. Я ведь, если по совести, поглядеть на тебя сожгу.

Лиза не удержалась от смеха:

— Да чего ж на меня глядеть?— Но, довольная, украдкой подмигнула Тане: вот, мол, дает старик.— Да и глядеть-то вам на меня, поеди, поздноватое? А, Петр Иванович?

— Вот ты какая. Да я не про то-о...— он покраснел даже,— тоже мне, выдумала. Я ведь, что сказать-то хотел. С лица больно похожа ты на одну... Вот гляжу— она и она. Под Рогачевом это было, зимой. Снег вот так же валил...

— Ты закусывай, Петр Иванович, а то захмелеешь, про записочку мою забудешь.

Но он говорил монотонно:

— Они у нас, Лиза, телефонистками были. Две молоденькие такие...

Отхлебнул из стакана. Лиза слушала, с тоской глядя по сторонам.

— ...Первая летом погибла, в июле. На mine по-

дорвалась в лесочке. Прямо рядом с КП. А вторая... Вторая вроде тебя была, отчаянная какая-то...— Он помолчал.— И без нее мне, Лиза, не было света.

Лиза опять подмигнула Тане украдкой. Но та от-вернулась, раскрыла дверцу печки. Красные отсветы заглянули у нее по щекам.

— Да ты послушай,— вдруг поднял взгляд Петр Иванович.— Дай рассказать... Так вот, значит... Это как раз в зиму было, в такое вот время под Рогачевом. У нас связь порвалась. А народу в обрест. Послать некого. И пошла она сама, голубка моя, по проводу ко второй батарее... Тут, Лиза, немец как раз в атаку.— Он смолк, вспоминая далеко.— Да... Пошел немец в атаку. И, верши сердцу? Накрыв я ее своим же огнем, родимую. Своим же огнем... Она по линии шла, как раз на втором километре, где немец пошел на прорыв... А была она уже на третьем месяце, Лиза. Все никак не хотела в тыл от меня уезжать. «Не поеду», говорит,— пока не заметят. И как я тебя одного оставлю? За меня все боялась... Эх, Лиза, Лиза...

Таня замерла у печи. Стало слышно, как потрескивают дрова. Лиза встала и пошла скорее в кладовку— бумагу искать. А как же— дело есть дело. И, может, момента больше такого не будет.

Он не поднял головы, слышал, как, постукав каблучками, та скрылась за скрипнувшей дверью. Помедлил, потом выложил деньги и, тяжело поднявшись, двинулся к выходу. Повторил на ходу:

— Своим же огнем... А сам вот живу...

У дверей долго одевался, не мог попасть в рукава оттаявшего плаща.

И было слышно, как угли шурша падают в под-дувало.

Из кладовой выскочила Лиза с бумагой в руках:

— Да куда ж вы, Петр Иванович!

Но он распахнул дверь и, скрипя ступенями, молча ушел в белый мороз.

Лиза стояла растерянная.

— Господи, с чего это он?— Посмотрела на деньги, на Таню, сидевшую на корточках у печи.— Может, ты чего сказала?

Таня молчала с красным от жара лицом.

И Лиза испугалась, крикнула:

— Почему он ушел! Ты что ему тут сказала?

Таня упрямо глядела в печь.

— Я тебя спрашиваю,— подскочила Лиза.— Что ты ему сказала?— Она теребила в руках сложенный листок.— Ну вот что, девушка. Хватит с меня твоего характера. Завтра morning не выходишь. Всего хорошего.

Таня поднялась. Медленно пошла одеваться. Но остановилась и поглядела мимо Лизы в пустой и прибранный зал:

— Я сказала ему, что он ничего не писал тебе. Никогда ничего не писал.

Ночь была тихой и звездной. Белые крыши домов сияли. Блестела под лунным светом укатанная дорога. И по этой дороге, по морозу бежала домой через весь поселок Таня. Вот и кончился ее первый рабочий день— День артиллерии.



Иса КАПАЕВ

ВЫДЕРЖАЛ...

РАССКАЗ

Все во мне напряжено до предела, и вдобавок я знол. Голова раскальвается, тело ноет. Я разогрячен работой, а еще и солнце обжигает, словно задалось целью и хочет спалить. Кожа стала липкой от пота. Я знаю, что к ночи она покроется волдырями и несколько дней будет чесаться и облезать. Да и сейчас, когда древесная пыль слетает с досок на потное тело, кожа зудит так, что нестерпимо. Но останавливать работу нельзя.

Раздражает невозмутимость моего напарника Толи Коконашвили. Кокко — так прозвали мы его. И даже не столько невозмутимость, сколько выносливость — он покрепче меня. Толя все время вкалывает и молчит, и я тоже подлаживаюсь к нему, помалкиваю. Даже о том, что содрал кожу на большом пальце, — ни звука, обнаруживать свою слабость считаю унижением. Сам виноват: куда-то задевал рукавицы, теперь не найти. Такой уж я нескладный, что-нибудь да страстается со мной обязательно. Это, конечно, ерунда — палец, случается и похлестче.

...Привезли долгожданный лес для нашей бригады. Спозаранку подняли всех. Было еще темно. Холод и необычная тишина. Бригадир повел нас с Толей в столовую, где повара только еще раскочивались. Дали нам простоквашу и отправили сюда, на лесосклад. К вечеру, до прихода смены, лес должен был доставлен к пилораме.

Адская работа. На двоих — вагон бестолково сваленного леса. И какого!.. Сороковка, пятидесятка, шестидесятка и даже семидесятка. Лес свален вдоль насыпи, да в таком беспорядке, что иные доски концами вонзились в грязь, а другие закинуты: высоко чуть ли не к самым рельсам. Мы примериваемся бродить вокруг груды досок, с трудом вытаскиваем оттуда по одной.

Лениво сползающиеся вокруг складские рабочие подходят к нам.

— Чего из кожи лезете? — кричит кто-то из них. Мы с Толей молчим. Будь они в нашей бригаде поговорили бы тогда по душам, думаю про себя. Видя, что мы на них ноль внимания, они усмеваются и уходят.

Почти неделю простояла наша бригада в ожидании леса. Я сам — никудышный «работяга» — и то скучал, когда нас, чтоб не разболтались, посылали на всякие подсобные работы. Хотелось поскорее увидеть результат своего труда — зернохранилище. Я и сейчас уже горд тем, что вложил в эту громадину свою долю. Скорей бы сдать под «ключ»! Не лес, которого мы так ждали, не поступал.

И вот наконец! Нас двое — а леса гора. Отступать поздно. Во что бы то ни стало надо справиться с этой горой.

Солнце высоко, раскалено добела. Смотришь — и воздух словно бы дрожит, дышать тяжело. Скорее обед. В пояснице боль, которая разливается по всей спине, если нагнешься.

Наступает момент, когда мне наплевать на все, хочется лечь прямо на горячую, серую землю и не думать ни о чем.

С Толиком мы разговариваем мало. Он больше молчит, только сопит и выкатывает глаза от натуги.

— Ох, эта дьявольская лиственница, пропади она пропадом, живот надорвешь, — вырывается у меня, когда я снова берусь за сырую порывевшую доску.

Толик молчит, будто не слышит.

Ладони мои покраснели, загорбели. Вот уже скоро год, как я здесь, а руки никак не привыкнут. Опять натер мозоли, появились ссадины. Мозоли

еще полбеда, а вот занозы... Вытаскивать их нет времени, стараюсь не думать об этом.

В семь-восемь слов нужно уложить доски в кузов «ЗИЛа», перевести к лесопилке и сбросить у входа. Вагон леса — это шестидесять кубометров.

А Толик все молчит. Это меня начинает бесить, но что я могу поделать? — молчу он, и все.

— Коко, ребята сейчас на обед подались, а у нас еще вон сколько. Не кончим, — еле переводя дух, нарушаю я тягостную тишину.

Он не отвечает, а ловко вываливает доску под грохот скатывающихся вслед за ней. Я хатаю другой конец доски и поудобнее прижимаю к животу. И лишь когда доска в кузове, Толик переводит дух, улыбается. Понимаю, что я изнемог.

— Скоро и мы пойдем. Пока солдаты здесь, надо кончить, — говорит он на ходу.

Его лоснящаяся спина вновь сгибается, и он выбрасывает доску, вытаскивает, разворотив остальные, и стряхивает с нее древесную пыль. И опять я беруся за другой конец. Сырая ливневница! Покачиваясь от тяжести, тащим доску к машине. Толик напрягается, буграми проступают твердые мускулы.

Наконец-то семь слов — в машине. Я облегченно вздыхаю и забираться в кузов. На лице Толика ничего не прочтешь. Оно почти никогда не меняется: серые круглые глаза, тонкие рыжие брови, сведенные острым углом к переносице. Рассмешить его трудно, да и смеется он чудно: кивая головой и стиснув зубы — не смех, а оскал какой-то.

Хорошо, что рядом солдаты, они тоже работают на складе, как и мы, заготавливают лес для своего объекта. Но их много, человек двадцать, им весело.

Машина останавливается недалеко от входа в лесопилку.

— Эй, слухившие! — кричу я. — Наваливайся!

Мы с Толей придумали свой способ разгрузки. Осуществить его нам помогают солдаты. На свисающие с кузова концы шестиметровых досок кладем одну самую широкую и, плотно прижавшись друг к другу — человек десять, — становимся на нее. Та часть досок, на которых мы стоим, опускается вниз, на землю, а передняя вздымается кверху. Машина подается вперед, доски грохочут на землю, и кузов сразу пустеет. Доски же лежат ровно, штабелем.

— Ура! — дружно орем мы.

И снова едем к железной дороге.

И опять все повторяется...

Обедаем всухомочью: кефир, колбаса, хлеб. Зато необыкновенно вкусно. Съедаем все до последней крошки, запиваем колодезной, ледяной водой. В здешних местах рек нет. С тоской вспоминаю свои родные горы, свой маленький зеленый городок на берегу быстрой Кубани. Вспоминаю родителей, свою школьную парту, свои любимые книги, вспоминаю друзей. Жалею о том, что осталось там, за несколько сот километров. Жалею, что романтика застряла сюда, в эту жалкую полустепь.

Толик хлопает меня по животу, когда я опустошаю одну за другой три кружки воды.

— Заметь, камарад, чем больше пьешь, тем сильнее хочется пить, — говорит он.

Со школьной скамьи Толик запомнил несколько французских словечек и не пропускает случая словно бы ненароком козырнуть ими.

Выйдя из бытовки, я пытаюсь улизнуть. Укладываюсь за бревнами в тени, подстелив спецшвы. Но не ложится, кожа зудит. Сажусь, и тут подходит ко мне Толя. Нашел все-таки. Молчишь, не догадываешься, что я так хотел хоть ненадолго оторваться от него.

Садится рядом, опирается спиной о бревно. Бревна заслоняют от солнца. Безветренно и прохладно.

— Лучше бы копал я сейчас фундамент со всей бригадой, — рассуждаю вслух. — Думал, может, тут полечит и, главное, интересно! Люблю я дорогу, особенно стоять в кузове, подставляя лицо ветру, и смотреть, смотреть безотрывно на древнюю нашу ногайскую степь. Собственно говоря, эта степь и приманила меня сюда тем, что древняя. Когда ехал, мечтал: покачу по степи на лошади, табуню, небось, там не съест. А лошадей тоже не оказалось. Единственный транспорт — грузовик... Вот сейчас мечтаю о лошадях, а были бы — наверно, быстрой надоели... Тянуло в степь — ну, вот и люблюсь теперь этой степью! Много в ней, конечно, хорошего, но приелось уже.

— Работа — она везде работа, — закуривая, бормочет Толя в ответ на мою реплику. — Ты ведь не отдыхаешь сюда ехал?

— Понимаешь, не знаю, как сказать. Мне нужны два года практики, чтобы в институт податься. Хочу на факультет журналистики. Только прежде надо самому понять, не что я гомусь, чего стою. Теперь все, привет! Узнал, почему луд соли!

— Не узнал! угрюмо бросает Толя.

— Ну, а ты зачем здесь?

— Тебе это не поинтерно?

Не понимаю, что могло его привлечь в таких неуютных местах. Неужели крановщица его здесь держит?

— Работа тебе нравится? — продолжаю я допытываться.

— А что, неплохая. — Толя глубоко затягивается. Пожимаю плечами:

— Сидел бы в своем Батуми и торговал мандаринами!

— Молчи, пистолет. Яйцо курицу не учит, — резко обрывает его. Пыхтит; видно, что сердится.

После некоторого раздумья прихожу к тому же: Найме, крановщица, ему нравится, мужа из-за него бросила.

Никто не знает, что за человек Коко, да и я не разберусь в нем. Вот уже второй месяц работаем вместе, второй месяц живем в одной комнате, в общежитии. Дома он почти не ночует. У Найме. Говорят про него — злой, неполадимый. И впрямь с налета не разберешь, что там за его сущностью, молчаливостью. Мне он сделал много хорошего. И все бескорыстно. А почему делал это, не знаю, не понимаю. Я таких людей встречал редко.

— Устал? — наконец спрашивает он, натягивая свою кепку на брови.

— Еще бы!

Снова молчит. Я чувствую, перекур наш кончается. Чтобы продлить его, пытаюсь отвлечь Толю разговором.

Ну, чем тебе эта волянка нравится? Пашешь, как вол. Лучшее бы стучал на своем барабане, гднубудь ансамбле — опять завою я свое.

У Толи действительно есть барабан (в армии он играл в ансамбле), и сейчас придет с работы, умотает и сразу садится, «стучит». Не зря говорят, что грузины — народ музыкальный. Я иногда даже плашу под барабан, ему это нравится, и он входит в раж, надейда до тех пор, пока не валюсь с ног.

— Ансамбль — это отдал... А без работы нельзя. Погибнешь без работы настоящей! Запомни, пистолет!

— Да брось чепуху горадишь! Если б не Найме, давно сбежал бы отсюда! — Пытаюсь как-то смягчить свои слова, я улыбаюсь.

Он сдвигает брови.

— Про Найме и пикнуть не смей! Сам разберись... Сам. Ясно тебе?

Да, Найме трогать нельзя. Помню, гроза здешних мест — Тагир, с шеей, как у буйвола, со смуглым, лоснящимся от пота лицом, громко произнес на весь клуб, нагло уставив на Толю, который стоял рядом с Найме: «Потаскуху развелось в поселке! Не стыдится на людях показываться. Тыфу!»

Толя равнялся к нему свистая за горло. Тагир повалился на пол, а Толина руки, как клещи, все сжимали и сжимали обидчика, пока тот не прохрипел: «Прости, Толя, я это так, к слову»...

— Вставай! — говорит мне Толя. — Пора!

После перекура еще трудней. Нас двое, а досок по-прежнему тыма. К пяти часам нужно кончить. Так решил Толя. В такие минуты я жалею, что он напарником у меня. С другим мне было бы сачковать, а с ним нет, не получится.

Я даже забываю, что он единственный, кто согласился взять меня в пару. Другие вечно корили за неловкость, за неумение. А он только спокойно указывал, где что не так: воблю ли гвоздь мимо — подойдет, вытщит и сам забьет; заклинит пилу — глазами поведет, гляди, мол, учись. А другой обматюгал бы, прогнал. Крою я его, конечно, про себя, не по душе мне его старательность, хотя я и сам утомлюсь надстроено вкалывать в полную мощь.

Руки еле удерживают доску. Пальцы разжимаются... Солнце свернуло на запад. Досок осталось совсем немного, на одну машину. Солдаты тоже кончили работу. Вижу, как они отряхивают пыль, моются по очереди у бака с водой. Смотрю на воду, пить хочется, во рту пересохло.

Только сейчас я разглядел шофера грузовика. Стоит в стороне, прижавшись спиной к бревнам, курит. Все-таки не совсем бесовестный — стыдится, ведь мог же хоть немного помочь.

Солнце уже на западе, но все так же высоко.

Осталось несколько досок, но их надо вытаскивать из-под гнилых и ломаных, негодных для распики.

— А вдруг эти тоже гнилые? — умоляюще смотрю я на Толю: может, не стоит возиться?

Толик, не отвечая, вернувшись гнилые доски. Ну, зачем они ему нужны, пусть останутся тут вместе с браком. Вечно из кожи лезет!

Наконец-то все! Я плюхаюсь в кузов, прямо на доски, не ощущая уже ни боли, ни усталости. Приятное тепло разливается по телу. Толик садится рядом со мною, закуривает. Я, закрыв глаза, слышу его глубокое, ровное дыхание, живо представляю выражение его лица; серые круглые глаза запали, ушли глубоко в глазницы, рыжие брови нахмурены, сошлись воедино, из-под козырька кепки стекает крупными каплями пот.

— Вот это показали мы класс! — изрекает вдруг Толя.

Я, приоткрыв один глаз, взглянул на него. Улыбка не улыбка. Губы плотно сжаты.

— Так можно и в могилу лезть, — устало говорю я. — Ничего, крепись, Темир! Как это у русских: держись, казак, атаманом будешь!

— У нас тоже так.

— Когда я служил на Севере, — продолжает Толя, — и не такое бывало. Долбим землю, а она вся — лед. Пальцы обморозивали, но работали. Стоять будешь — вовсе примерзнешь... — Он достал сигарету, затянулся. — Я тогда был такой, как ты. Ленивый был, неумеха. Не знал и знать не хотел, что человек — сам хозяин своих желаний. Жизнь, брат, учит. Жизнь — это не папина хата и не мамин дом. Ясно тебе, пистолет?

Меня занимало совсем другое, но разговора о том, что всерьез волновало, не получалось.

— Коко, ты Найме любишь? — вплотное спросил я и, не дожидаясь ответа, так же тихонько продолжал: — Да, она красивая. Таких в поселке, пожалуй, и нет.

И сразу перед глазами возникла молодая полноватая женщина со смуглой гладкой кожей, с черными, как сливы, глазами, с озорным взглядом.

Помню, до Толика многие на нее поглядывали, да и сама она дала тому повод своими шутками. Ну, а как сблизилась с Толей, тихой стала, озабоченной.

— Мужа ее видел, — продолжал я, — неплохой человек, только зря на ней женился. Хлюпик и к тому же гордец. Не по зубам ему она.

Я замолк. Лежал не шевелься, только приподнял голову, чтобы услышать ответ Толи. Он, задумавшись, смотрел вдаль.

Солнце снижалось на западе, тучные белые облака желтели.

— Любишь — не любишь... — как-то неопределенно промолвил Толик. — Красивая-то она, конечно, красивая... Своевольная. Мужа ее жалею. А она нет. Я люблю ее, и она меня. И муж тоже ее любит, только слабак он. Унижается перед ней, перед нами. Не мужчина. Такие сцены закатывает! Умоляет меня уехать. А мне здесь все по душе. И степь, и поселок, и люди хорошие. И Найме — самая лучшая! И работа отличная, хотя и трудная. Да ведь и жизнь нелегкая. Наверно, потому и хороша, что нелегкая!

Я с удивлением смотрел на него.

— Чем же тебе степь так понравилась?

Впрочем, зачем об этом спрашивать? Вечерами я и сам не могу усидеть дома, выхожу и бреду куда-нибудь по проселку, что ведет в соседний аул. Брожу, пока не стемнеет, и только ночью возвращаюсь на полутной или на арбе с кем-нибудь стариком. Наверно, и мне нравится степь, ее бесконечный простор, ее древние курганы, покой и тишина, ни на что не похожий запах — запах таящих трав... А может, просто хочется побродить одному... Подумать о себе, о тех, кого встретил здесь, о том, как рассказать о них людям.

— Степь, она и есть степь, — поразмыслив, сказал Толя.

— Так легко на вопросы отвечать! — разозлился я. — Ты степь-то хоть видел?

— Видел, да! — И лицо его сразу меняется. — Сайгака видел, волка! Во время бурана в степи с Найме были, все видели! — Выпученные серые глаза наливаются кровью, сверлят меня, рыжие брови взлетают к вискам. Он говорит громко и усаживает себе поудобнее на скрепленных ногах, точь-в-точь — ногайский старик на тахтамате¹.

— Ну ладно, ладно... — успокаиваю его я.

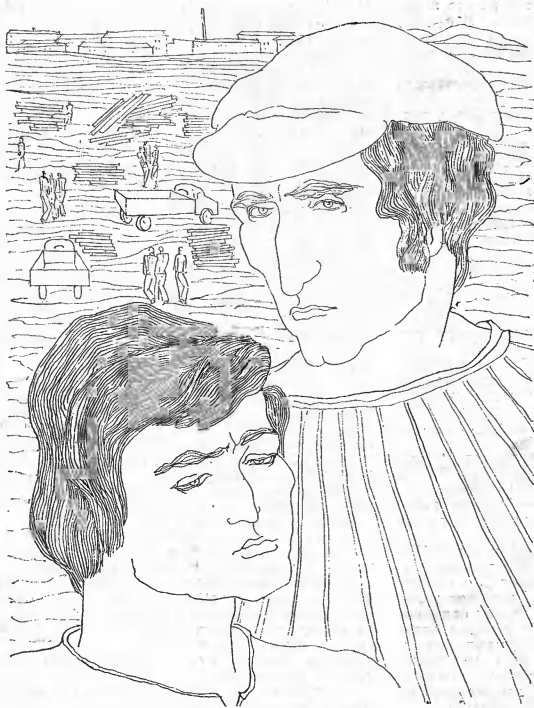
— Ладно?! — возмущается Коко. — Пистолет!

Пистолет — так окрестил он меня. Я тоже нахмурил ему лб, прозвизгав, но ни одно не прилипло к нему. А ко мне в бригаде иначе и не обращались, мол, потому, что моложе всех. А его никто ни «Коко», ни «кадо», а все Толей.

Толику тридцать лет, мне восемнадцать. Возможно, я еще не простился с детством. Помню, недавно устал — подавал воду на бетономешалку, — пошел курить за цементный сарай, сел на траву и зазнул. Искли добрых четыре часа, потом нашла щего, дали нагоний. Вот после этого Толик и забрал меня к себе в плотники. И сразу жизнь изменилась.

Почему меня именно взял, не пойму. Наверно,

¹ Тахтамат — лежанка из досок наподобие топчана.



жаляет. А я у него многому научился. Хотя бы самым простым вещам — держать топор в руках, ножовку. А кроме того, я теперь верхолаз, приходится работать и на самой верхотуре. И все-таки лишь один Толик доволен мною, а остальные — я это вижу и чувствую — гадают: с чего, мол, этот «сачок» прибил к нам? Бригада вроде — один механизм, а я как расслабленная гайка в том механизме. Скажут мне это не скажут, потому что знают: если заденут — полезу драться. На днях мы приладили деревянную балку над центральными воротами зернохранилища. Я стал балансировать на ней, выделять всевозможные трюки. А высота приличная, четыре метра. Делаю ласточку и вдруг слышу:

— Все вкальывают, а он цирк открыл. Толя, хоть бы ты стукнул его.

Радость моя испарилась мгновенно. Спрыгнул на землю, не зная, откуда у меня только смелость взялась — высота-то какая, — подскочил к парню и схватил за шкирку.

— Может, ты стукнешь? — И, сделав подсечку, повалил его на землю, стал трясти.

Он был старше года на три-четыре. И смотрел на меня всегда с противной ухмылочкой. Я тряса его

изо всей силы, а он даже не сопротивлялся. Сам не понимаю, откуда взялось у меня столько злости. Заело, видно! Хорошо, что Толик растащил нас — иначе не знаю, чем бы кончилось.

— Бешеный! — прошепел, уходя, парень.

Толик вступился за меня, когда дело дошло до бригадира. А то, может, и не было бы уже меня здесь...

Я задремал и не слышал, как машина подъехала к лесопилке.

— Вставай! Бригадир! — тормошит меня Толик.

Вылезаем из кузова и видим, как из крытого брезентом «газика» выскочил наш вездесущий бригадир Виктор Иванов.

— Ну, как, Толя, перетащили? — крикнул он еще издали.

— Перетасили.

Бригадир заглянул под навес, затем побежал к железной дороге — все своими глазами увидеть надо!

Виктор удивляет своей энергией. Он и мастер, и начальник снабжения, и начальник участка — все в руках у него, за всем успевает проследить и даже в свободные минуты с мастерком в руке на кладке стоит. В бригаде у нас сухой закон. Сорок человек — и ни одного не встретить нетрезвым. Даже в воскресенье. Простоев в бригаде почти нет, снабжение отличное, и заработок — самый высокий в районе. Вот все к нам и тянутся.

Летом у нас «жаркий сезон». Зимой же из-за погоды немного сделаешь. Вот тут-то и надумали мы работать по воскресеньям. Зато отпуск два месяца.

Старики в поселке нашего бригадира нахваливают: один три работы делает, и рабочие у него такие же.

А вот Булатов второй год Дом культуры строит. И мастер есть у него, и сам прораб, и начальство районное с утра до вечера околачивается, а толку что? Не зря говорят поговаривают: когда пастухов много, овец не досчитаешься...

Булатов и я знаю. Набрал в бригаду своих родственников. Это у нас практикуется: родовой закон еще в силе. Про это старики молчок... По их мнению, как раз хорошо. А что хорошего, если у Булатова подчиненные — почти все родственники и руководят им свои же, родственники. С него ничего не спросят, и он с них тоже. Так-то вот!

— Сколько гнилья подбросили! — подбегает к нам Иванов. — Я им покажу, гадам! — кроет он поставщиков леса.

Мы с Толей поднимаемся с земли.

— Заморились?

Молчим. Я совсем и забыл про усталость.

— Смена не приехала... У нас там работа кипит, фундамент под общежитие заливают. Я комнату вам в гостинице снял. Завтра сполна отдохнете...

— Что? — вскрикнул я. — Значит, оставаться здесь на ночь?

— Ну, ребята... — Виктор запнулся и просительно посмотрел на нас. — Нужно...

— Продолжай, Витя! — твердо сказал Толик, укоризненно взглянув на меня.

— Толя, и ты, Темир, большая просьба к вам!... Оттуда я не мог снять людей. Сегодня они кончат заливку, завтра сразу за цоколь, пора уже там вообще начинать стройку. А я сейчас договорюсь на раме, и четверомер не спеша распилиет. Вывезем лес, и все — зерносклад под ключ. Курить будете?

Мы взяли по сигарете, закурили, и все трое сели на доски.

— Ну, как «пистолет» работает?

— В ударе! — И Толя подмигнул бригадиру.

— Насчет учебы не передумал?

— Нет.

— Правильно. Журналистом будешь? Теперь уже точно!

Я удивился, откуда он знает. Об этом я рассказывал одному Толику. Наверно, обсуждали меня, и Толя защищал. Я и сам не верю, что решусь пойти в журналисты. Это просто мечта. А Толя верит, что она сбудется. Иначе бы не сказал Иванову. Мне стало неловко.

— Учиться — это здорово! — продолжал бригадир, как бы не замечая моего смущения. — Я свои студенческие годы лучшим в жизни считаю... Он окончил строительный техникум. — Ну, мне пора! Вот деньги на еду, Толя. Идите ужинайте, и за работу.

...Пилорама жалобно воеет, и пилит, и пилит. Под навесом ровн кружатся опилки. Под медленно стекает по лбу. Прохладно, а тело горит. Я в спецовке, чтоб опилки не попадали на обгоревшую кожу. Но и сама спецовка колючая, и за ворот попадают опилки, липнут к телу. Странно не ощущая, только боюсь передышки — сразу же немеют пальцы. Как угорелые таскаем доски со двора под навес. Рабочие уже дважды пытались выключить пилораму и уговорить нас отдохнуть, но мы упростили их не делая этого. Трудно потом набрать темп.

Чувство, как вздулись у меня на висках вены. Успевая удивиться самому себе: откуда только взялись такие? Переносим все те доски, которые днем с килем трудом загрузили в машину.

Небольшой пучок света, проникающий из-под навеса, еле освещает доску. Рабочие требуют, чтобы мы давали по сортам: сначала шестидесятку, затем пятидесятку, сороковку и т. д. Это осложняет работу. Под навесом складываем несколько штабелей. Толя не спит, как обычно. Его круглые глаза еще глупые ушли в глазницы. Зубы, как и у меня, стиснуты.

Выбегая из-под навеса, стараюсь посылнее вдохнуть воздух и на мгн успеваю заметить звездное небо и луну с пол-лешки. В сознании мелькает, что эта половина лешки не дожарилась и поэтому такая бледно-желтая.

Впереди идущий Толик поскользнулся и упал, не выпуская доски.

— Что с тобой? — кричу я испуганно.

Он тяжело дышит:

— Поскользнулся! — и, выругавшись по-грузински, вскопал на ноги.

Пилорама воеет бесперебойно. Мы носимся туда и обратно. Нос заложено пылью, и дышать трудно. Перед глазами мелькают красные круги... Припоминаю: когда болел, про себя играл в шахматы.

И сейчас перед глазами шахматная доска. Напряженно, сам с собою играю. Жожу за себя и обдумываю ход противника, жожу за него и обдумываю свой ход. Так без конца.

Хочется домой. Хочется прилечь на диван и взять в руки книгу. Ну, хоть учебник ботаники, по которой вечно получал двойки. Хочу протирать ласты на фидусе, чего не любил никогда, хотя отец ставлял заниматься этим. Хочу взглянуть в добрые глаза матери. Хочу, чтобы она погладила меня по щеке и сказала: «Эх ты, бесполокловый». Зачем мне нужна была эта романтика!... Однажды в кино на экране я видел, как зрелел какой-то бородач, и мне стало противно. Нет, я выдержу до конца. Сейчас или никогда! Или никогда у меня не будет получаться, или выдержу! Разве не нашел я себя? Нельзя же оставаться вечно лопшой. Нельзя жить по закону: «Я так хочу!» Если не выдержу сейчас, значит, и потом не выдержу. У Толика совесть и душа чисты. Потому что он трудится. В марте брал отпуск, но не смог и неделю усидеть дома, снова попросился в бригаду. Чтобы мне стать таким, надо сломать в себе многое. Надо выдержать! Я выдержу! Я докажу и себе и Толе!...

Ноги уже сами несут туда и обратно. Мы, как заводные, не обращаем внимания на то, что рабочие выключили раму и сидят закусывают. Зовут нас. На ходу отвечаем: «Некогда». Они смеются. Мы тоже пытаемся смеяться. Но на смех сил не хватает.

Опилки ровн кружатся на свету. Наконец-то уже некуда складывать доски.

Рабочие выключают вторую электропилу. Вой утихает. Теперь мы с Толей у электропил, устанавливаем готовые бруски и рейки за навес.

Круги вновь возникают перед глазами. Опять шахматная игра. Возмечают, что и у меня и у противника фигуры одного цвета — белые. Почему?...

Рейка выползает из-под пилы. Беру ее и чувствую, что рейка тяжелая. Наверно, та самая сырая лещиственница. Возвращаюсь к раме. Двигаясь, ползет по станку новая рейка, и вновь шахматная игра. Почему фигуры одного цвета?...

Так до рассвета. Таскаем неразрезанные доски, отнимим разрезанные.

И вот последняя доска... Пилораму выключили. Ничего не понимаю. Тишина режет слух.

Толик скидывает спецовку, а машинально следую его примеру. Потом встречаемся глазами. Я подхожу к Толе и обнимаю его... Толик молчит, понимает, в чем дело... Так, обнявшись, и валимся на кучу опилок.

...Видю красное небо. И земля покраснела, деревья. Даже рейные волосы Толи стали красными. Смотрю на свои руки и вижу, как в венах трещет красная кровь. Хочется кричать, плакать, но что-то удерживает и, кажется, удержит навсегда. Опять шахматная игра, за секунду делаю с противником несколько ходов. Почему фигуры одного цвета? Шьярия куда-то в пустоту шахматную доску...

Слышу приглушенный, далекий голос Толи: «Очнись!» Но глаза невозможно открыть, слиплись. Мысленно представляю лицо Толи: серые круглые глаза, стиснутые зубы. Жилку, налитую кровью, на переносице. Вижу, как пульсирует в ней кровь. Хочу дотронуться до этой жилки. Боюсь, что это причинит ему боль. Протягиваю руку, пытаюсь дотронуться — ускользает из-под пальцев. Засыпаю...

Выдержал!

Авторизованный перевод с ногайского
Т. СМОЛЯНСКОЙ

Валентин Сорокин



Росчерк на облаке

1.

Едва поднимусь я с подушки,
И солнце — в окошко лавины.
И слышится голос кукушки,
Такой одиноко-невинный.

Кукушка, не ранняя птица,
Откуда взялась ты весной?
Едва пробудились границы,
Замкнувшие царство лесное.

И заснежь пестреет в оврагах,
И в спякоты тонут ботинки.
Земля наливается брагой
В каком-то глухом поединке

С зимою отжившей, с морозом
Ослабшим и, видимо, чует,
Что первые легкие грозы
За ширью околлиц нечуют.

Откуда взялась ты, кукушка,
Нарушив природы законы,
А может быть, просто подушка
Твоя наштала мне звонки!

Продрог я и сердцем и телом,
Веселая молодость, где ж ты!
Кукушка в лесу опустелом —
Как песня тоски и надежды!..

2.

На травы повыпали росы,
Цветы занялись медоносно.
И вот зашумели березы,
Вовсю заупружились сосны.

И дятел затукал хохлатый,
Дрозды озорно загадели.
И дождь, удалой и крылатый,
Крутнулся подобно метели.

Скатилось громовое лето
Вдоль просек, больших и высоких,
И красные вспышки рассвета
Сверкнули и сгасли в осеке.

И озеро зыбко вздохнуло,
Занскрились рыб изумруды.
И жарким кукушечьим гулом
Луга налились и запруди.

Кукушки, в России кукушки,
Пронзительно, радостно, колко —
В садах расписной деревушки,
В освещенных рощах поселка.

Чудесная музыка тайны,
Огонь соловьиных куплетов,
Как будто у чайной случайно
Сошлись и запели поэты!..

А может, творится в Отчизне —
В ладонях и взгорий и пашен —
Великая музыка жизни,
И смерти, и вечности нашей!

Кукушки, кукушки, кукушки,
И звоны, и звоны, и звоны...
Стреляли когда-нибудь пушки,
На фронт проносились вагоны!

3.

За маем, июнем, июлем
Заявится август глазастый.
И первые градины пулей
Прошьют позолоту, ну, здравствуй,

Внезапная русская осень,
Калина зарделась! И поле
Дымится кострами, и просит
Снегирь Холодаевич воли!..

Взьерошены сойки-простушки,
Озябнул осиновый колок.
И кажется, голос кукушки
Рыдает на впадинах голых,

Во рву глухомани открытой,
На скошенных долах, на речке.
И ветер рябой деловито
Считает листву на крыльечке.

И храбрый космический летчик,
Корабль на Венеру ведущий,
Оставил мерцающий росчерк
На облаке, к морю плывущем...

С

Я любил тебя нежно, без печали и боли,
Так, что рдело цветами наше русское поле.

Я любил тебя щедро, так что в летние грозы
На тропины свиданий ливнем падали росы.

Я любил тебя гордо, так любил, что метели
Над твоей головою расставание пели.

Я любил тебя страшно, так любил, что однажды
Задохнулся от горя, как в пустыне от жажды.



А в сентябре
От ветра не согреться
Остепенелым,
Жатвенным огнем,
Осенняя
Невысказанность сердца
Гнетет меня
Острее с каждым днем.

Лишенная надежд
И постоянства,
Расставшаяся рано
Со слезой,
Ты не сможешь войти
В мой пространства
Ни облаком,
Ни ливнем, ни грозой.

Перед тобой,
Такою многолицей,
Хоть думы и черны
И глубоки,
Я выставил
Железные границы
И все ворота
Запер на замки!

Наш день упал
И тихо потухает,
Крылом багряным
Плещет он из тьмы,
Вокруг него
Толпятся и вздыхают
Языческие
Идолы-холмы.

Я не припомню
Ни полей, ни сада,
Сладка твоя рябина
Иль горька...
Вон сквозь ночные
Стрелы звездopaда
Рыдающая
Катится река.



И тебя, о ком я горевал.
Называет кто-то дорогой.
Вот он, ледниковый перевал,
За грозой,

за ливнем,
за пургой...

Не сверкают росами следы
Посреди доверчивых берез.
Наши белокронные сады
Отряхнул и выстудил мороз.

Клянясь пролетным журавлям,
Мимо леса, что печально пуст,
Ты идешь по выжженным полям —
Золотая, как осенний куст.

Ты свободна, действуй и дыши
Нежностью или ревностью к нему.
Снежную печаль моей души
Я не дам нарушить никому.

Леонид Григорьян



Ночь в феврале

Я помню все наперечет:
Развалины, и выюгу,
И тыловой грузовичок,
Нас увозивший к югу.
Казалось, лютая война
Планету сокрушила.
Лишь мы остались да она,
Живучая машина...
Она нащупывала путь
Найти и везенья.
Она везла в куда-нибудь,
В забвение-спасенье.
Тянулись к ней из темноты
Вдоль заповедной тропки
Могили невидимых кресты
И светомаскировки...
Пустынный город прожवाल
Нечастными огнями.
Уже дышал, еще лежал
Под снегом, под камнями.
Не шли прощальные слова.
Но крепко за спину
Неукротимого родства
Дыханье ледяное.
Над средоточием скорбей
Звезда обозначалась,
И ледяная колыбель
Качалась и качалась.
Построю новое жилье,
Но это все со мною,
Но это самое мое
И самое родное.



«Ах, собеседник мой, ты где,
Мой соломальчик?..»

Глеб СЕМЕНОВ

Я друга узнаю — с намека, с полуслова.
Дыханью и жилью лишь он один — основа.

Узнаю по руке, по плачу и по смеху.
По первой же строке. По голосу. По зху.

По следу на земле и по окошку ночью.
По знаку на челе, невидимому прочим.

Руками обойму — в метели и в тумане.
Аукать ни к чему — душевное вниманье.

Сам не пойму сперва: раздумье или клятва
Тишайшие слова, помноженные на два.

Я есть, покада есть союзник-собеседник.
Была бы только весть для дальних
и соседних.



Эдуард
БАБАЕВ



Рисунки
В. ШАПКО.

РАССКАЗЫ

1. Благородная Бухара

Хаками давно приглашал меня приехать к нему в гости в Бухару.
— Я покажу тебе город, как никто! — говорил он.

И в самом деле, лучшего гида невозможно было себе представить.

Хаками был историк. Читал и говорил на многих языках.

Он был человек стремительный. И я никогда за ним не поспевал.

Ему казалось, что я слишком долго собираюсь. Благородная Бухара!

Наконец, я сел в поезд и отправился в путь.

Хаками встретил меня на вокзале.

— Я живу возле облоно, — сказал он. — Во дворе... Мы доехали до города в такси и пошли по узким улочкам.

Голубая башня плыла над нами на ужасающей высоте.

— Этой башне восемьсот лет, — сказал, не оборачиваясь, Хаками.

Я загляделся на эту высоту.

И вспомнил, что Ходжа Насреддин сравнивал минарет с колодцем, вывернутым наизнанку.

Я хотел сказать об этом Хаками, оглянувшись, но его уже не было рядом со мной.

Я потерял его из виду, потому что никогда за ним не поспевал.

Узкие улочки были все похожи одна на другую. Сначала я растерялся. Потом решил ждать, не сходя с места. Возле минарета, похожего на вывернутый наизнанку колодец. Хотя бы пришлось ждать восемьсот лет!

Каменные плитки минарета, плотно пригнанные друг к другу, образовывали совершенную поверхность. Взгляд скользил по ним до самого верха, нигде не останавливаясь.

А внизу лепились глиняные и каменные домики с узкими маленькими нишами, окошками и гнездами ласточек.

Я сел на чемодан и стал разглядывать прохожих. Некоторые из них здоровались со мной. Не потому, что были знакомы, а просто из вежливости.

Но Хаками!

Так и будет мчаться вперед, разговаривая с самим собой, пока кто-нибудь не спросит его: «Достойнейший, с кем это вы разговариваете, если не секрет?»...

Небо, полное горячего воздуха, казалось красноватым. И плотным, как грунт. Даже слегка потрепавшимся от зноя. Я стал припоминать то, что было восемьсот лет назад... И улетел в такую даль, что перестал замечать все вокруг.

Такой же был душный вечер. Так же шел народ по своим делам. И какой-то путник, потерявший проводника, задумался о времени...

Возле меня остановился высокий немолодой человек в зеленом халате. Он внимательно смотрел на меня, на мой чемодан. Потом, приложив руку к груди и слегка поклонившись, сказал:

— Я вижу, что вы впервые в нашем городе. Мой долг помочь вам, если вы в чем-нибудь нуждаетесь. — Спасибо, — ответил я, поздоровавшись с ним, — но я ни в чем не нуждаюсь.

— Это приятно слышать, — продолжал мой собеседник. — Но если вы, например, потеряли ва-

шего спутника и не знаете, куда идти, я могу помочь вам.

«Может быть, он видел, как я с чемоданом бегал по улице и окликал Хакими? — подумал я. — Все может быть... И я решил быть с ним откровенным.

— Вы угадали, — сказал я. — Действительно, мой спутник как-то неожиданно исчез. И теперь я не знаю, куда мне идти, в какую сторону...

Моего нового знакомого звали Мансур. Он был гончарный мастер и вышел немного погулять и подышать свежим воздухом. «Где он тут нашел свежий воздух? — подумал я.

Стоял август.

Жара была неимоверная.

— Может быть, вы знаете, где находится облоно? — спросил я.

— Почему не знаю? — ответил Мансур. — Кто-нибудь должен знать...

«Вот удивится Хакими, — подумал я, — когда увидит, что я сам разыскал его».

— Пойдемте, — сказал Мансур, — я с радостью покажу вам дорогу...

Он даже хотел взять мой чемодан, но я воспротивился этому. И мы вдвоем отправились в путь. Мансур шел впереди, а я следом. Он шел неторопливо, и я легко поспевал за ним. С моим проводником все здоровались и глядели на меня с большим интересом.

— Вот человек, — объяснял Мансур. — Он приехал к нам в гости и не знает дороги. Наш долг помочь ему. В Бухаре нетрудно потеряться, потому что Бухара — великий город и очень древний.

И все с ним соглашались.

— Да, да, наш долг помочь ему. Потому что он впервые в нашем городе и к тому же не знает дороги.

Некоторые подходили ко мне и жали мою руку. Иные провожали нас немного, а потом возвращались к своим делам. «Он потерялся в Бухаре...» Весть об этом, кажется, уже опережала нас.

— Кто тут потерялся в Бухаре? — спросил почтенный седой старик на высоком белом ослике, проезжая мимо нас. — Да будут здоровы и благополучны его родители!

Мансур иногда поворачивался ко мне и предупреждал:

— Вот здесь камень лежит, не упадите... А здесь вот яма оставлена, не ступайте... Ее скоро закроют, в следующий раз, когда приедете, не узнаете... Мансур был самым вежливым человеком на свете.

Так мы прошли квартала три или четыре. Было еще рано, однако уже начинало смеркаться.

Мы по-прежнему оставались в центре внимания всех, кто сидел у ворот, или проходил по улице, или просто так стоял на крыше своего дома.

Стайка мальчишек провозила нас на почтительном расстоянии. Вид взрослого человека, который потерялся на улице и которого провожают до дома, их очень развлекал. Один из них подбежал ко мне, дернул за рукав и с тихим смехом шептал в переполненную.

Мансур сказал мне, что недавно поступил в городское экскурсионное бюро. На общественных началах... Будет водить экскурсии по городу.

Но пока еще только готовится. Он даже написал свою речь о достопримечательностях города. И осталось только, чтобы ее прочитал и одобрил один известный ученый...

— Здесь живет достойный человек, — сказал мне Мансур, указывая на голубые ворота. — Я думаю, мы могли бы зайти к нему, чтобы передохнуть немного. Одну пилу чаю, а? И потом сразу в облоно!



Признаюсь, что жара меня одолела. И я сразу согласился. Пила чаю — благоденствие после жаркого дня.

Достойный человек оказался зубным врачом. Он тут же заставил меня раскрыть рот при свете рефлектора. Но для пломбы не нашлось подходящего места, о чем он очень сожалел, хотя и похвалил меня за крепкие зубы. Он показал нам новую боршину, привел ее в действие, объяснил, как она устроена.

Нас усаживают за стол. Наливают в пилу чаю. Мы говорим о том, как хорошо, что я встретил Мансура, и что бы я без него делал.

Между тем Мансур о чем-то шепчется в коридоре, озабоченно говорит с кем-то по телефону. До меня доносятся слова: «Облоно... облоно... облоно...»

Наконец мы прощаемся с достойным человеком и выходим на улицу.

Уже стемнело. И никто больше не обращает на нас внимания. И людей на улицах стало меньше. Мы проходим через какой-то обширный двор.

— Здесь живет мой родственник, — говорит Мансур. — Нельзя пройти мимо и не зайти к нему... Он обидится!

Родственник Мансура был садозником. Он непременно хотел показать мне образовный виноградник. Поэтому приглашал остаться у него до утра. «Утром посмотрим, виноградник, а потом — сразу в облоно!» — обещал он.

Мы пили чай, разламывая свежие лепешки. И разговаривали так, как будто не виделись восемьсот лет. И я даже стал как-то забывать про облоно.

Но Мансур не забывал. Он опять с кем-то разговаривал по телефону. И вдруг я догадался, в чем дело.

— Мансур, — сказал я. — Признаться, что вы не знаете, где находится облоно.

— Извините меня, — ответил он. — Мы не знаем, где находится облоно. Все знаем, а облоно не знаем.

Что такое, ради аллаха, облоно? Объясните нам, тогда мы, может быть, вспомним...

Но в это время в комнату вошел молодой человек, который на Мансура. В руках у него была цепочка с автомобильными ключами.

— Знакомьтесь, — сказал Мансур, — Это мой сын. Он таксист.

— Вам в областной отдел народного образования? — сказал он. — Поедемте!

Мансур воздел руки. Областной отдел народного образования! Как он не догадался сразу! Там живет известный Хакими, во дворе...

Мы простились. И я уехал с сыном Мансура в голубой «Победе», которая легко скользила по узким улочкам между глиняными дувалами.

У ворот своего дома прохаживался Хакими, поку- ривая сигарету.

— Где ты был? — закричал он, бросаясь мне навстречу, когда я вышел из машины. — Я тебя разыскивал по всему городу. Мне сказали, что ты ушел с Мансуром. Тебя все видели...

— Я был в гостях у достойного человека, — ответил я. — Это сын моего нового друга, — добавил я, указывая на шофера такси.

Но оказалось, что Хакими его тоже знает. — Здравствуй, Юнус, — сказал он. — Передай отцу, если он хочет, чтобы я одобрил его экскурсию на общественных началах, пусть получит изунит город и не водит наших гостей по своим родственникам и знакомым. И пусть не перехватывает моих друзей...

2. Обыкновенные слова

Ученики сидели за партами и молча поглядывали на меня. Я не знал, с чего начать мой первый урок.

И вдруг отворилась дверь. На пороге стоял ученик, который пришел позже всех. В руке он держал портфель и веточку с пыльными листьями.

— Здравствуете! — сказал он.

И мне пришлось ответить ему:

— Здравствуете!

Этого мальчика я видел впервые и фамилии его еще не знал. Но я не стал расспрашивать его, почему он опоздал.

На дворе сентябрь. Может быть, мальчик не успел спрыгнуть с дерева, когда прозвонил звонок.

Я только спросил его фамилию. Он что-то отпятился, но я не разобрал его слов. И мне показалось, что он оправдывается.

— Не надо никаких объяснений, — сказал я. — Назови только свою фамилию и садись на место.

Но он что-то продолжал говорить, как мне показалось, о добросовестности. Ученики за партами переглядывались.

Оказалось, что фамилия ученика была Добросовестный. Бывают такие странные фамилии! Когда я подумал, что мальчик оправдывается, он только отвечал на мой вопрос.

К такой фамилии надо все же прикинуться.

— Хорошо, — сказал я, наконец разобравшись в его словах. — Садись на место...

Легко сказать!

Своего места у Добросовестного не было. Тут я заметил, что в классе вообще нет свободных мест. Все парты заняты.

Мне следовало подумать об этом раньше и распорядиться, чтобы в класс внесли дополнительную парту и чтобы места были для всех учеников.

Вспомнил я и то, что видел эту фамилию в списке. Но я был принят на должность учителя в самых последних числах августа и не успел познакомиться со всеми учениками до первой встречи в классе.

Добросовестный ждал, спрятав за спину портфель и веточку с темными листьями.

— Хорошо, — сказал я, — садись к моему столу...

У моего стола был только один стул, и я решительно подвинул его ученику.

Он занял мое место, преспокойно положив на учительский стол портфель и веточку с острыми листьями.

Теперь мы были двое перед классом. Ученики, увидев своего, так сказать, представителя за учительским столом, пришли в самое веселое настроение.

Послышались голоса: «Добросовестный, не вызывай меня, пожалуйста», «Добросовестный, миленький, поставь пятерку!», «Добросовестный, не смоти на меня так строго!».

Добросовестный был толстый, коротко остриженный подросток в коричневой бархатной куртке. Такие мальчики легко переносят шутки товарищей, даже насмешки, к которым предdispose окружающих



какая-нибудь их странная черта, например, необычная фамилия или особое умение попадать в неловкое положение.

Добросовестный взял карандашик, постучал по крышке стола и сказал:

— Вызовем родителей!

Он сказал «вызовем...», как бы от моего и своего имени. Ведь мы сейчас вдвоем были за учительским столом.

Надо добавить, что он сказал это в тон другим моим словам и сопровождал свое предупреждение моим жестом, как бы устраняющим препятствие.

К тому же он был очень похож на меня, каким я был в его возрасте. Но этого, кажется, никто, кроме меня, не замечал...

Все ждали, что я отвечу Добросовестному. А я смотрел на него и думал, что сейчас охотно поме-

нялся бы с ним местами. Потому что учиться интересно, а учить трудно.

— Не торопись,— сказал я Добросовестному.— Всему свое время...

Как нелепо все это получилось! И что я говорю: «Здравствуйте!», «Как ваша фамилия?», «Вызовем родителей...» Нет, впрочем, последнее сказал не я, а Добросовестный. Но не все ли равно? «Всему свое время...» — разве это лучше? И разве так я хотел начать мой первый урок?

Мне хотелось начать его словами какого-нибудь великого мыслителя. Сказать что-нибудь вроде того, что история учит нас понимать самих себя. Это было бы прекрасно!..

А пришлось говорить самые обыкновенные слова, да и то некстати.

3. Летающая модель

Однажды на перемене ко мне подошел Юра Жуков и спросил, умею ли я строить самолеты. Я не удивился таким вопросам. Учитель должен многое знать, а кое-что уметь делать своими руками...

Как построить самолет? Юра Жуков смотрит на меня и ждет ответа.

— Видишь ли,— говорю я.— Это делается так...

И вот появляются из моем домашнем столе сначала книги с изображением летного поля и крыла самолета, потом бамбук, алюминий, резина. Все, что мне удастся понять вечером, утром я объясню Жукову.

Мы строим модель. Летающую! В первый раз. Мы идем на риск.

Когда соседский Шурик увидел чертеж нашей модели, он сказал:

— 2-У.

Действительно, крылья нашей модели были похожи на две сросшиеся буквы У.

Мы так и назвали наш самолет: «2-У»... Учитель и Ученик. Или же — Два Ученика, что тоже было верно.

Мои домашние сначала относились к нашим трудам с полным доверием. Потом стали беспокоиться. Неизвестно, что из этого выйдет.

— Тебе, насколько я знаю,— говорила моя жена,— не приходилось строить такие модели...

— Ты не все обо мне знаешь,— отвечал я ей загадочно.— Нет, ты не все обо мне знаешь.

Каждый день я выносил из комнаты корзину мусора.

Модель — это то, что останется, когда с дерева будет снято все лишнее, из алюминия вырезано только необходимое и вся форма получит единство взлетной мысли. К такому конструктивному заключению мы пришли вместе с Юрой во время работы.

Особенную трудность представляла спиртовка, на пламени которой мы гнули бамбуковые палочки. Из этих гнутых палочек мы собирали каркас крыла.

Сколько бамбука мы пережгли, переломили и испортили! Тут надо было найти точную меру огня и терпения...

Неправда, что самолет похож на птицу. По-моему, на птицу он как раз и не похож. Во всяком случае,

наша модель, когда она была готова, напоминала какую-то странную лестницу.

Наконец мы решили испытать ее в полете. Юра осмотрел модель со всех сторон и спросил:

— Думаешь, полетит?

— Думаю, полетит,— ответил я с большим оптимизмом.

Моя жена заволновалась и спросила, не собираемся ли мы запускать ее в комнате. Мы согласились, что в комнате мало места и модель может поломаться.

Если прежде мы решительно отбрасывали все, что нам казалось лишним и ненужным, то теперь стали дорожить по крайней мере тем, что есть. Поэтому мы поставили нашу модель высоко на шкаф.

И вдруг она без всякой видимой причины соскользнула со шкафа и перелетела сама на рабочий стол. Тогда мы не придали особенного значения этому первому ее самостоятельному поступку.

На следующий день мы с Жуковым осторожно завернули нашу модель в бумагу и отнесли на школьное поле. Вдали, за пустырями, виднелась телевизионная башня.

Мы установили модель на асфальтовой дорожке, повернули рули так, чтобы самолет все время шел по кругу, и наполнили бензином моторчик.

Этот бензиновый моторчик был предметом моих особенных тревог. А Юра возлагал на него большие надежды и собирался его еще усовершенствовать.

Не знаю, что испытывают настоящие конструкторы, когда их самолеты отрываются от земли.

Я испытывал стыд...

Мне казалось, что ничего нелепее, некрасивее и неповоротливее нельзя было придумать. Нам не удалось тогда увидеть ее в небе.

Сначала наша лестница грузно ползла по земле, потом поднялся ветер, стал накрапывать дождь, и мы поспешили вернуться домой.

Когда мы поднимались ко мне на шестой этаж, соседский Шурик вел на прогулку свою собаку. Известно почему, вид нашей модели привел в ярость его собаку Матиле. Она кидалась на него, лезла на поводке, пытаясь ухватить за крыло. Юра поднимал модель как можно выше над головой, стараясь минимизировать опасный поворот.

А Шурик кричал:

— Плохая у вас модель! Упадёт!..

Он даже говорил не «упадёт», а «упанет», что было особенно обидно.

Все это нас огорчило. Шурик был всего-навсего невоспитанный дошкольник, и все же его слова нас расстроили.

— Может быть, действительно, не полетит? — спросил Юра, когда мы опять водрузили модель на шкаф. Мы собирались принять участие в городских соревнованиях авиамodelистов.

— Почему не полетит? — сказал я. — Еще как!

И тут она без всякой видимой причины опять со скользнула со шкафа и сама перелетела на рабочий стол.

Мы очень удивились!

— У вас тут сквозняк, — сказала моя жена. — Поэтому ваша модель сама летает. Кончится тем, что вы оба простудитесь...

Вообще я немного побаивался Юру.

Он был пылкий ученик. Когда у меня что-нибудь ломалось, он смотрел мне в руки, не мигая, осмысливая у меня на глазах мою неудачу. Другой бы сделал вид, что ничего не замечает, а он именно обмозговывал мой промах.

Да, это был пылкий ученик. От него ничего не ускользало. Он не торопился и запоминал каждую мою неудачу.

Он учился на моих ошибках!

Перед самыми соревнованиями я заболел. Простудился... Пришлось лечь в постель.

Я уговаривал Юру отказаться от участия в соревнованиях. В конце концов мы еще ни разу не видели нашей модели в полете. Но он и слышать об этом не желал. Уверял меня, что сам усовершенствует мотор.

Соревнования передавали по телевидению. И я мог наблюдать за всем, что происходило на летном поле. Температура поднималась: я очень волновался. Но Юры нигде не было видно.

Зато два раза крупным планом показали маленького Шурика и его огромную собаку Матильду, которая провожала жадными глазами каждую взлетающую модель.

Вечером пришел Юра Жуков с пустыми руками, огорченный и растерянный.

— Улетела! — сказал он.

— Что значит — улетела? — как можно спокойнее спросил я. — Что ты этим хочешь сказать?

— Улетела! — повторил он. — Сначала она как будто не хотела подниматься...

— Так, так, продолжай, — говорил я, вспоминая, как наша модель перелетела со шкафа на стол.



— Потом она поднялась и села мне на голову. Я ее поймал руками и пустил...

— И она?..

— Улетела!

— Куда улетела?

— Не знаю. Ее не нашли...

— Георгий! — воскликнул я, потому что полное имя Юры было Георгий. — Нет, она нас не подвела! Она улетела, понимаешь?

Жена напоила нас чаем с клюквенным вареньем. А когда Юра ушел, я прокричал: «Улетела! Улетела! Улетела!» — и уснул. Утром я был здоров.

Жена считает, что у меня был приступ изобретательской лихорадки.

А нашу модель нашли через три дня. Она зацепилась крылом за телевизионную башню и упала в заросли орешника на пустыре. Нашел ее соседский Шурик со своей Матильдой.

4. Условия задачи

Однажды в конце учебного года заведующий отделом народного образования Николай Константинович Куш пригласил меня к себе и сказал:

— Мне некогда!

Он достал из ящика стола запечатанный конверт и предложил мне поехать в одну отдаленную школу на экзамен.

Нужно было собрать тетради учеников после того,

как они выполняют свою письменную работу, и прирезать эти тетради в методический центр.

— Там учитель новый, — пояснил Куш.

При этом он предупредил, что в конвертах два варианта — только условия задачи.

— А ответы? — спросил я.

— Ответов не будет, — ответил Куш.

В школе я без труда разыскал учителя математики.

Это был молодой человек в спортивном костюме. Звали его Олег Петрович. Он чистил во дворе свой красный мотоцикл.

Я еще с улицы слышал выхлопы мощного двигателя.

— Бараклит,— сказал он, указывая на мотоцикл, когда мы познакомились.

Я посочувствовал ему.

— Вы знакомы с Платоновым? — спросил он, вытирая паклей никелированные дуги.

— Нет,— ответил я.— Кто это?

— Гений! — сказал Олег Петрович. — Он до меня здесь работал. Его все знают... Правда, он теперь на пенсии. — Олег Петрович улыбнулся и добавил: — Нет такой задачи, которую он не мог бы решить сразу!

Когда в учительской Олег Петрович вскрыл конверт и прочитал условия задачи, Олег Петрович спросил:

— А ответы?

— Ответов нет,— сказал я как можно мягче.

— Тогда я сам,— пробормотал Олег Петрович и присел к столу.

Дежурный учитель подал ему чистую бумагу, перо и вышел в коридор. Я вышел вслед за ним, чтобы не мешать Олегу Петровичу.

Дежурный учитель был немолодой человек. — Вы давно работаете в школе? — спросил он меня.

— Не так давно,— ответил я.

Он усмехнулся.

— Я видел всякое на своем веку,— продолжал он,— а до сих пор волнуюсь перед экзаменом больше своих учеников. Один философ сказал какому-то учителю: «Пришли мне твоего ученика, я посмотрю, каков ты...»

Часы пробили девять.

Олег Петрович надел поверх своего спортивного свитера светлый пиджак, и мы вошли в класс.

Ученики встали за партами приветливо и, как мне показалось, непринужденно.

Олег Петрович кивнул, и ученики заняли свои места. Экзамен начался.

— Условия задачи! — сказал Олег Петрович и подошел к доске.

Конверт из горно лежал на учительском столе.

— Поехали! — тихонечко сказал один из учеников, но Олег Петрович не обратил на это внимания.

Окончив приготовления к письменной работе, проверив, все ли в порядке в классе, Олег Петрович присел к столу.

У него было огорченное лицо. Он старался не смотреть в мою сторону.

В окно мне был виден школьный двор, залитый солнцем, и красный мотоцикл, ожидающий у крыльца.

Наконец Олег Петрович сложил свои листки, спрятав их в нагрудный карман пиджака и поглядел на учеников.

Но они были очень заняты и не замечали его волнения. Кто писал, кто зачеркивал, кто обдумывал — дело шло вперед.

Карандаш в руке Олега Петровича несколько раз перевернулся то грифелем вниз, то грифелем вверх и сломался.

Каждый, кто работал в школе, знает, что есть особый приступ учительского волнения, когда вдруг и простейшая задача покажется тайной, или забудется крупная дата, или возникнет зияющая ошибка в одном слове...

По-видимому, Олег Петрович впервые испытывал такой приступ, он очень волновался, и на него нельзя было смотреть без сострадания.

Во всяком случае, чувствовалось, что помощь со стороны, необходимую в такие минуты, он принял бы не от всякого...

Вот он решительно подошел ко мне и сказал, что ему необходимо отлучиться. Ненадолго!

Сидение за учительским столом во время экзаменов и контрольных работ тем особенно опасно, что ученики, я заметил, как бы сверяют решение задачи с выражением лица учителя.

Одним неверным взглядом или движением можно незаметно для себя сбить ученика с верной дороги. Зато вояре сказанные слова «ничего — получится!» успокаивают целый класс.

Во дворе раздался треск выхлопной трубы. Я выглянул в окно и увидел, как Олег Петрович на своем красном мотоцикле выехал из школьных ворот.

Видимо, эти звуки были хорошо известны ученикам, потому что многие из них посмотрели на меня с удивлением: «Куда это отправился Олег Петрович?»

Прошло довольно много времени. Я видел, как один из учеников за первой партой не торопясь переписывал свое решение набело.

Другой ученик у окна был похож на Олега Петровича, склонившегося над рулем своего мотоцикла.

Девочка в круглых очках пишет что-то без передышки, не глядя по сторонам...

Во дворе раздался треск мотоцикла. И вскоре в класс вошел Олег Петрович. Меня поразило его разгоряченное лицо. Он жестом попросил учеников не отвлекаться от работы.

— Как вам нравится погода? — спросил он, когда мы с ним отошли к окну. — На улице жара, настоящее лето.

Олег Петрович вытер платком лоб. Потом он достал из кармана листок и написал на нем: «Вы не спугали варианты?» Я отрицательно покачал головой.

Ученики продолжали работу. Олег Петрович, видимо, боялся заглянуть в их тетради, как бывает иногда страшно посмотреть вдруг с высокого балкона на освещенную дорожку.

Трудный случай!

— Да, кстати, а где сейчас Платонов? — спросил я и пожалел об этом: «Вдруг обидится?»

Но Олег Петрович не обиделся, а просто душою ответил:

— Не застал я его дома... Говорят, его Куш к себе вызвал.

Между тем время экзамена истекло. Ученики зашумели, складывая тетради. В коридоре звонил звонок.

А через несколько дней Николай Константинович Куш снова пригласил меня к себе в кабинет.

— Мы с Платоновым вместе проверили все работы,— сказал он.— Подумайте, какой учитель! Как он готовит своих учеников! Талант! Настоящий талант!

Все задачи были решены учениками Олега Петровича правильно, простейшим и наиболее целесообразным методом.

Какой учитель не мечтал об этом!

Юнна Мориц



Сезоны для Музы равны

Подайся, окно, распахнись,
Как звонкая пробка от бочки —
За выюгой, сквозь хлопья, сквозь жизнь,
С упорством крыла-одиночки!

Нельзя, чтоб цветущий сугроб
Увял, лепестки отблестели, —
Положим на пламенный лоб
Холодную розу метели.

Январские звезды остры —
Как боль, причиненная в школе,
А нам они — сестры, костры,
А нам — корабли на приколе.

Мы будем у них ночевать,
Судьбу воспевать, как цыгане,
Стышком-ворожкой врачевать
Сердечные, вечные раны.

На крыльях, на крыльях окна —
Как мальчик на лебеде-гусе!
Выносливость наша страшна,
Особо крепчая в искусстве!

Сезоны для Музы равны!
В народном ее оптимизме
Зима — не отсрочка весны,
А четверть опущенной жизни.

Свой замысел я углублю
И здравие духа стяжаю!
Я зиму, как лето, люблю
И осень с весной обожаю.



Эй, да кто там в вишневом саду
Свет не гасит, стоит у окна,
Упрекая ночную звезду,
Что она — далека, холодна!

Это белая вишня цветет,
Это животрепещет она,
А звезда, что над нею растет,
Как звезда — далека, холодна.

Эй, да кто там за стенкой всю ночь
Свет не гасит, стоит у окна,

Упрекая расцветшую дочь,
Что она — далека, холодна!

Это белая старость цветет,
Это животрепещет она,
А звезда, что над нею растет,
Как звезда — далека, холодна.

Эй, да кто там в холодном поту
Свет не гасит, стоит у окна,
Упрекая то эту, то ту,
Что она — далека, холодна!

Это белая вечность цветет,
Это животрепещет она,
А звезда, что над нею растет,
Как звезда — далека, холодна.

Эй, да кто там просил не гасить
Трехлопастия трепетный свет,
«Эй, да кто там!» — решился спросить
И хоть звука добился в ответ!

Никогда надо мной не шути,
Что я падка на то, чего нет.
Никуда я не в силах идти,
Не напав на таинственный след!

К столетней годовщине

Нас больше нет. Сперва нас стало меньше,
Потом постигла всех земная участь, —
Осталось только с полдесятка женщин,
Чтоб миру доказать свою живучесть.

Мы по утрам стояли за кефиром,
Без очереди никогда не лезли,
Чтоб юность, беспощадная к кумирам,
Не видела, как жутко мы облезли.

Дрожали руки, поднимая веки,
Чтоб можно было прочитать газету.
Мы в каждом сне переплывали реки,
И все они напоминали Лету.

По этим рекам, на плотках, парамах
Мы достигали берегов туманных,
Чтоб навестить товарищей, знакомых,
Поэтов, серебрящихся в нирванах, —

Они вдали держались волей твердой,
Поскольку есть такое суеверье,
Что колья во сне тебя коснется мертвый, —
Кончай дела, твой ворон чистит перья.

С утра, надрывшись кофе до отвала,
Мы все держали ушки на макушке,
И Муза нам прозренья диктовала:
Нужны ей гениальные старушки!

Мы текст переписывали понаслышке:
Трава! Дрова! Весна! Вспла!.. Неважно!
Но в ритме нашей старческой одышки
Гармошка правды пела так отважно!

И все же я простить себе не в силах,
Что в пору слуха ясного и зренья,
Когда стихотворила хоть на вилках,
Я не сложила впрок стихотворенья!

Какой запрет, какие предрассудки
Мне в старчество мешали воплотиться
И ветхий возраст свой сыграть на дудке —
До черных дней, где трудно отшутиться!

Как я могла не думать о грядущем
И расстранжить силу столь беспечно!
Теперь пылаю взором завидующим
На дев и прочих, чье здоровье безупречно.

Ах, было бы мне лет не сто, а сорок!
Я написала бы о старчестве заране:
Открыто сто тысяч самых тайных створок,
Я б выудила предвоспомины!

Я б испытала дважды свежесть мига,
Вперед судьбы заядло забегая!
И может быть... волнующая книга!
И может быть... судьба совсем другая!



Эту ветку миндаля
Отодвинем! лет на двадцать!
Кинем якорь — цепью плакать!
Хлынем в юность — с корабля.

Юность, рай голодных муз!
Зеленейте, волны Ялты,
Где под шамканье медуз
Ветер яхты брал за фалды!

Дай порваться в закромах
Сиряга-память! Вскрой свой терем!
На тавернских холмах
Крылья юности расстелем!

Свежесть крови, слез, чернил —
Наши ранние портреты! —
Расстелите между крыл,
Ледяные волны Леты!

Блещут мачты средь ночей —
Серебристыми крестами.
Мы расстелем за кустами
Ту траву и тот ручей.

Где на лире, на кифаре
Нам Орфей давал урок
И бродил втроем и в паре
Тот, кто ныне одинок.

Юность, гряда козырей!
Что ты здесь остановилась,
Сердце бедное! Скорей
Стронься с места — сделай милость!

Эта ветка миндаля!
Игучий свет, грозный сердцу!
Юность, лист календаря,
Втянутый в печную дверцу!

У райской птицы

Июльское солнце сожгло зеркала —
Они почернели, обуглились к ночи.
В горячей прихожей порхал, как зола,
Седой мотылек, прилетевший из Сочи.

Кровавой глазурию облигый кувшин
Был ранен шипами трех роз разъяренных,
И марля прохлады, сошедшей с вершин,
На нем розовела при звездах зеленых.

И — райская птица! — грузинский поэт,
Воспетый потом как фрондер и кутила,
Был жив и еще хвастуном не воспет,
И сердце его от предчувствий грустило.

На облаке, облаке, облаке — впрямь
Он будет гулять с милосердной женою.
Но, Лирка, дай контрамарку и встреть
У входа, где оба гуляют со мною!

Ведро земляники облей молоком,
Протри полотенцем три блюдца, три ложки
И так же беззвучно уйди, босиком
Касаясь рогами на свежей обложке.

Минутку! В углу трафаретчик сидит
И жидкое золото в цифры втирает —
Так пусть отворется и вновь подтвердит,
Что образ действительно не умирает!

Перед ливнем

Полночь. Пыльная дорога.
Лунный коготь. Сонный лай.
Сердце холодно и строго
Смотрит вверх, за крайний край.

Наверху, за крайним краем
Звезды белые цветут.
Словно вишни над сараем
Дважды живы — там и тут.

Что ты, вишня, вкиснуть склонна
Между небом и землей,
Словно жизнь Лаокоона,
Перевитая змеей!

Жили мраморной ступени!
Пульс троянского жреца!
Что там бьется в пене вишен,
Кроме птицы и птенца!

Громче, вишня! Слишком близко.
Слишком в груди — в зубах скрипит! —
Столбик пыли бестийской
Средь малаховских раkit.

На вишневом небосклоне,
В темной арке грозовой
Наша память глухо стонет,
Чтоб из мертвых стать живой, —

Вот в протянутый стаканчик
Придорожного цветка
Брызнул вечности фонтанчик
Из античного соска!

Летней ночью

Сиреневые кущи облаков
Легли на грудь и дают, и не спится.
Какой-то дождик сделал пять шагов,
Чтоб сердце тронуть и остановиться.

Какой-то соловей включился вдруг,
И райская вздохнула половица,

Когда промчался наш мучитель — звук,
Чтоб душу вынуть и остановиться.

Какой-то ветер расшатал засов,
И ухнула полночная зарница,
И вышла горсточка родных голосов,
Чтоб сердце схватить и не остановиться.

В глуши завелся хриплый бой часов —
Как будто голос пропала певича.
Ручей какой-то в горле пересох,
Чтоб душу вымотав, навек остановиться.

За остановкой — лестничный пролет,
Где с неба в землю винчены ступени,
Как мрамор жилистой и мглистой,
Словно лед,
Русалками облепленной сирени!

О жизни, о жизни — и только о ней!

О жизни, о жизни — о чем же другом! —
Поет до упаду поэт.
Ведь нет ничего, кроме жизни, кругом,
Да-да, чего нет — того нет!

О жизни, о жизни — и только о ней
Поэт до упаду поет.
На миг оторвется — и дуба дает,
И где ему петь! Не встает!

О жизни, о жизни — о, чтоб мне гореть! —
О ней, до скончания дней!
Ведь не на что больше поэту смотреть —
Всех доводов этот сильнее!

О жизни, о ней лишь, — да что говорить!
Не надо над жизнью парить!
Но если задуматься, можно сдуреть —
Ведь не над чем больше парить!

О жизни, где нам суждено обитать!
Не надо над жизнью витать!
Когда не поэты, то кто же на это
Согласен — парить и витать!

О жизни, о жизни — о чем же другом! —
Поет до упаду поэт.
Ведь нет ничего, кроме жизни кругом,
Да-да, чего нет — того нет!

О жизни, голубчик, — сомненья рассей:
Поэт не такой фарисей!
О жизни, голубчик, твоей и своей,
И вообще обо всей!

О жизни, о ней лишь! А если порой
Он роется: что же за ней! —
Так ты ему яму, голубчик, не рой,
От злости к нему не черней,

А будь благодарен поэту, как я,
Что участь его — не злая:
За шторами жизни — такие края,
Где нету поэту жутья!

Но только о жизни, о жизни — заметь! —
Поэт до упаду пост.
А это, голубчик, ведь надо уметь —
Не каждому бог и дает!

А это, голубчик, ведь надо иметь,
Да-да, чего нет — того нет!

О жизни, о ней, не ломая комедь,
Поет до упаду поэт.

О жизни, о жизни — и только о ней,
О ней, до скончания дней!
Ведь не на что больше поэту смотреть!
И не над чем больше парить!

Ночь гитары

День насытился страстями,
Над квартирой спит квартира.
Небо звездными кистями
Оплело ограду мира.
Сторожа гремят костями.
На бревне вздыхает пара.
Гамлет — пьян, бредет с гостями,
На груди бренчит гитара.
Он рычит, что это — лира.
А над ним — как на смех! — Лира,
Несгораемая дура,
Мерзнет в облаках от жара, —
У нее — температура,
У гитары — синегура.
Плачь, гитара! Плачь, гитара!
Окати ведром эфира
Воздух душного бульвара.

Что за варварская мера:
Отрицать, что ты — не лира!
Вздвогони! Кто кому не пара!
Этот спор решит рапира!
Потому что в лапах зора
Обе, лира и гитара,
Смехотворны, словно помесь
Будуара и амбара.
Плачь, гитара! Плачь, гитара!
Окати ведром эфира
Воздух душного бульвара,
Но не плачь, что ты — не лира!

Вот воздушными путями
Погромыхивает хмара,
Как фигура Командора.
И кудрями трубадура
Извивается над нами
Электрическое пламя —
Жуткий ливень хлынет скоро!
Плачь, гитара! Плачь, гитара!
Окати ведром эфира
Воздух душного бульвара,
Липового коридора, —
Воздух, мучающий сердце,
Словно кофе Эквадора!

Древность дышит нозостями:
Например, губа — не дура,
Не создай себе кумира,
Целое не мерь частями,
Прочее — литература!
Ах, как люто мерзнет лира
В час, когда в котле бульвара
Задыхается гитара
И с хрипением пускает
Изо рта пузырь повтора:
Плачь, гитара! Плачь, гитара!
Окати ведром эфира
Воздух душного бульвара.

Плачь, любимица трактира!
Плачь, красавица базара!
Плачь, кормилица фольклора!

Валентин КАТАЕВ

ЛИВАНОВЫ

Впервые я увидел Бориса Ливанова в Художественном театре в двадцатых годах.

Двадцать годы! Неповторимое время нашего перехода от юности к зрелости. Об этом удивительном времени можно было бы исписать тонны бумаги. Но не обаятное не обинишь.

Начало второго или третьего акта. Идет занавес с белой чайкой. На авансцене длинный, по-провинциальному обильный праздничный стол. То ли именины, то ли еще что-то. По-видимому, ожидают гости, но пока еще сцена пуста. Лишь один молодой человек — высокий, могучего сложения, с малообещающим плотоядным лицом и развязными манерами уездного хама — первый гость — ходит вокруг стола, пристально разглядывая закуски и бутылки.

Он не произносит ни одного слова. Мимическая сцена длится минут пять. Пять минут сценического времени — это целая вечность.

Подобные паузы обычно потом входят в историю театра, как легенда. В то время ходила легенда о знаменитой паузе Топоркова в театре Корша, но помню уже в какой пьесе, когда он повсюду искал свалившегося с носа пенсне, а оно болталось на шпурке.

Эта пауза считалась рекордом.

Ливанов побил этот рекорд, «перекрыв» Топоркова на одну минуту.

Зрительный зал внимательно следит за действиями молодого актера, в то время почти еще неизвестного. Никто не кашляет. Затаили дыхание. Больше того, чо-

порная публика Художественного театра против своей воли как бы вовлечена в игру. А игра состоит в том, что, оказавшись наедине с накрытым столом, молодой человек, не стесняясь, сует нос в закуски, трогает пальцами студень, любителю поросенком, переворачивает его и так и сяк, передвигает тарелки, сует в рот куски пирога, чавкает, мурлыкает от наслаждения и, обходя со всех сторон стол, в конце концов разрушает всю его архитектуру, превращает в беспорядочную кучу еды и посуды, словом, ведет себя свинья свиньей. При этом сохраняет обаятельную улыбку и детское простодушие, как бы даже не подозревает, что он совершает непристойность.

Отличный образец сценического самочувствия, которое Станиславский называл публичным одиночеством.

Вся мимическая сцена заканчивалась шумными аплодисментами, что во время акта случилось тогда не часто, особенно в Художественном театре.

Небольшой эпизод, сыгранный молодым Ливановым, был единственным живым местом в скучной пьесе, где роли исполняли почти все звезды мхатовских актеров старшего поколения во главе с Москвиным.

Молодой Ливанов переиграл всех.

Наша дружба началась с моей «Квадратуры круга» — маленькой комедии-шутки, которую с благословения Станиславского поставил на своей Малой сцене Художественный театр для того, чтобы дать работу молодежи — Яншину, Грибкову, Бендиной, Титовой, Титушину, конечно, Ливанову.

Режиссером-постановщиком был столь же молодой, полный чувства внутреннего юмора Горчаков, а руководителем постановки — Немирович-Данченко.

Пьесу рекомендовал театру известный критик П. А. Марков, ведавший в то время литературным отделом МХАТа.

Репетировали почти целый год, я часто бывал на репетициях, сошелся со всеми актерами, занятыми в спектакле, в особенности же с Ливановым, который с той незабвенной поры стал для меня на всю жизнь просто Борей.

Мы были молоды, быстро подружились, перешли на «ты». Ничто так не сближает людей, как театр, его особая закусилщина, репетиционная атмосфера, в особенности же успех спектакля. Успех «нашего» спектакля превзошел все ожидания.

С тех пор и уже на всю жизнь Ливанов стал «моим актером», а я стал «его автором», хоть в дальнейшем пути наши в понимании театрального искусства разошлись.

Но все равно дружба осталась.

Ливанов был красавец — высокого роста, почти атлетического сложения, темноволосый, с черными, не очень большими глазами, озорной улыбкой, размашистыми движениями, выразительной мимикой. Широкая натура, что называется, «парень душа нараспашку», однако с оттенком некоего европеизма.

Он был постоянно одержим какой-нибудь самой невероятной идеей. Одно время, например, он высказы-

вал ту мысль, что государство должно устанавливать размер заработной платы каждому человеку, в особенности актеру, в зависимости от его роста, веса и аппетита: маленькому поменьше, большому побольше.

Я думаю, эта идея поселилась в голове Ливанова вследствие его громадного аппетита, резко расходившегося с небольшим жалованием начинающего актера.

Аппетит у него был громадный. Рассказывали, что однажды в гостях он один съел целого гуся и попросил добавки. Но это, конечно, один из театральных анекдотов.

Он всегда находился в состоянии творческих поисков, творческой неуспокоенности. Он вынашивал идею создания некоего совершенно нового театра, где бы на ярко освещенной, совершенно пустой сцене, на зеркальном начищенном паркете наклонной площадки действовали бы безо всяких аксессуаров актеры без грима, но в специальных легких шелковых одеждах вроде японских халатов.

Он делился со мною своими идеями, обласкивая меня за плечи и пылко дыша мне прямо в лицо, причем глаза его тревожно и вопрошательно блестили.

— Да? Не правда ли, это будет здорово! Ты со мной согласен?

Иногда, если наша встреча происходила на улице и нам мешали прохожие, он загонял меня куда-нибудь в подворотню, в подъезд или даже нетерпеливо запикивал в телефонную будку, закрывал неподатливую дверь и там, в полумраке, навалившись на меня, как медведь, продолжал развивать свои идеи.

Казалось, из его глаз выскакивают искры статического электричества.

Он обладал даром карикатуриста, и его шаржи на знакомых актеров приводили в восторжение даже профессионалов.

В «Квадратуре круга» он играл роль Емельяна Чернозёмого — доморощенного молодого поэта так называемой «есенинской школы», что тогда называлось «упадничеством».

Подобных «есенинских» эпигонов, приехавших из деревни в Москву за славой, в то время развелось великое множество. Такой тип я и вставил в свой водевиль.

Режиссура спектакля во главе с Немировичем-Данченко представляла себе Емельяна Чернозёмого неким есениноподобным типом, кудрявым, золотоволосым парнем, голубоглазым, с розовыми херувимскими щечками, в косоворотке, чуть ли не в лаптях.

Ливанов усердно репетировал, но не выражал никакого мнения относительно внешности своего персонажа, предложенной ему режиссурой.

Незаслуженно до генеральной репетиции он даже надел *кудрявый парик, нарумянил щеки и подвел свои глаза синей краской* для того, чтобы они на сцене выглядели голубыми.

По общему мнению, репетировал он вполне пристойно, и роль должна была у него получиться если не блестяще, то, во всяком случае, вполне на уровне Художественного театра.

Все шло хорошо.

Но вот настала генеральная репетиция с публикой, с «папами и мамами».

И тут произошло нечто небывалое, совершенно невероятное в истории Художественного театра. Ливанов вышел на сцену в неожиданном новом образе. Вместо кудрявого парика на его голове торчала щетка жестких волос, особенно высоких спереди, над лбом; нос был длинный, извилистый; на щеках веснушки; вместо рязанской косоворотки на его могучее тело был натян модный по тогдашним временам пуловер с ромбовидным рисунком, доморощенное изделие Мосшвей, купленное, по-видимому, Ливановым на свой счет. Выпаченная грудь...

Словом, совсем не то, что было утверждено режиссурой.

Увидев Ливанова—Емельяна Чернозёмого в таком виде, Немирович-Данченко, принимавший спектакль, побавровел от ярости, нервно поглядывая свою элегантно подстриженную бороду с изнанки — то есть от горла к ее вздернутой периферии, издал зловещий звук, нечто среднее между мычанием и стоном, и мы все, сидевшие рядом с ним, поняли, что за свое самоупраство Ливанов немедленно же после спектакля будет с позором изгнан из прославленного театра.

Однако ничего не подозревавшая публика встретила выход Емельяна Чернозёмого веселым смехом, а когда он стал произносить свой текст, то смех усилился.

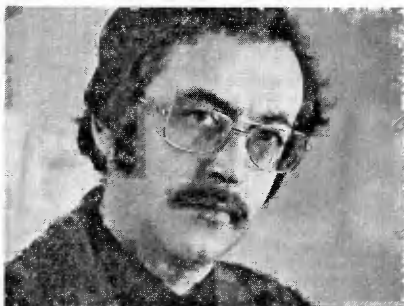
Образ, созданный Ливановым, был настолько близок к весьма распространенному в то время типу молодых поэтов-графоманов — комический гибрид эпигонов Есенина и Маяковского с некоторым внешним сходством с молодежным самородком Иваном Приблудным, — что зрительный зал пришел в полный восторг, и роль Емельяна Чернозёмого, гротескно поданная Ливановым вопреки всем строгим традициям Художественного театра, прошла, как говорится, «на ура, первым номером».

Успех Ливанова был так очевиден и так велик, что мудрый дипломат Немирович-Данченко сделал вид, будто ничего криминального не заметил, отечески похвалил за кулисами Ливанова, утвердил его самостоятельный грим и костюм, причем дал понять, что, в сущности, этот образ таким и был задуман им самим.

Впоследствии Ливанов редко прибегал к столь острому гротеску, почти клоунаде. Он органически вписался в строго-реалистический стиль Художественного театра, и его молодой, сильный талант ширился и углублялся с каждой новой ролью, в которую он все же всегда вносил нечто свое, особое, остро-ливановское.

(Продолжение — на стр. 27)

Василий
ЛИВАНОВ



АГНИЯ, ДОЧЬ АГНИИ

Глава первая

«Да, скифы—мы!»
А. БЛОК

СКАЗАНИЕ О СКИФАХ

— Врут они, эллины. Ну, сам посуди: стал бы Приам обречать на гибель себя, свою семью и целый город только ради того, чтоб влюбленный его сын спал с похищенной им Еленой? Да если бы старый царь сам воспыпал к прекрасной спартанке, и то, думаю, выдал бы ее Менелаю, супругу законному, перед лицом такой смертельной опасности. А эллины выдумали эту безумную историю только для того, чтобы оправдать разграбление великой Трои да еще выставить себя героями.

— Да пойми ты, варвар, история тут ни при чем. Это высокий поэтический вымысел.

— Красиво врут и с наслаждением — вот в чем беда.

— Соври лучше! — И Аримас в сердцах так стукнул молотком по готовой форме для литья, что она раскололась.

— Ваш спор, мужи, — сказал молчавший до сих пор Ник Серебряный, — легко бы разрешила любая женщина, эллинка или скифянка — все равно. Женщина бы сказала вам: не надо спорить, они сражались за любовь.

— Мир вам, свободные скифы! Есть новости?

Много новых тропинок протоптали тогда в степи наши кони. И уже отвыкли воины сжимать рукоятку меча или тянуть тугой лук прочь из горита¹, заслышав в стороне фыркание и топот чужих жеребцов и завидев над высокой травой островерхие шапки незнакомых всадников.

Спешившись, садились на пятки, знакомились, пуская чашу по кругу, делились мирными новостями, хвастались довольством, хихикали и сплетничали, как женщины.

А женщины наши...

Редко под какими войлоками, расшитыми заботливыми женскими руками, не закрывал тогда новорожденный младенец.

Молодежь донимала предсказателей гаданиями на переплетении ивовых

Рисунки
И. УРМАНЧЕ.

¹ Горит — чехол для боевого лука.

прутьев о грядущем счастье, и долгими теплыми вечерами звонкие молодые песни разлетались над светлой водой Борисфена¹ и падали, обмирая, в пахнущие пьяным дурманом травы.

Дажедохматые наши псы забывали грызться из-за брошенного им куска и лениво отворачивали поглупевшие морды, когда подачка казалась им не слишком лакомою.

Стада наши тучнели и множились, как облака в грозном небе, а небо над нами было безоблачно, чисто и высоко, и в этой чистой вышине парили, распластав крылья, недосыгаемые для стрелы птицы.

Молчал великий бог Папай, а наши старики становились все речистее и речистее.

Ах, старики, разрази вас гром!

Найдется ли старик, кто в молодости не был храбрейшим из храбрых, удачливейшим из удачливых, могучим, как Таргитай², любимцем богов?

Есть ли старик, который признается, что не пировал он на свадьбе Протогипы, сестры всех скифов, с дочерью Асархаддона, царя ассирийского?

Или скажет, что не его аргмак³ быстрой, как гепард, топтал Ливийскую пустыню, когда фараон Псамметих воздвиг перед ним золотую стену из богатых даров?

Разве отыщется старик, который не познал счастливой любви множества женщин? Старик, который не ласкал в свое время податливых вавилонянок, дерзких ассириек, стыдливых дочерей Сиона?

Где старик, не отведавший вкус вина всех наперечет виноградинок от пределов земли до берегов Борисфена да так и не захмелевший от неисчислимых мер прохладных амфоров?

Слава вам, старики! Слава белым ящерицам шрамов, покрывших вашу сухую кожу, неважно, где и как полученных, слава вашим седым бородам, в которые прядете вы улыбки смущения; слава вашей мудрости — мудрости детей, готовых без конца пов-

¹ Борисфен — древнее название Днепра.

² Таргитай — мифический герой скифов.

³ Аргмак — порода древних безгрудых скакунов.

Ливановы

(Продолжение)

Сейчас имя Бориса Ливанова так ярко блестит в созвездии великих хматовцев старшего, среднего и молодого поколения, что об этом нет необходимости здесь упоминать: и так все ясно, и то, что Ливанов ушел от нас навсегда, — не меняет дела. Он был, есть и будет до тех пор, пока существует МХАТ.

Здесь же мне хочется вспомнить лишь молодого, начинающего Ливанова.

Говоря о Борисе Ливанове, вспоминая и такой случай.

Однажды в Кисловодске, в то время, когда ставился «Квадратура», я встретился с отдыхающим там Станиславским, и мы разговорились о дальнейшей судьбе Художественного театра.

В то время, как, впрочем, и всегда, всю свою жизнь, Константин Сергеевич много думал о дальнейшем творческом пути своего театра и о тех молодых актерах, ко-

торяте любой печальный опыт в святой надежде, что смерти нет.

Нас тревожат и манят ваши прошлые подвиги. Мы хотим сами рассказать внукам небывлицы у ночных костров.

Смейтесь, лукавые боги! Пусть тот, кто имеет мало, удовольствуется малым! У нас всего много, и мы желаем еще большего! Мы будем смеяться последними. Ведите нас, старики, мы вырвем вашу молодость из когтей смерти.

Агой!

Старики не спеша подняли победные чаши из вражьих черепов, обтянутых вызолоченной кожей.

О вино! Благословенный дар неверных богов! Единственная радость нового узнавания привычных истин.

Темную влагу ночи пьет Земля из золотой чашы Неба. Медленно, наслаждаясь, тянет Али-богиня хмельную душистую прохладу, пока не блеснет ослепительно золотое дно чаши. Тогда раскиснет богиня, изнемогая от жажды под плавящим взглядом Солнцеликого. И будет рождать новое, и расстилет уже рожденное, и провожать отжившее. И так бесконечно...

Черная в свете костров, струя упала и розово запылилась над краем чаши, падая тяжелыми каплями на руки пирующих. Виночерпий, стоя в кругу, вознес влажный мех на уровень плеч, загордив лицо, и теперь даже те, кто знал его, видели в нем только бога вина, напряженного, с широко расставленными кривыми ногами, обтянутыми легкой козьей шкурой, руками, обнимающими небо в кольце взглядов сидевших вокруг костра людей.

Сам бог вина с козьим мехом вместо головы вошел в освещенный круг, и люди притихли и посерьезнели в соседстве с Богом.

Твердая струя, падающая из-под звезд, колыхнулась всей своей кривизной, отклоняя край чаши. Красная влага вина выплеснулась в лицо сидящему, окрасив его будто кровью.

Люди смотрели, как эта хмельная кровь скатывается алыми струйками по надбровьям, мимо затененных глазниц, горбинки носа к подбородку.

торым предстояло прийти на смену знаменитым хматовским старикам.

Между прочим, характеризую молодых актеров, занятых в моем водевиле, Станиславский вдруг остановился посредине аллеи кисловодского парка и сказал:

— А вы знаете, как это ни покажется вам странным, но ваш друг Боря Ливанов со временем займет в нашем театре место Качалова. Я это предсказываю!

При этом Константин Сергеевич посмотрел на меня сверху вниз сквозь пенские с резко-черными ободками своими милыми, пронзительно-прищуренными глазами.

Тогда, признаюсь, мне это показало невероятным. Но Станиславский оказался прав.

Ливанов очень любил Качалова, был с ним в близкой дружбе и в честь Качалова впоследствии назвал своего сына Василием.

Помню Ливанова во многих ролях, но почему-то мне особенно видится Ливанов в роли Кассио в шекспировском «Отелло».

Молодой, красивый, стройный, благородный, веселый, простодушный воин-офицер, скандалист, с обнаженными

Это был еще один знак военной удачи среди многих предзнаменований, уже посланных богами.

Здесь, на великом совете племен, Мадай, сын Мада-я, за умение одинаково обеими руками владеть мечом прозванный Трехрукий, был отмечен золотой секирой и признан вождем великого похода, первым среди равных.

Ему, Трехрукому, теперь царю над всеми скифами, выпало принести кровавые жертвы Мему и возжечь костер войны на вершине Большого Кургана.

В ту ночь Трехрукий взял в жены Агнию Рыжую, свободную скифянку.

Опыленный вином и запахом жертвенной крови, он не касался — насиловал молодую жену, как проститутку раба.

А утром Трехрукий повел за родной Борисфен скифские тьмы.

И пошли с ним расторопные фиссаги¹ и веселые будины, хитроумные тавры и скупые на слова ииры, и массагеты, не знающие жалости. И мы пошли, скотаты.

И долго еще стонала и вздрагивала изрытая копытами коней земля, и пыльное облако, поднятое войском, три дня и три ночи висело между небом и землей, заслоняя солнце и звезды.

В становившиеся остались лишь женщины, дети, немощные старики и верные рабы.

И Агния Рыжая — над ними царица.

«Что сильнее огня? — поют наши девушки. — Вода. Что сильнее воды? Ветер. Что сильнее ветра? Горы. Что сильнее гор? Человек. Что сильнее человека? Вино. Что сильнее вина? Сон. Что сильнее сна? Смерть. Что сильнее смерти? Любовь».

Открытая для любви душа Агнии была раздавлена единственной ночью с Трехруком. Испуг, боль, безразличное разочарование вытеснили робкое ожидание послушного счастья, живущее в сердце каждой, даже самой гордой женщины.

¹ Фиссаги или фиссагеты — скифское племя. Так же, как будины, тавры, ииры, массагеты, скотаты.

Ливановы

(Продолжение)

мечом в руке, в боевом шлеме, озорно сдвинутым немножко набекрень.

Тут можно было бы кончить заметку о друге моей молодости Борисе Ливанове. Однако в жизни никогда не угадаешь заранее, где конец, а где начало. Навсегда ушел Борис Ливанов, но пришел другой Ливанов — сын, тот самый, которого отец назвал в честь Качалова Василием.

Он вошел ко мне, веселый, худой, молодой, в серьезных очках, чем-то неуловимо похожий на отца, но только совсем другой, очень современный, сдухотворенный, и протянул машинописный текст повести под странным названием «Агния, дочь Агнии», с еще более странным эпиграфом из Блока: «Да, скифы — мы!». Я вынул повесть из голубой пластиковой папки, прочел первые строчки и понял, что это нечто из жизни скифов.

О Василии Ливанове критика пишет, что искусство и прежде всего театр вошли в его жизнь очень рано и

К теперешним чувствам ее примешивалось и чувство вины, что, может быть, она, неумелая, сама виновата грубость Мада-я. Тайно, с жадным вниманием прислушивалась Агния к бесстыдным болтовне замужних женщин, ища новые пути в непонятный мир человеческой любви, который так жестоко ее встрял. И не находила.

Много слез пролила Агния, прощаясь с чем-то, а с чем — она и сама не знала. Нет, она не возненавидела царя, тогда оставалась бы надежда полюбить его. Она просто постепенно свыклась с ним, теперь таким далеким, как свыкаются в молодости с мыслью о неизбежной смерти.

Если она вспоминала Трехрукого, то только с тем, чтобы повторить самой себе: «Зато я царица, царица...»

А это очень много, даже для самой гордой женщины — быть царицей. И вот она захотела нравиться себе и стала жить только для себя. А людям стало казаться, что царица живет только для них.

С тщательно расчесанными, убранными за плечи огненными волосами, в дорогом, но простом наряде, судила она бесконечные споры между женами, вынося решения, которые своей строгостью нравились ей самой, и эта уверенность царицы убеждала людей в ее справедливости.

Она толково распределяла работы между рабами, и слова благодарности умиляли ее, возвышая в собственных глазах.

Она с удовольствием обьезжала табуны и стада на белолобой своей кобылке, и старые пастухи полюбились калыкать с ней о достоинствах подрастающего приплода и, прищурившись, одобительно прищелкивали языками, прожывая взглядами летящий по ветру золотой пламень ее волос.

Она не заброхотала с той ночью. Дети не вляпались в нее, но она угадывала, что расспросы о младенцах нравятся матерям, и не упускала случая притвориться заинтересованной.

С заходом солнца, усталая, царица валилась на грудь шкур и войлоков и без сновидений спала до рассвета.

очень органично. Дед и отец оказали огромное влияние на духовный мир юноши, определили его решение посвятить себя служению искусству. Он широко известен как хороший киноактер, исполнитель запоминающихся ролей в фильмах «Неотправленное письмо», «Слепой музыкант», «Синяя тетрадь», «Коллеги» по роману В. Аксенова, наконец, совсем недавно в фильме о декабристах «Звезда пленительного счастья», где он с блеском исполнил роль Николая I.

Он сценарист, автор детских сказок, один из создателей знаменитого мультфильма «Бременские музыканты», мультипликатор. Он озвучил широко теперь известного Крокодила Гены.

Одним словом, талант его многогранен.

И вот еще — совершенно нежиданно — новая грань: повесть о скифах, глубокое погружение в древнюю историю, сказание о жизни давно уже исчезнувшего народа, некогда кочевавшего в южных просторах нашей страны, в Причерноморье, по берегам Днепра, Днестра, Прута, Дуная.

История скифов пока еще мало изучена, но изыскания археологов продолжают, исторический материал накапливается, скифские курганы открывают перед учеными свои сокровенные тайны. На основании этого ис-

Так минуло два года.

В одно осеннее утро из тумана с того берега доносилось ржание коней, звон оружия. Властный мужской голос поклатился над разбуженной водой и достиг становища. Сердце Агнии бешено заколотилось и оборвалось.

«Вернулся!»

Неведомая ей тоска сковала душу и тело. Уже женщины с криками радости высыпали на берег и лезли прямо в воду, пытались разглядеть своих на том берегу, а она, царица, все еще сидела в шатре, уронив руки, не в силах заставить себя встать и выйти навстречу прибывшим. А когда вышла, короткий стон вылетел из груди ее, и она без чувств упала в пожелтевшую траву.

Караван вброд переходил Борисфен. Выючные верблюды толкали и теснили в глубокую воду маленьких осликов, длинные уши которых торчали перед ворохами поклажи. Воины, числом не более сотни, кружились верхами на удивительных тонконогих конях, размахивая нагайками и кричали, распоряжаясь толпой полуголых носильщиков, длинной цепочкой вытянувшихся от берега до берега.

Это был первый караван с далекого юга, присланный Трехруким. Самого царя между воинов не было. Это надеялась увидеть и увидела Агния, выйдя из шатра. Люди присудили ее стон и оборот любви к царю, и эта ошибка окончательно утвердила их простодушную любовь к молодой царице.

Богатые дары пришли с караваном. Становище бурлило, как речной доводорот.

Развешивали тюки, разбивали ящики кедрового дерева, растаскивали по кибиткам баракло, пряности, запечатанные амфоры с вином, дорогие безделушки. Изучали разнообразную посуду, назначение которой было не всегда понятно, но это только увеличивало счастье обладания.

Коверкая язык, с пристрастием допрашивали новых рабов, мучаясь сомнениями, что соседям досталось более сильные и сметливые.

Мальчишки благоговейно прикасались к оружию, испещренному таинственным знаками.

торико-археологического накопления Василий Ливанов создал совершенно оригинальную повесть-позму, которая захватила меня художественной достоверностью, поэтичностью, образностью, драматизмом, а также неповторимыми характеристиками своих героев — «свободных скифов».

Не считая небольших сказок для детей, это первый серьезный литературный опыт Василия Ливанова. В нем чувствуется уверенная рука зрелого мастера — художника слова, что случается чрезвычайно редко с начинающими писателями, но особенно ценно в Ливанове то, что, описывая зверски-грубую скифскую жизнь, весь ее дохристианский, чисто языческий ужас, Василий Ливанов, как и подобает современному художнику, пропускает скифскую действительность как бы сквозь «матерический кристалл» свойственного нашему времени гуманизма, вследствие чего написанные им картины древнего варварства обретают и второй план, что придает всему произведению некую высокую нравственную основу.

Кроме всего сказанного, следует отметить, что повесть «Агния, дочь Агии» увлекает своим острооточенным сюжетом и читается от начала до конца с неослабевающим интересом, несмотря на некоторые язы-

Старики подолгу выставляли вокруг высоких, с крашенными хной хвостами, тонконогих жеребцов, со знанием дела примеряя к ним кобылиц из наших табунов.

Кое-кто никак не мог прийти в себя от одного вида верблюдьей горбатости или длинных ослиных ушей.

Радостное оживление было общим.

И только воины, приведшие караван, держались особняком. Тяжело изувеченные в битвах, с безобразно изуродованными, обожженными лицами, с орубленными конечностями, хромоте, односторонней, не годные больше ни для какого труда, мирного или ратного, напившись с утра пораньше раззолоченные доспехи, они шумно опьянялись вином и кумысом, неудержимо хвастались, затевали дикие ссоры, сводя какие-то старые счесть, приставили без разбора ко всем женщинам становища.

Тот, кто не умер от ран по пути к дому, заживо гнил теперь среди великоколения отнятой у врага добычи.

Среди них был и мой отец. Но я не помню его. Он ушел от нас дорогой предков, чтобы вместе с ними охранять покой Великой Табити-богини¹. Молодой и счастливый, несется он легкой тенью среди других теней, обгоняя ветер над бескрайней степью.

Но когда-нибудь захочет Великая богиня снова испытать его мужество. И тогда женщина рода скотов родит мальчика, и вырастет он сильным и смелым воином.

И неясная тоска будет охватывать его в короткий час сумерек между днем и ночью. То душа моего отца, влетевшая на крылатом коне в грудь вновь рожденного, будет вспоминать прошлую жизнь свою, неведомую потомку.

Так было от первого рождения, и так будет, пока серебряные звезды звезд удерживают чашу Неба над прекрасным ликом Земли.

Драгоценное оружие, что привез отец из далекого похода, осталось с ним в его новой жизни. Чуде-

¹ Табити — верховная богиня у скифов.

ковые и синтаксические сложности, легко, впрочем, преследимые.

С чувством радости я рекомендую читателям «Юности» первую повесть Василия Ливанова. Я уверен, что в его лице наша литература обрела новый, заслуживающий самого пристального внимания, свежий, самобытный талант.

Горжусь, что мне первому довелось представить Василия Ливанова, сына моего покойного друга Бориса Ливанова, советскому читателю.

...И хочется его назвать по-отечески просто Васей. В добрый путь, Вася Ливанов!

Переделкино.

сный тонкокожий жеребец и оба раба обагрили своей кровью черный жертвенный камень, прежде чем лечь рядом с отцом под могильный холм.

На прощальной трапезе, бряхотаю мною и только потому не погребенная вместе с мужем, мать моя раздала людям на добрую память об ушедшем почти все, что нашла под войлоками нашей кибитки. Но она недолго пережила отца и ушла вслед за ним, едва успев отнять меня от груди. Женщины становища не дали умереть младенцу, выкормив кобыльим молоком. Имя, данное мне от рождения, забылось. Со мной осталось прозвище, каким метят особенно крепких степных жеребят, и племя усыновило меня.

Я — Сауран¹, сын скотов, свободный скиф. Я могу сидеть у любого костра, но нет огня, к которому подсел бы я по праву родства.

В десятую свою весну я выменял то небольшое, что перешло ко мне от отца, на двухлетку из царских табунов, которого давно присмотрел, — светло-гнедой, с темной полосой по хребту, потомок диких коней, такого же неутомимого саурана, как и я сам.

На нем, Светлом, я увез жалкий свой скарб подалее от становища, чтобы там, у костров табунищ, зажечь свой одинокий костер. Самое ценное, что у меня было — родовой железный меч-акинак в простых кожаных ножнах, — я закопал в степи, у подножия древнего могильного кургана. Я стал одним из сторожей бесчисленных табунов царя Мада Трехрукого, деля неуслынный труд, тепло огня и пищу со старыми волевыми пастухами и царскими рабами. Время от времени укрادкой наведывался я к тайнику, откупавал заветное оружие и, обливаясь потом, старательно точил зазубренный клинок на черном камне. По ночам, откинувшись затылком на круп Светлого, я мечтал о том времени, когда мне дозволено будет опоясаться мечом, испить горячий крови поверженного врага и стать воином — равным среди равных.

Над дариком Маем посмеивались за глаза. Но когда высокая, тощая фигура его появлялась между кибитками и шатрами становища, смеяться опасалось.

Мужчины вежливо здоровались первыми, с готовностью протягивали ладони для хлопка, а женщины спешили притронуться к прокопченной одежде кузнеца, чтобы скорее приблизить где-то вечно кочующее женское счастье.

Дед Май слыл колдунуном.

Никто не мог бы сказать, по каким дорогам скривела его кибитка, запряженная двумя белыми, невиданными у нас длиннорогими быками, прежде чем въехать за земляной вал нашего становища. Назвавшись свободным скифом нашей крови, приезжий, окруженный толпой любопытных, уверенной рукой направил быков к шатру царицы. Не топорясь слез он с высокого колеса и, держа под мышкой нечто завернутое в овчину, громко выкрикал имя царицы, без тени смущения шагнул за полог красного шатра.

Агния Рыжая словно ждала его.

Старик попросил разрешения поставить свою голову и все, что имеет, под копыто коня Агнии Рыжей, чтобы кочевать в наших степях, брать воду из наших колодезь и зажигать костер в кругу наших

костров. Потом, низко склонившись, бережно развернул он овчину и положил к ногам царицы своей дар.

Это было зеркало дивной работы. Овальнуюлицевую глады обнимали крылья стремительно падающей от врага птицы. Чешуйчатое тело змеи, висящее плотными кольцами из-под золотого клюва, составляло рукоятку зеркала, которая завершалась маленькой змеиной головой, повернутой навстречу птице. На оборотной стороне бронзового овала те же крылья поддерживали гирлянду из листьев. Длинноногая лосиха тянулась к листве. Маленький лосенок, подогнув передние ножки и подняв мордочку, напряженно и выжидающе следил за матерью.

Агния залюбовалась красотой и тонкостью рисунка, безупречной отливкой. Ей показалось, что фигуры заключали какой-то неясный, очень важный для нее смысл. Пытаясь удержать догадку, уловить связь, Агния пристально и откровенно смотрелась в теплую бронзу.

Она видела, как удивленно расширились длинные зеленые глаза ее, как побледило лицо, как режкая поперечная складка обозначилась между темными, высокими бровями.

Но смутное предчувствие лишь тронуло ее душу и ускользнуло от сознания. Агния опустила зеркало и встретила упорный безстрастный взгляд. Этот незнакомый старый человек глубоко заглянул в душу царицы, взволновал и испугал ее необычайно.

Бледные щеки царицы вспыхнули, глаза влажно заблестели. Желая побороть невольное смятение, царица заставила себя улыбнуться. Старик сразу же ответил улыбкой, расплывшийся и без того всколоченную бороду его и совсем сузивший глаза под густыми, тяжелыми бровями.

— Это зеркало моей работы, — сказал старик, — я хочу, чтобы оно принесло тебе удачу. Ты медно-волоса и прекрасна, как Аргимпаса², но ты не богиня, царица, и твоя любовь может стоить тебе жизни. Я буду молиться. Да заступятся за тебя боги, царица.

Старый кузнец вышел из царского шатра и, невозмутимо раздвинув любопытных, уехал за вал становища в степь.

Когда кибитка выбралась из толпы, полог ее вдруг приподнялся, и худенький, носатый, похожий на птицу мальчик, высунувшись наружу, дразня, показал оторопевшей толпе язык.

На самом берегу Борисфена, выше становища, старик врыл в землю колеса своей кибитки и отпустил длиннорогих быков отбегаться на волюном выпасе.

Скоро слава о кузнечном мастерстве деда Мая облетела степь. День и ночь пылал огонь в сложенной из камней кузнице. Мерно стуча тяжелым молотом, дед перековывал и закалял старые клинки, правил наконечники стрел и копий, лепил из глины и обжигал в пламени фигурные формы для медного литья. Из самых отдаленных кочевий приезжали к нему заказчики и платили за работу баранями и козами, засоленными сырыми шкурами, мягкими войлоками, хлебным зерном и медом, а изредка вином. Договариваясь, старый кузнец выводил какие-то таинственные знаки на куске выделанной кожи и, заглянув в эти знаки, мог вспомнить любой заказ каждого и меру платы. И никогда не ошибался.

¹ Сауран — саврасый или светло-гнедой конь с темной полосой по хребту, потомок диких коней.

² Аргимпаса — богиня любви у скифов.



Поначалу наши старики по одному наведывались в кузницу с мелкими заказами, но больше для того, чтобы сладко побеседовать с новым человеком и разведать, откуда он, зачем и как. Но заказы их быстро истощились, а при оглушительном звоне молота и сильном жаре от мехов, к которым был приставлен худенький внук старика Мая, степенной беседы никак не получалось. С достоинством же помолчать можно было и дома. И старики, тая обиду, перестали называть. Зато псы, которых кузнец с внуком привадили щедрой подачкой, ставили сбегались к ним из становища и, отлынивая от охранной своей работы, часами сползали вокруг кузницы, бросая на хозяев удушливые взгляды, ревниво сторожа друг-другу и судорожно сглатывая слюну с горячих и красных своих языков.

Оба кузнеца, старый и молодой, были прозваны «песимины пастухами», а на самом деле внука звали Ари́мас, что значит Единственный.

Отсюда, с береговой кручи, отчетливо была видна на посаженной отдели тоненькая мальчишеская фигурка. Сидя на короточках, мальчик чертил по мокрому песку длинным упругим прутом. Сверху я хорошо различал очертания большого коня, распластавшегося в бешеном скачке. Головы у коня еще не было. Мальчик вскошил и, перепрыгивая через линии сканущих ног, оказался впереди коня и снова присел на короты. Пруту уверенно заскользил по песку. Вот конь изогнул шею, повернул голову и оскалдился, обороняясь от кого-то, еще невидимого. Конец прута вытянулся вперед, и длинная растрепанная челка, будто прижатая ветром, упала на глаза коня. От кого он убегает, этот конь, кому грозит?

Мальчик перешагнул через очертания головы и замер, глядясь в гладкий, утоптаный песок. Напрягая зрение, я тоже посмотрел туда, куда глядывался мальчик, но ничего, кроме песка, не увидел.

Вдруг мальчик широко расставил ноги и, торопясь, взмахнул концом прута.

Широкие злые крылья взметнулись над конем. Хищные когтистые лапы протянулись к холке, плоская голова на длинной шее дернулась вперед, и загнутый клюв вонзился в шею коня.

Грифон! Так вот во что глядывался мальчик на песке! Теперь мне казалось, что я тоже мог разглядеть так это чудовище.

Мальчик поднял прут, ползнулся, остановился и снова рванулся вперед. Страшный грифон выпустил длинный змеиный хвост и обвил сканущие ноги коня. Сейчас конь рухнет со всего маха, сейчас... Прут сломался.

Мальчик отбросил обломок в сторону и тут увидел меня. Он подбежал к рисунку и стал затирать босыми пятками песок.

— Не надо!

Я не ожидал, что крикну так громко. Мальчик остановился.

— Что, нравится? — спросил он, по-птичьи склонив набок голову.

— Нравится. — Теперь я едва себя расслышал.

— Ерунда! Не получилось. Я лучше могу! — Он помчался с отдели и с разбегу бросился в реку.

— Ты что делаешь?! — Я быстро спустился к самой воде. — Разве ты не знаешь, что река унесет твою силу и сам ты рассыплешься песком?

Он весело рассмеялся и обрызгал меня водой. Я отскочил, начиная сердиться.

— Не сердись! — крикнул он и, взмахивая руками, быстро подплыл к берегу.

Он стоял рядом со мной, откинув назад мокрые пряди белесых волос. Глаза у него были широко расставлены и смотрели светло и задорно.

— Дедушка говорит, что вода толсто прибавляет силу. А дедушка знает все. Хочешь, поведем к нам? — Он подхватил с песка смешные широкие штаны свои, на ходу одеваясь, запрыгал по песку, как птица, и затрещал вопросами: — Это твой конь? Как тебя зовут? А ты, Сауран, видел грифонов?

Он продолжал трещать, пока я зануздывал Светлого, пока садился и помогал ему влезть на коня. С места я пустил Светлого вскачь. Мальчик сразу смолк и, боясь не усадить у меня за спиной, крепко обнял меня вокруг пояса худыми цепкими руками и восторженно зыпыхал в затылок. А я вдруг почувствовал радость оттого, что узнал этого странного мальчика, умеющего вызывать из песка быстрых коней и страшных грифонов и теперь божащегося упасть с живого коня, и в душе благодарил его за то, что он, не стеснясь своего страха, доверчиво держится за мой пояс. И боги знают, что еще такое почувствовал и подумал я тогда, но у меня защепаило в носу, и слезы навернулись на глаза.

И мне захотелось всегда быть с ним рядом и чтобы он был рядом со мной всегда. И я попросил об этом богов.

Много раз белые кони дня уносили за пределы Земли сияющую колесницу Солнцеликого, чтобы дать дорогу вороним коням ночи.

Вчерашние подростки становились юношами и, едва научившись владеть мечом и натягивать тетиву, садились на коней и уходили за Борисфен, на юг, по наезженной дороге отцов.

А навстречу им тянулись к берегам Борисфена тяжело груженные, богатые караваны царя Мадея. Теперь даже рабы в наших становищах одевались не хуже хозяев.

Рабы не понимали нашу речь, часто не понимали друг друга, но всегда хорошо понимали ремешный язык скифских нагаек. Поговаривали, что хитроумные тавры, первыми начавшие клеить коней раскланенным железом, стали теперь клеить своих рабов, чтобы не путать их с чужими и легче опознавать беглых. Такой обычной тавров старики подсаждали царице. Но Агния Рыжая внезапно разгневалась и прогнала от себя стариков.

Это случилось как раз после того, когда с одним из караванов снова пришли рабы. И среди прочих — чернокожий гигант из сказочной Нубии¹, невиданный подарок царя Мадея молодой царице.

И возжелал бог Папай любви Апи-богини. Тьма закрыла небо, и не явился Солнцеликий из-за пределов Земли, страшась спящих стрел охваченного страстью бога и гремящего голоса его.

Поникли травы, перепутав тропинки в степи, смолкли и попрятались птицы, и зверье ушло в свои норы.

Но напрасно метался ветер между небом и землей, вдвывая в уши богини свистящий шепот порывистого бога.

Холодная и неприступная, ждала Апи-земля лишь возвращения Солнцеликого.

Истощил бог Папай свои стрелы, ослаб его грохочущий голос, и зарыдал он в неутоленной страсти своей.

Слезы его, ливнями павшие на землю, сбивали нежные лепестки цветов, валяли и ломали стебли

¹ Нубия — древняя Эфиопия.

высоких трав, разрушали птичьи гнезда, затопляли звериные норы и переполняли реки.

Но неумолима оставалась Апи-богиня.

И, уронив последнюю слезу, поднес бог Папай руку, одетую черным мехом туч, к выплаканым глазам своим, и из-под руки его вдруг проткнулось светлое небо над краем земли.

Тогда набросил Солнцеликий золотое узорное покрывало на тело Апи-богини и слушал, как глубоко и освобожденно задышала усталая земля, и ласково смотрел на нее затуманенными огненными очами, пока не закрыла их ночь.

В наступившей темной тишине только полноводный Борисфен ворчал и пенился, круша и размывая родные берега и унося степную нашу землю к черным волнам далекого Эвксинского понта¹.

Агния приехала к деду Майю незадолго до темноты. Ее сопровождал черный Нубец. Царица, нарушив обычай, пожелала сделать чужеземца, да к тому же раба, своим телохранителем. Теперь, облаченный в грубые кожаные доспехи, с тяжелым копьем в руках, он стерег вход в царский шатер. В первые дни его стражи люди постоянно толпились перед шатром, разглядывая и обсуждая раба с испуганным удивлением насмешливым любопытством. Два подгулявших ветерана, побившись об заклад почти со всеми мужчинами племени, попытались пройти за полог шатра, пренебрегая присутствием вооруженного раба.

Одного Нубец сразу оглушил ударом дубка, а другого легко обезоружил и прогнал с позором под хохот и улюлюканье всего становища.

Царица, узнав о происшедшем, пожелала заплатить проигршив неудачников баранами из своих стад, загасив вспыхнувшую было к ее телохранителю ненависть ветеранов, и, дорого выкупив у обезоруженного потерянн в схватке меч, одарила им верного своего телохранителя. Решительными и умелыми действиями Нубец снижал недоуменное уважение воинов, и его вскоре оставили в покое.

Подставив крутое плечо под ступню царицы, черны раб помогал ей сойти с коня. Дед Май вышел навстречу прекрасной гостье своей и, отогнав собак, сам снял чепраки² с лошадей. Конские спины, высветленные низкими лучами заходящего солнца, дымилась во влажном воздухе. Разбирая поводья, стерик украдкой поглядывал на царицу и ее спутника.

Агния, закинув локти и упруго наклонив голову, поднимала к затылку тяжелые, мокрые от дождя пряди рыжих своих волос, скручивала их и собирала заколот пучок длинной бронзовой булавкой, которую она пока держала, сжимая губами.

Черный гигант высился у нее за спиной. Из-под опущенных век он сонно смотрел на суетящиеся белые пальцы царицы, тугие медные завитки волос на напряженно выгнутой шее, на тяжелый пучок, казавшийся медно-красным в закатном луче.

Агния несколько раз торопливо ткнула булавкой в скрученные пряди, пытаясь крепко и сразу закрепить прическу. Неожиданно Нубец, как будто очнувшись от сна, выбросил вперед черную руку. Его длинная ладонь поймала и накрыла пальцы Агнии. Жало булавки скрылось в волосах. Раб отпрянул. Крутые наверху заколки блеснули в скрепленном плече.

Агния не обернулась, не взглянула на дерзкого раба. Не поднимая головы, смущенно, исподлобья она взглядом поискала, где старый кузнец.

Дед Май проворно присел за спины лошадей и сделал вид, что разбирает спутанные поводья и ничего, кроме поводьев, не замечает.

— Ага, — сказал он, подмигнув сам себе. Потом, не спеша привывая лошадей у коновязи, еще раз серьезно обдумав замеченное и тихонько сказал лошадям: — Ага!

Присев к очагу, царица начала издалека. Она знает, что никому, даже царям, не дано проникнуть за завесу тайны, хранимой богами.

Только посвященным, кому даровано подземными силами чудесное мастерство кузнецов, дозволено понимать дух Огня, не боясь его мести. Но от рождения наречена она огненным именем. Имья ее, может быть, позволит ей прибегнуть к божественной силе самого Агни.

Пусть кузнец спросит у бога Огня, какая жертва угодна ему. Агния ни перед чем не остановится, принесет любую жертву, чтобы задобрить богов. Она хочет, она должна знать судьбу, ей предначуженную.

Почему кузнец не отвечает? Царица она в конце концов или не царица?

Дед Май молчал, опустив глаза, что-то обдумывая.

— Аримас, — строго позвал он.

Мальчик торопливо выбрался из-под вороха теплых шкур и, смущенно бормоча: «Мир тебе, царица», — выскочил из кибитки.

Прикажи я твоему рабу оставить нас.

Нубец шагнул в темноту вслед за мальчиком. Пока не упал отпущенный его рукой полог, Аримас видел морщившиеся, даже в свете пламени, лицо царицы и будто тень черных крыльев, взметнувшихся у нее за спиной.

Снаружи влажная темнота ночи была напоена тяжелым и пряным запахом трава. Ветер улегал. Тяжелая наступившая тишина, и слышно было, как потрескивают угли за войлоками кибитки.

Вдруг столб огня, разбрасывая искры, вырвался в черное небо через круглое отверстие над очагом, багрово подсветив ровные края низкой тучи. И сразу же сильный, странно незнакомый голос запел дико и протяжно, как поет разбушевавшаяся пламя. А может, это пел вовсе не старый кузнец, а сам дух Огня, всеисильный бог Агни явился перед людьми, разгневанный настойчивой просьбой молодой царицы.

Псы, подвывая по-волчьи, метнулись прочь от кибитки и унеслись куда-то во тьму.

Охваченный ужасом, мальчик прижился к недвижному столбцу рабу, расцарапав нос и щеку о жесткую кожу воинских доспехов. Нубец опустил руку на плечи тяжелые свои ладони, и Аримас почувствовал, что пальцы раба дрожат.

Так стояли они, обнявшись, а голос огненного бога пел, то стонущим визгом взлетая к небу, то падал в темные травы, рыча низко и хрипло, пока не заполнил собой степь и небо над ней, и ничего уже не было вокруг, кроме трещащего пламени в непроглядной тьме над кибиткой, и это пламя казалось языком, дрожащим в темной пасти поющего бога.

Тишина настала внезапно. Пламя упало. Темный горб кибитки торчал в посветлевшем небе. И в наступившей тишине раздался такой человеческий, такой страдающий голос женщины.

— Нет! Никогда! — крикнула царица.

Отшвырнув Ариаса, Нубец рванулся навстречу этому голосу за полог кибитки.

¹ Эвксинский понт — древнее название Черного моря.

² Чепрак — покрывало. Седел и стремля в то время не знали, коня покрывали кожаным или войлочным чепраком.

Дед Май хохотал, как помешанный. Он задыхался от хохота, кашлял, бил себя кулаком по колену и опять хохотал, размазывая по лицу слезы. Нубиец, Аримас и царица сначала недоумоенно смотрели на него, но самих тоже разозлило. Их смех почему-то совершенно доконал старика. Он повалился боком на шкуры у очага и только выкрикивал: «Ха! ха! ха!» — как бы отталкивая от себя что-то, его смеившееся. Черный раб гудел басом, будто катил перед собой пустую бочку, Аримас взвизгивал и хрюкал, как поросенок, а царица, закинув голову, звела чисто и непрерывно, словно ручей по камням.

А потом царица вдруг заплакала. Дед Май сразу перестал смеяться и сделался необычайно суетлив. Он достал камешки бирюзы, растолок их в большой медной ступе и стал учить царицу, как подводить бирюзу глаза. И преподнес ей бирюзу и ступу вместе с пестом. Потом попросил кинжал с пояса раба и, принеся короткий меч, разрубил лезвие кинжала клинком этого меча, а меч пожаловал Нубицу. Потом достал маленькую свирельку, хорошо играл на ней и опять довел царицу до слез. А после учил царицу играть на свирельке и свирельку тоже подарил.

Агния уехала от него веселая, и до самого рассвета удивленное становище слушало сквозь сон ее немую игру на этой дедовой свирельке.

В ту ночь бог Агни устами старого кузнеца потребовал у царицы за раскрытие тайны ее жизни принести ему в жертву черного царского раба.

Новости не любят сидеть дома. Слух о богатствах нашего племени, петляя в высокой траве степей, перепрыгнул через волны трех рек и зацепился за корявые ветки мелкоколосья в стране андрофагов¹.

Длине андрофаги не признавали скифских обычаев. Плосколицые, одетые в меха войны рыскали в степях на своих низкорослых выносливых конях, совершая внезапные набеги на соседние племена. Андрофаги похищали женщин, с которыми обращались, как со скотиной, угоняли табуны и стада, грабили и разрушали становища.

Вместо того, чтобы украшать узду боевого коня пучком длинных волос, снятых с темени побежденного, как и подобает делать воину, андрофаги жарили тела своих поверженных врагов на кострах и поодаль, как дичину.

Любой сколот с детства слышал об андрофагах. Матери страшили непослушных детей: «Вот подожди, придет андрофаг».

И андрофаг пришел.

Незадолго до рассвета я погнал табун к угренемому водопое.

Лошади, подфыркивая, легко шли, ширкая ногами в мокрой от росы траве. Туман, искристый, белесовато-розовый, еще не поднимая от земли, скрывая за призрачной своей завесой тихую переливку бледных степных цветов. Иногда какой-нибудь жеребенок, играя, отскакивал прочь от плотно идущих лошадей, и тогда его след темным изливом ложился в мокрой траве, прорывая покров тумана и обнажая густые переплетения крепких стеблей.

Такой же, только прямой, как стрела, след тянулся за скачущим сбоку табуна Светлым, и далеко-далеко в начале этого следа вспыхивал и клубился, пробивая туман, первый солнечный луч.

Когда мы достигли берега, туман уже поднялся, и отражение лошадей, четкие, яркие, необыкновенно чистые, легли в недвижную, казалась, воду.

Старая белая кобыла с проваленной спиной, волоча по гальке желтоватый, тонкий у рипцы хвост, тронула воду губами, мотнула, роняя брызги, тяжелой головой, туго обтянутой кожей, и смело, первая вошла в реку. За ней, шумно будоража гладь воды, устремились весь табун.

Я соскочнул с горячей спины Светлого, лег на грудь, упираясь ладонями в мокрую хрустящую гальку, и тоже напился рядом с конем. Потом растелил потерявший чепрак в тени береговой кручи и растянулся на нем.

Табун стоял на мелководе. Лошади, подремывая, лениво обжигались хвостами. Жеребята задирали друг друга, но не решались далеко отойти от матери. Только молодые нежесткие кобылицы стойкой вышли на берег и прожались, теснясь, пугая подруг и сами притворно пугаясь, только для того, чтобы вдруг закосить глаза, всхрипнуть, раздувая ноздри, взбрыкнуть стройными, сильными ногами и промчаться круг-другой, откинув хвост, выгнув шею, радуясь и гордясь своей молодой необезбуженной силой и красотой.

Теперь было заметно, что течение на мелководе быстрое. Река морщилась и урчала, пробираясь на открытый простор среди множества лошадиных ног. Высокие ноги лошадей, уставленные прямо и слегка наклонно, похожи на столбы деревьев, а тела, хвосты, гривы подобны причудливым переплетениям тяжелых крон. Табун напоминал рошу, где деревья стоят тесно, но вытянувшись в линию.

...И правда, это роша, и сам я бреду меж столбов по колену в воде. Ноги то взвизг в донном песке, то оскальзываются на гальке.

Какие маленькие деревья! Я касаюсь рукой одного из стволов, поднимаю голову. Ствол уходит в вышину, и там, высоко, сквозь густую кору едва пробивается солнце. Нет, роша не маленькая, просто я — большой. Стволы растут все теснее и теснее, я уже с трудом протискиваюсь между ними. Там, впереди, в узкие просветы я вижу Агнию Рыжкую, мою царицу. Она стоит, уронив руки, и смотрит на меня молча, в упор. Вода, урча, поднимается все выше и выше. Вода ей уже по грудь. Но Агния этого не замечает, она смотрит только на меня. Я хочу крикнуть, предостеречь, но голоса нет. Я rausь к ней среди нагромождения стволов, опускаюсь в глубокой воде. Вода прибывает, вода ей по горло. Длинные пряди золотых волос колышутся, погружаясь.

Еще одно усилие, и я спасу ее, прекрасную мою царицу. Стволы медленно сжимают мне грудь, я не могу вырваться, я задыхаюсь.

Голова Агнии, подхваченная потоком, покачиваясь, отделяется от меня. Агния улетается. Ес лицо мелькает среди дальних стволов, пока не скрывается навсегда. И тогда я кричу, свободно, отчаянно и страшно...

Чей-то крик, протяжный и дикий, сорвал меня с чепрака, на котором я уснул. Опуравшись спросонья, я смотрел, как табун, пеня воду, скакал вон из реки. Грохот ударяющих по воде и камням копыт, испуганное ржание и крик, страшный этот крик.

Я испугался. Я видел плоские лбы обезумевших лошадей, плотным рядом надвигавшихся прямо на меня. Видел их расстрепанные гривы, круглые копыта, взлетающие в бешеной скачке.

Я побежал что было сил вдоль берега, чтобы успеть пересечь путь скачущему табуну и не попасть под копыта. Табун надвигался стремительно, я уже не чувствовал под собой ног, когда глухой грохот накрыл меня, горлань обдало едким запахом конского пота и передо мной мелькнула ощеренная,

¹ Андрофаги — кочевое племя.

запрокинутая морда кобылицы с вывернутым белком глаза.

Тупой удар в плечо поднял меня в воздух, и я кубарем полетел в траву. И я увидел их. Только они могли кричать так страшно. Припав к швам своих низкорослых коняг, андрофаги вынеслись из-под берега. Их было двое. Обгоняя их, высоко вскидывая ноги, скакал мой Светлый.

Мысль, что я могу повторить его, отогнала страх. Я вскочил на ноги и призванно засмеялся. Светлый круто свернул ко мне, не замедляя скачки. Одним прыжком, ухватившись за гриву, я взлетел на спину коня. Я думал, что андрофаги бросятся ловить меня, и был уверен в резвости своего скакуна. Собравшись в комок на холке, я пустил Светлого полным махом. Стрела с визгом расколола воздух, ожоги оперением ухо. Я нырнул под грудь жеребца, обхватив ногами широкоую шею и вцепившись немощными пальцами в космы черной гривы. Мне было видно, как андрофаги съехались вместе, остановились и вдруг, взмахнув плетями, пустились в угон табуну.

Еще не рождала степь скифа, который без боя уступит врагу коней.

Я уже закончил первый круг лет¹, был ловок и силен, но безоружен. Что я могу совершить, безоружный, против двух зрелых воинов? Я даже не успел предупредить своих, как андрофаги угонят царский табун, которому нет цены.

И я решил. Я погнался Светлого к древнему могильному кургану.

Обливаясь слезами бессильной ярости, обрывая ногти, я отрыв заветный меч и сжал в ладони костяную рукоятку.

Я молил бога Папая испепелить меня самой яркой из своих молний, если я не смогу умереть, как мужчина.

Потом я снова вскочил на Светлого. Ветер ударил в лицо, размазывая слезы.

Агай!

Светлый, приседая на хвост, съехал по осыпи на глубокое дно старого, высокого русла и поскакал по плотному песку, перепрыгивая через наполненные мутной водой промоины.

Если успею к табуну раньше андрофагов, погоню лошадей в сторону нашего чоевья, а если не успею... Мерный глухой перестук копыт послышался, приближаясь, впереди справа. Значит, андрофаги догнали и повернули табун. Я придержал Светлого. Лошади скакали по-над краем песчаной кручи, обдаваемая травянистой кромок. Я повернул Светлого и, прикрывая высоким берегом, во весь дух помчался обратно, высматривая, где можно поскорее выбраться наверх к табуну.

Светлый, роняя хлопья желтоватой пены и екая селезенкой, наконец вскарабкался по откосу и сразу оказался сбоку скачущего табуна. Старая белая кобыла прыгнула в сторону и сорвалась с обрыва, подняв столб пыли. Я направил Светлого прямо в табун и снова соскочил коню под грудь. Тяжелый меч в истлевших ножнах, болтался, колотил его под брюхо, сбивая равномерный скок.

Снова, но теперь ласковый и успокаивающий, голос андрофага послышался справа по ходу табуна. Лошади, тесно сгрудившись, стали уклоняться от высокого русла. Андрофаги перекликались над головами лошадей, держась по краям табуна.

Я снова распластался на спине Светлого и, подобрав поводья, придержал его, пока не оказался в густой пыли за табунном. Тогда я выдернул меч из ножен и пустил жеребца вперед между табунном и

обрывом. Спина всадника, прикрытая волчьим мехом, возникла из пыли внезапно. Черные волосы, заплетенные в тонкие косицы, прыгали по широким плечам.

И обормосал стук копыт. И замерли на бегу кони. И ветер, остановив полет, разбрался в клубках пыли разпростертые гривы и хвосты лошадей.

Идленно, онемя медленно я поднял и опустил меч на затылок врага. Рукоятка выскользнула из потной ладони, клинок повернулся, ударил плашмя. Горящий ужас волной охватил меня. И сразу же заколыхались конские гривы, закрубились пыль, и перестук копыт ворвался в уши. Наши кони, порываясь, скакали бок о бок. Андрофаг поднял ко мне широко, масляно блевшее плоское лицо. И тогда я прыгнул на него с коня, торопя свою смерть.

Степь стала на дыбы, закрыв небо. От удара о землю я потерял сознание.

...Что-то горячее дыхание коснулось моего лица. Я очнулся. Светлый, тяжело дыша, стоял надо мной.

Я лежал на теле врага, вцепившись в жесткую шерсть волчьей куртки. Андрофаг был неподвижен. Голова его неестественно повернулась, и темные узкие глаза без всякого выражения смотрели куда-то мимо меня. Я оглянулся.

Пыль осела. Никого.

Дикая ненависть к врагу, заставившему меня пережить смертельный ужас, овладела мной. Я рванул вончий мех волчьей куртки и, подобрившись зубами к короткой шее за ухом, отведая вражьи кровки. А когда поднялся, в глазах вспыхнули и расплылись багровые круги.

Меня нашли под вечер табунчики, без памяти лежащего на теле мертвого андрофага.

...Набег дикого врага стал неотвратим, наше племя обречено на гибель. Скорости, давно оставленные зрелыми воинами, не выстояли бы в смертельной схватке.

И тогда Агния Рыжая, царица, выступив на совете старейшин, поклялась нерушимой клятвой обоседить всех наших рабов, если они с оружием в руках, плечом к плечу со сколотами, выйдут защищать жизнь, честь и имущество племени.

Рабы в то время превосходили нас числом, среди них были опытные в прошлом воины, и только сознание того, что, убежав, они все равно погибнут, пробираясь через земли скифских племен, удерживало их в покорности.

Старики скрепя сердце одобрили царицу. Рабы, возликовав, ответили клятвой. Все, кто мог держать в руках оружие, вооружились, сели на коней и встретили набег. Огромный курган насыпали мы потом над павшими в этой битве. И долго еще в степи по ночам озверевшие наши псы грызлись с волками над трупами андрофагов.

Но странно: обрета свободу ценой жизни, рабы только небольшим числом оставили племя и ушли пробираться через степи к родным очагам. Многие, теперь свободные, остались с нами.

И Черный Нубец, залечив полученную в битве рану, по-прежнему повсюду сопровождал Агнию Рыжую, нашу царицу.

Каждый год большая белая птица прилетает в страну ириков от крайних пределов земли. И каждый раз какой-нибудь неосторожный охотник поразит белую птицу не знающей промаха стрелой. Но охотничья стрела никогда не убивает сразу, а прочно застревает в пышном оперении крыла. И тогда раненая птица летит прочь из страны ириков,

¹ Круг — двенадцать лет.

испуганно взмахивая большими крыльями, пытаясь освободиться от застрявшей в оперении стрелы.

И там, где пролетает белая птица, сыпется с неба ее легкий белый пух и покрывает им землю и себе, что есть на земле.

Изнемогая раненая птица, холодеет ее дыхание, и стивут воды рек и озер, над которыми она пролетает.

И лишившись сил, падает белая птица в черные волны Зангисинского понта, и долго ее белые перья, рассыпавшись, вздымаются на гребнях волн, пока не отогреется земля и не утихнет взволнованное падением птицы море.

С наступлением зимы мы, скотопы, оставляем пуганым становищем и уходим вниз по течению Борисовки. Там, у соленой воды Меоитского озера¹, ждем мы улыбки Солнцеликого, и с первым теплом возвращаемся назад в родные степи.

...Что с тобой, Агния Рыжая, моя царица?

Перышке снежинки опускаются на длинные твои ресницы, тают, скатываясь блестящими каплями по щекам, за широкий ворот меховой куртки, холодая шею.

Разве не за тем съехала ты в глубокий снег с умной копилкой и колесами дороги, чтобы хозяйским глазом оглядеть тянущийся мимо тебя поход племени?

Но ты не чувствуешь холода, не замечаешь ни всадников, ни коней, ни упрямых волос, ни погонщиков, ни кибиток. Людо, будто вырезанное из куска черного дерева, неотступно видишь ты перед собой. Прозрачной синевой отсвечивают белки темных бездонных глаз. Восторг. Ужас. Нежность. Боль. Страх. Надежда. Пустота.

Ты рабыня, царица. Ты презреннее рабыни, потому что ты — рабыня раба. Так благодари же, благодари царя Мадея за такой подарок!

Ледяная капля, скользящая под мех, обожгла грудь. Ах, как хочется оглынуться! Ведь он позади тебя, он рядом, твой телохранитель.

Но нельзя, нельзя!

И ты вбиваешь палки в обмякшие бока кобылицы, чтобы не встретить взгляды стариков и ветеранов, отряд которых замыкает растянувшиеся обозы похода.

— Молитесь за меня богу Агни, — со слезами на глазах попросила царица женщин.

Ночь, день и еще ночь, не угасая, горят большие костры вокруг царского шатра. Крутит ветер снежную пыль, треплет высокие пламя, уносит в гулкую тьму голоса женщин.

Закутанный в меха Нубиец черной тенью вырисовывается у входа в шатер, покачивается из стороны в сторону, навалившись всей тяжестью на крепкое древо копыя.

Женщины поют, потом, устав, замолкают, чутко прислушиваясь к глухим стоном, вылетающим из царского шатра, и снова запевая громко и отчаянно.

Мужчины бродят безо всякой цели за освещенным кругом, остереженно пойдя лезущих под ноги псов, останавливаются, сойдясь, коротко перебрасываются словами, понижая голоса, и снова разбредаются, поглядывая на красный верх шатра.

То и дело из пурги возникает всадник. Подскакивает, раскидывая снег и грязь, к освещенному кругу, осаживает коня, склонившись с конской спины, шепотом спрашивает о чем-то у женщин и снова уносится в пургу, к табунам, огрев коня плетью.

Ветер, налетев, рвет слова древней молитвы:

— Ты — недремлющий... аюющий... лютого зверья... нас самих, детей наших, коней наших... Агни... лйкий... — в который раз заводят женщины и смолкают.

Заскулила собака, видно, получил крепкий пинок. Снова заскулила, будто заплакала. Ой, собака ли это скули?

Нубиец выпрямился, перестав раскачиваться. Женщины, обходя костры, приблизились к шатру. Мужчины вышли из темноты в освещенный круг. На подскочившего всадника зашипили, он соскочил с коня, взял его под уздцы. Люди вслушались, задержав дыхание.

В шатре, теперь уже бесшумно для всех, слабо и жалобно заплакал младенец.

И тогда, словно кто-то толкнул их в спину мощной ладонью, люди устремились к шатру. Толпа отшвырнула Нубица, он упал в снег. Люди валились на него и лезли в шатер, наступая на спины упавших. Шатер наполнился до отказа. Задние наваливались на спины стоявших впереди, но те уже сдерживали натиск, упираясь пятками и выгибая спины.

Агния, разбросав космы потемневших от пота волос, обессиленная, наспех прикрытая, лежала навзничь на шкурах у самого очага. Две старухи, стоя на коленях, склонились над большой чашей, омывая новорожденного младенца теплыми кобыльим молоком и загораживая его от людских взглядов.

Нубиец, помпый и ушибленный, отчаявшись противостоять вперед, выгибая шею, смотрел над головами столпившихся, как разошлись старушечьи спины, как высохшие старые руки подняли и показали толпе новорожденного ребенка — чернокожую девочку. Толпа ахнула. Слабое пламя очага метнулось и угасло. В наступившей темноте все головы повернулись к выходу. Курчавая голова и широкие плечи Нубица отчетливо выделялись в разрезе открытого полога, за которым весело кружились подвешенный кострами птицы.

— Выйдите все! — вдруг властно сказал Нубиец, неправильно выговаривая скифские слова. — Она может задохнуться.

Тут только люди почувствовали, что в шатре стало нечем дышать.

В ту же ночь, не принеся благодарственных жертв богу Агни, старики и ветераны, оставив семейные кибитки, ушли от царского шатра у берегов Меоитского озера к табунам и стадам, уведя за собой всех юношей.

Они разбили боевой лагерь на расстоянии одного конного перехода от кочевий племени, выставили стражу и стали совещаться.

Под утро пурга внезапно улеглась, и Солнцеликий, явившись из-за пределов земли, вдруг одарил мир улыбой, сразу растопившей снежный покров и обогрешей легкие дыхание ветра. Смущенные было суровым отступничеством мужчин, женщины несказанно обрадовались доброму этому знаку, связав его с рождением черной девочки, и, переговарив, решили открыться в том, что давно таили.

Собравшись во множество, они отправились к боевому лагерю стариков и ветеранов. Они легли шли веселой гурьбой, редясь вздувшимся по-весеннему водам реки, отыскивали по дороге и указывали друг другу тоненькие зеленые стебельки молодой травы, выбиравшие из-под земли среди ржавой завали прошлогодних трав.

Женщины редко бывают в чем-либо уверены до конца. Но если такое случается, ни уговорами, ни угрозами, ни стойким долготерпением мужчине не победить эту уверенность. Так было и на этот раз.

¹ Меоитское озеро — Азовское море (древнее название).

— Эй вы, герои! Великие воины бога Папая, оставшие нас, чтобы совершить ненужные нам подвиги в неведомых нам странах! О нас, ваших женах, вы подумали? Или вам кажется, что драгоценные безделушки, под которыми гнутся спины караванных ослов, смогут заменить нам мужчин? Вы подумали о матерях, у которых отнимают для своих диких забав сыновей — многие из них никогда не вернутся к родному очагу или вернутся калеками. Вы подумали о дочерях ваших, которые стареют, так и не узнав мужской любви и счастья деторождения? Можете, любящие калеки, по-вашему, большое счастье? Что вы напялили свои раззолоченные панцири, воляки? Разве ваши мечи способны защитить нас от андрогафов? Нас зашилили рабами, которых вы сами объявили свободными! Или вы не клялись нерушимой клятвой вместе с нашей царицей?. Семнадцать долгих лет, как милости, ждем мы возвращения своих мужчин, а они и не вспоминают о нас. Не вы ли, пьющие, похвалялись любовью к грязным чужим бабам в проклятых кекках-то странах? А в это время мы, женщины, вместе с рабами берегли ваши табуны, ваши стада, трудясь за вас, мужчины... Наши мужчины забыли о нас, а мы забудем о них. Мы будем делить ложе с теми, с кем делим труд и пищу, радости и опасности! А вы не скифы больше, вы просто трусы! Вы все давно знаете, что мы тайно родимся с рабами, и от бесслия только прачете голову под крыло, как глупые птицы. Раскройте ваши глаза: сам Солнечеликий посылает нам свое одобрение!

Так кричали женщины онемевшим от ярости и обиды старым воинам.

А потом вперед выступила пожилая полногрудая скифянка и позвала юнца, торчащего по причине высокого роста из-за спины стариков.

— Гайтор, бедный мой сыночек! Ты бы не появился на свет, будь твой отец скифом. Настал час, и я скажу тебе, ты сын Белоголазого Кельта! Да, да— и увидев, что у юнца отвалилась челюсть, закончила требовательно: — Иди, сейчас же домой! Твой отец всю ночь отбивал табун от волков не хуже любого скифа. Ты можешь гордиться своим отцом: он свободный человек и не даст нас в обиду.

Товарищи юнца с презрением отступили от него, и тогда несколько женщин разом заголосили, перекрикивая одна другую:

— Ахшок! Спутан! Масад! А вы что думаете, что родились от дуновения ветра? Ваши отцы ждут вас у родных очагов и будут рады обнять своих глупых сыновей!

Обратно женщины возвращались, уводя с собой толпу потрясенных юншей.

Слава тебе, царица Агния Рыжая! Такого полного поражения скифского мужества не могли припомнить даже самые ветхие и злопамятные старики!

— Царица родила черного ребенка!— еще издали крикнул я, колотя без нужды пятаками обросшие длинной шерстью, запавшие бока Светлого.

— Благодарение великому Агни,— торжественно отозвался дед Май.

Он стоял у кибитки, с сомнением оглядывая белого бычка с испачканным в навозе боком, которого Аримас крепко держал за скрученную ремнем губу. Судя по всему, дед и внук не собирались уходить из кочевья, несмотря на решение старшей. Да еще вопреки запрету готовились принести жертву богу Агни.

— Не чужого щедрой милости великого бога постигнет его гнев,— угадал мои мысли старый куз-

нец и вдруг, растопырив седую бороду, заорал на Аримаса:— Ну, что стоишь, как баран на солончаке?

Аримас вздрогнул и, торопясь, стал обтирать ладонью замаранный бок скотины.

Старый кузнец протянул мне крепкий витой аркан и короткую толстую палку. Я спешился, принял из рук деду жаренное орудие и присоединился к Аримасу. Вдвоем мы натянули аркан через коленную голову на шею бычка и укрепили за ремнем палку. Дед Май, мерно помахивая куском негнущейся старой шкуры над тлеющим костром, слезая и чихая от дыма, подпал палку.

— Пора!

Мы подтащили упирающегося бычка к огню.

— Слава тебе, великий бог Агни, прикоснувшийся огненной рукой своей к новорожденной царице!— торжественно выговаривал дед Май.— Тебе, недремлющий, посвящаем мы это незапятнанное животное. Прими нашу жертву с миром!

Старый кузнец ухватил почерневшей могучей рукой конец палки и двумя поворотами туго сдавил аркан. Бычок рванулся, вывалил язык, выпучил глаза и рухнул у самого огня, опалив шерсть.

— Благодарю тебя, огненный бог!

Мы с Аримасом освежали бычка, дружно работая ножами, срезали мясо с костей, туго набили им бычий желудок и повесили над костром. Собаки, топчась вокруг, жадно глотали пропитанный кровью снег.

Только когда дед раздел всем по куску жарко дымящегося варева, мы снова смогли заговорить.

Ловко орудуя ножом и тонкими, измазанными жиром пальцами, Аримас набил полный рот и невинно спросил у деду:

— А если бы бог Агни не прикоснулся к младенцу, царица родилась бы белокожей?— И незаметно для деду озорно подмигнул мне.

— Все может быть,— очень серьезно отвечал дед Май.— Случается, что у мудрого деду рождается внук-дурачок.

И когда мы весело и освобожденно расхохотались, дед добавил сурово:

— В эту ночь и пока не разрешу— от кибитки ни на шаг. Я не хочу потерять своих внуков, хотя бы и дурачков.

Старый кузнец не зря тревожился. Старики спешно разослали гонцов во все соседние становища. Гонцы вернулись обескураженными: женщины повсюду приветствовали союз царицы и черного раба и открыто ликовали.

Тогда старики со всякими предосторожностями снарядили в долгую дорогу тайного посланца к самому царю Мадаю.

Но, видно, боги потешались над стариками. Иначе как объяснить, что женщины, чудом прозван о намерении стариков, выследили тайного посланца далеко от кочевий, настигли после бешеной скачки, заарканили, как скотину, сдернули с коня и забили насмерть.

Это случилось под вечер второго дня после рождения черной царицы. А ночью толпа вооруженных, теперь свободных рабов, в пешем строю, свята факелами, ворвалась в боевой лагерь продолжавших упорствовать стариков и вырезала всех, кто не успел сесть на коня и ускать в степь.

В руках рабов оказалось богатое и разнообразное оружие, предсудометрительно свезенное в лагерь ветеранов.

Уцелевшие старики, мучась ненавистью и страхом, под конвоем рабов вернулись в кочевье и поспешили принести запоздалые жертвы разгневанному богу Агни. Бывшие рабы единодушно избрали

Черного Нубийца верховным вождем и принесли ему клятвы, каждый согласно своим обычаям и богам.

Так мы, сколоты, по воле бога Агии приняли в себя кровь многих народов, а наши боги, потеснившись, дали место другим, неизвестным нам богам.

Глава вторая

Первые годы Мадай тосковал о Скифии. Каждый вновь прибывший из скифских степей царь приглашал в свой боевой шатер, обильно угощал, жадно выслушивал и расспрашивал, входя во всекие подробности. Особенно внимателен и нежен он бывал со сколотами, привозившими ему новости из родного становища. Он бережно растирал в ладонях сухие венчики поднесенной в дар ковыль-травы и с волнением глубоко втягивал расширяющимися ноздрями горький степной дух.

Гости, отчасти желая удовлетворить любопытство царя, отчасти стремясь угодить ему, рассказывали, стущая краски и возвышая тона, о боевой готовности концов принять участие в будущих походах царя, о радости женщин и стариков от щедрых даров царских караванов и, конечно, восторженно и благоговейно, о красоте и ранней мудрости молодой царьдцы и о великой ее любви к нему, Мадаю Трехрукскому, царю над всеми скифами.

Обычно Мадай в конце концов наталкивался вместе с гостями, требовал затея песенников и, подпеывая старым скифским песням, плакал умиленными пьяными слезами. Гости уходили из шатра, очень не твердо держась на ногах, то и дело роняя по пути дорогие дружеские подношения царя.

Но со временем однообразие рассказы Мадаю прискучило, подробности надежды, да и приток населения в скифское войводство становился редок и малозначителен. Гости, пиры и песни в царском шатре прекратились как-то сами собой.

Агния Рыжуху, скифянку, жену Мадай почти не запомнил с той далекой ночи. Он представлял ее себе уже только по рассказам, а скоро и это бесплатное представление сильно поблекло и совсем улетучилось из памяти. Да и Агния Рыжая, не забывшая Мадаю, теперь не узнала бы его.

Он стал пренебрегать простой и привычной скифской одеждой, носил на плечах пестрый плащ-паван, накиннутый на легкий, тонкий, но прочно кованый панцирь. Седоюще бороду и волосы подкрашивал анимонием, старательно начесывая длинную прядь на бурстистый розовый шрам, оставшийся справа вместо уха, отсеченного на стенах горящей Ниневи. Зато в мисистой мочке левого уха теперь покоивалась усыпанная рубинами, тяжелая серьга из драгоценного красного золота.

Он расплел, обрюзг, широкий, изукрашенный золотыми пластинками пояс постоянно сползал ему под живот, и только меч-акинах по-прежнему висел в истергивших старых ножах, и отполированное в ладонях старое костяное навершие по-прежнему говорило о прозвище «Трехрукский».

Не только доведенные до отчаяния защитники Ниневи—матери городов—видели обожненным этот страшный меч.

Он летел вперед скифских орд по всей Месопотамии и указывал скифам путь в Заречье.

Жители Урарту, Манну и Хатту помнят его смертоносный взмах. Он сверкал на широких улицах Аскалона, в разгромленном Рагуллите, в многострадальном Хорране.

Ассирийцы, вавилоняне, лидийцы, мидяне, иудеи,

египтяне—враги и союзники—равно страшились безудержного набега скифской конницы, осыпавшей противника тучами стрел, разящей пиками, крушающей мечами, топчущей поверженного врага копытами диких и быстрых своих коней. Разгром довершали лохматые звероподобные псы, явившиеся вместе со скифами от берегов Борисфена.

Но теперь ярость открытой борьбы была остывала, как расклеванный добела клыком в родниковой воде. Враги разгромлены, союзники вселихи, как бедняки у чужого костра. Храмы чужих богов были разграблены. Но боги остались.

В великой своей гордыне Мадай стал тайно примерять к себе чужих богов и, не испытывая к ним ни уважения, ни страха, думал силой или обманом принудить их служить его, Мадаю, удаче.

А пока, определяя сильные стороны в покоренные города, царь скунулся в развлечение, не забывая, однако, аккуратно отправлять на родину караваны с богатой добычей.

Лидийский царь Алиатт, сын Садиятта из Сард, первым принял скифских вождей в своей столице с невероятной пышностью и почетом. Глубоко прача болезненное самолюбие под маской добродушной веселости, молодой, но уже искушенный дипломат, Алиатт окончательно завоевал доверие скифов широким размахом в празднествах и искусной простотой в обращении.

Зная любовь скифов к коням и угадав в Мадае прирожденного лошадиного, Алиатт распахнул перед ним двери царских конюшен. На много дней забыв пиры и утеху женской любви, Мадай целиком отдался извечной страсти вольного чокчевика. Царские конюшни были превосходны. У Мадаю разбежались глаза, он потерял аппетит и обидно потрещел. Наконец его восторги обрели прямую цель. Он остановил свой выбор на злой вороной кобыле местной породы, горбоносой и вислозадой, похожей на хищную птицу и, как птица, быстрой. Он знал, что Алиатт не откажет ему, но все-таки гордость мешала первому намерению о подарке.

Лидийский царь скоро следил за скифским царем и сумел ловко подвести разговор к вороной кобыле. Мадай признался, что видел во сне, будто он скачет на этой кобыле по родным степям. Алиатту ничего не оставалось, как немедленно выполнить указание богов. И Мадай, торжествуя, узнал, что вороная кобыла—его. Но Алиатт не хотел, чтобы Мадай думал, будто он дарит другу то, что определил скифскому царю в подарок сами боги. Алиатт не смеет равнять себя с богами. У него есть для гостя свой подарок. Пусть все убедятся, как высоко он, Алиатт, ценит дружбу скифского царя.

О, Таргитай, отец всех скифов! Может быть, только у тебя был конь такой красоты и силы. Не оскудела еще Нисса прекрасными конями! Какая стат, что за маленькая сухая голова, а шея—широкая и плоская, как лезвие секиры. Ноги, круп, плавающий изгиб от холки до хвоста—все без изъяна. Да этот жеребец дороже золота, а может, он и вправду золотой—какая масть!

Мадай чуть не задушил в объятиях Алиатта, сына Садиятта.

—Отдать его золотым оружием! Вина! Эй, други, поднимите его на плечи и несите в пиришественную залу. Он брат наш на все времена!

И веселье вспыхнуло с новой силой. А пока вожди разорили пиришественный стол, отборный скифский орду уже готовился в далекую и желанную скифскую Воинна было строго наказано без промедления вести ниссейского жеребца к берегам Борисфена, чтобы он дал начало новому роду царских коней в скифских степях.

...О мидятах говорили так: «Если ты беден и хочешь разбогатеть, купи мидянина за то, что он стоит, и перепродай за то, что он о себе думает».

Весь род царя мидийского Киаксара, сына Фарорта, внука Дейюка, славился своими причудами. Выдумки, одна чудней другой, постоянно посещали рано оплывавшую голову царя, толпились в ней, как овцы у колодца, и своим громким блеянием настойчиво требовали скорейшего воплощения. И царь воплощал.

Именно поэтому считалось, что в Мидии ничего нельзя удивить. И вправду, где еще увидишь такое: высоко в небе, у края обрыва над водой обмелевшего озера, висит на золоченых цепях огромное колесо. Витые столбы круглой галереи поддерживают над колесом ажурный шатер слоистой коры.

Залезай под самое небо, гостем будешь. Пожалеешь — и колесо медленно закружится, как живое. А ты сиди себе, обложенный расшитыми атласными подушками, пей густое приторное вино мидийских виноградарей, жуй орехи в меду, вдыхай запах благоуханного розового масла, пока не закружится твоя голова и не станешь ты блевать на узорные ковры тонкой персидской работы. Эту выдумку свою царь Киаксар назвал «Ласточкино гнездо».

Туда-то и уединился царь, чтобы привести в надлежащий порядок мысли, готовые на этот раз разнести его крепкую голову.

Последнее время в Междуречье творилось неладное. Старые скифские вожди молодое величество у лидийцев в Сардах, а под стены древнего Вавилона грозно подступала скифская молодежь. Отряды скифской конницы выпытывали послов, сгоняя земледельцев за городские ворота. Появившихся на стенах вавилоня скифы осыпали особыми стрелами, издававшими при полете устрашающий свист. Давно изучая скифов, Киаксар был склонен рассматривать эти налеты как буинное проявление боевого азарта молодых воинов и советовал своему зятю, царю Вавилона, укротить их, снесясь с Мадаем.

Но Науходоносор в Вавилоне думал иначе. Он немедленно принялся укреплять оборонные рубежи, готовясь к новой войне. И сейчас прислал к нему, Киаксару, доверенного человека, приведшего мысли царя мидян в ужасный беспорядок.

Вот что доносили вавилонские шпионы: Мадай, царь всех скифов, тайно жаждет священного вавилонского престола. Он, варвар, готов прислониться к алтарю великого бога Мардука, лишь бы его чудовищные планы сбылись. Мадай уговаривает Алиат Лидийского помочь ему военной силой и обещает долю в добыче. Алиат колеблется... Этого мало. Иудейские пленники Вавилона заверяют Мадея в своей поддержке, если он гарантирует им сохранение жизни и свободу.

Науходоносор помнит, как он, Киаксар, будучи семнадцать лет назад в союзе с отцом Науходоносора Набоналассаром, отвел ужас скифского нашествия, бесстрашно явившись в лагерь Мадея и объявив себя клиентом¹ и данником скифского царя.

Слипшийся мальчишка! Он не упустит случая напомнить Киаксару о давнем унижении.

Науходоносор просит его, своего тестя, верного друга Вавилона (ага, теперь сам унижается!) найти способ избавиться от скифов и на этот раз, а если такой способ не откроют боги, дать Вавилону вспомогательные войска и не медлить.

Киаксар подошел и оперся на перила галереи. Под ним, низко над озером, летела стая каких-то птиц. Вдруг сокол черной молнией упал на жокара, расшиб его так, что брызнули перья, и подхватил жертву в когти над самой водой. Стая, замешавшись, бросилась враспылку.

Киаксар вздрогнул и заспешил покинуть «Ласточкино гнездо».

Он сразу принял решение, только сомневался в одном — сколько запросить в случае удачи этого мальчишки, царя Вавилона. Уже идя навстречу тайному посланцу, определил: «30 талантов² золота. Даст. Обязательно даст».

Скифские вожди сразу откликнулись на любезное приглашение старого друга, царя мидян. Гарем Киаксара славился далеко за пределами Мидии. Лучшие публичные дома Вавилона не шли ни в какое сравнение с затеями мидийского гарема. Нет, совсем не все равно, где и с кем пить и безобразничать. А старый друг, видно, напуган и готов на все.

Здравствуй, «Ласточкино гнездо!» А ну, покрути нас, Киаксар, мы посмотрим, смогут ли мидийские женщины сильнее вскружить нам головы.

Эй, мидийские воины, верные союзники! Мы дрались бок о бок, давайте и пить ровнень. Если грозит напиться у вас в доме — он верит вашей дружбе. Так считают у нас в степях.

В разгар пира Киаксар прижал платок к губам и, притворившись захмелевшим, вышел из-за стола. Это был условный сигнал. Мидяне выхватили спрятавшее под одеждой оружие.

Сперва — Мадай. Надетый под просторный плащ панцирь удержал острие предательского кинжала. Нет, не за тем Мадай, прозванный Трехруком, полнился царем над всеми скифами, чтобы его можно было зарезать, как ягнчика для трапезы. Мадай даже не оглянулся на убийцу. Одним львиным прыжком перенес он погрузившее тело через стол, в самую гущу мидян, столпившихся против него.

Вывать меч у первого растерявшегося врага было делом одного мгновения. Хруст выломанной из плеча руки, крик боли, и второй воин рухнул с разрубленным лицом, оставив свой меч Трехрукому.

И встал Мадай над пиром с двумя мечами в руках. Навсегда запомните вы, мидяне, кровавый ваш пир. Позор вашей подлости переживет века, вцепившись, как репей, в хвост скифской славы!

— Агой!

И метнулось пламя светильников от древнего боевого клича. Завертелось в руках Мадея блестящее колесо смерти. Не одна отчаянная голова, сунувшаяся остановить стальное это колесо, поклатилась по дорогам коврам под ноги дерущимся. Тяжелые блюда, острые головины расколотых амфор, подушки, скамьи — все стало оружием. Пронзенные мечами скифы последним живым усилием притянули к себе врага, погружая клинок в свое тело по самую рукоятку, и умирали, не размыкая объятий, по-волчьему сцепив зубы на горле предателя.

Но силы были слишком неравны. Скоро только горстка скифов, сумевших завладеть оружием, спина к спине отбивалась от наседавших со всех сторон мидян.

— Опрокидывайте светильники! — вдруг, задыхаясь, прокричал Трехрукий, и сам пул ногой кованый треножник.

Горящее масло, шипя, хлынуло на ковры навстречу наступающим. Мидяне отшатнулись. Это спасло скифов. Ваяя светильники, они выскоили из рокового кольца и, не выпуская из рук оружия, прямо

¹ Клиент — так называли зависимых от кого-либо лиц.

² Талант — самая крупная в древнем мире весовая и денежная единица.

с высоты галереи бросились вниз, скатились по обрыву и побежали в мелкой воде вдоль берега, стараясь не потерять друг друга в непроглядной темноте. Когда обогнули озеро, Трехрукий остановился. Погоня не было. Багровое зарево пожара, треща, расплосалось по темному небу. Трехрукий усмехнулся. Это горело «Ласточкино гнездо».

Страшной клятвой поклянется в ту ночь Мадай отомстить Киаскару за предательство. Пять мучительных долгих лет будет ждать Мадай в скифских степях своего часа. И такой час наступит.

Подрастет у мидийского царя сын, нареченный в честь деда Киаскара Дейком. И станет мальчик обликом и умом похож на любимого деда царя. И всей душой привяжется к сыну старый Киаскар и станет всячески отличать его среди других своих сыновей.

Тогда-то, в один безоблачный день, вьются к царю мидян семеро скифов. И приводит их Хава-Массагет, прозванный Зубастой Овдой, — начальник телохранителей Мадаи. Бросятся беглые скифы в ноги мидийскому царю, раздерут на себе одежды, расцарапают лица.

И узнает Киаскар, что хочет зломпатыный Трехрукий живьем содрать кожу с верных телохранителей своих за то, что плохо берегли его на том памятном пиру. И будут молить скифы царя мидян о покровительстве, чтобы служить ему верой и правдой и исполнять любую нужную царю работу, не требуя взамен ничего.

И помутят боги разум царя мидян, и подумает тогда Киаскар: «Пусты все знают, что величие мое, Киаскара, сына Фраорта, внука Дейкоа, царя мидийского, выше величия Мадаи Трехрукого, царя над всеми скифами. Пусть все видит, что грозные некогда скифы, побиженные мной, оставили своего царя и молят у меня, Киаскара, покровительства и милости».

И примет царь беглых скифов и назначит им обучать своих мальчиков скифскому языку и стрельбе из лука. А еще сопроводит царевичей на охоте и поставит свежую дичь к царскому столу.

Целый год будут семеро скифов исправно служить Киаскару и войдут к нему в полное доверие. Тогда, убьют они на охоте маленького Дейкоа, приготовив его так, как обыкновенно готовили дичь, и накормят его мясом Киаскара и его соратников. А сами уйдут в Лидию, в Сарды, к царю Алиатту, сыну Садиятта. Алиатт же, боясь мести Мадаи и соперничая с Киаскаром, не выдест скифов по требованию мидийского царя. И начнется между ними война. А семеро беспрепятственно вернутся к Мадаю Трехрукому в скифские степи. Так будет отомщен Мадай.

— А потом? — Маленькая Агния сидела между нами у края обрывистого берега, жмурилась на ярую воду реки и болтала ногами.

— А потом Таргитат завернулся в лывиную шкуру и пошел отыскивать исчезнувших своих кобылиц. Шел он, шел и набрал на большую пещеру под береговой кручей у самого Борисфена. А в этой пещере жила полудева-полузмея, великая Табити-богиня. Увидел ее Таргитат и сразу же влюбился. А она говорит...

— Агния перебила меня:

— Она красивая, богиня?

— Да, очень красивая.

— Как моя мать?

— Нет. — Арикус внимательно вглядывался в лицо маленькой Агнии. — У нее курчавые волосы целая шапка курчавых волос, которые переплетаются,

точно змеи. И глаза большие, черные, с длинными, загнутыми ресницами...

Агния улынулась, высунув между зубами кончик языка.

— И улыбаются она...

— Агния! Агния! — долетел до нас голос царицы. Там, вдали, за колыхающимся морем трав, в которое с жужжаньем ныряли пчелы, хорошо были видны три знакомые фигуры у дедовой кузницы.

— Иду-у! — протяжно пропела маленькая Агния и, нехотно поднявшись, попросила меня: — Давей поедем на Светлом. А то я немножко, совсем немножко боюсь ваших собак.

— О, мать всех скифов, великая Табити-богиня! Умерь свою обиду, спаси от страшной беды сыновей своих! Никогда, никогда не прислонялся Мадай к алтарям чужих богов... Только во славу твою, Змееногая, сокрушал он роскошные храмы их, сдирая кожу с живых жрецов на чепраки скифским коням! За что отвернула ты любящее лицо от горимых детей своих? Каких жертв требуешь ты еще от нас, несчастных?!

Так молил Мадай Табити-богину, и, отступая, скифы снова вытаскивали посевы, разрушали храмы, жгли и опустошали города.

Все, что долгие годы терпело скифскую неволю, поднялось против скифов. Во многих покоренных городах жители, восстав, перебили скифские гарнизоны. Прежние друзья наглухо запирали крепостные ворота и бесстрашно встречали незваных гостей стрельбой и кипящей смесью с укреплённых стен. Наказывать за измену было некогда: мидяне наступали на пятки. Горе скифу, осуждающему лишнюю меру вина и уступающему на лишней шаг. Такой проснулся лишь для того, чтобы загнать в пустые глазницы смерти. Любые сокровища готов был отдать теперь каждый воин за сменного коня. В безостановочной скачке кони ломали ноги, падали запаленными или сраженными стрелами преследователей.

Уверовав в то, что счастье изменило ему, Мадай не решился даже на попытку самому атаковать обнаглевшего врага. Признанные скифские вожди были почти полностью перебиты на пиру у Киаскара, и теперь откатывающаяся на север орда только злобно огрызлась на бегу, как затравленный собаками волк.

И все же скифский царь оставался верен себе. Почерневший, закопченный в дыму пожарах, осунувшийся, в помпозном панцире и шлеме, он скакал с тремя сотнями самых отчаянных позави своего воинства, яростно рубясь в гуще схваток, прикрывая отступление. По ночам, когда скакать по незнакомой местности было опасно, Мадай, лежа на подстеленном чепраке и намотав на запястье повод, со щемлящей нежностью вдруг вспоминал свое степное детство. Удивительно ярко видел себя маленького — большеголового крепыша в короткой конопляной рубахе, с хворостиной в руках, не поспевавшего за противной пегой козой, потому что босые ноги его больно накалывала короткая, срезанная пастырь травная стерня. И остро ощущал уколы этой стерни, будто сам в этот миг ступал по ней босой розовой ступней.

А с рассветом опять скакал, меняя коней, отбивая внезапные наскоки, ни о чем не думая и ничего не чувствуя.

Последним вошел конь Мадаи в безопасные воды Борисфена, и первым узнал Мадай оглушавший его новост.

...Удивляясь самой себе, Агния Рыжая теперь чаще, чем прежде, думала о Мадае. Любовь к Нубицу, захватившая ее целиком, заставляла по-другому взглянуть на далекого супруга-царя, заново наедине с собой пережить все страхи той единственной ночи с ним. Но теперь эти привычные страхи уже не были страхами. Правда, Агния еще продолжала жалеть себя, ту молодую, неискушенную девушку, по капризной воле богов ставшую царицей, но теперь к этой жалости примешивалась как-то смутная жалость и к самому Мадаю, чувство спокойного, безусловного превосходства над ним. Ей почему-то иногда хотелось, чтобы Мадай видел, как она счастлива, как любима, как счастлива и любима дочь ее — маленькая Агния.

Она понимала разумно, что все в ее жизни может трагически измениться, если вернется Трехрукий. Но сердце не слушалось предостережений раскуда, и Агния гнала прочь тревожные мысли, уговаривая себя, что все будет хорошо и обязательно должно произойти какое-нибудь чудо, если случится вернуться скифам. И это чудо должно защитить ее, Агнии, счастье.

По ночам, когда Нубиц засыпал с ней рядом, она приподнималась на локте и при слабом, неверном свете очага подолгу вглядывалась в его темное, подсвеченное красноватым пламенем лицо.

Она отыскивала все новые, едва заметные черты сходства дочери с отцом, и эти маленькие открытия восхищали ее. Когда возлюбленного превращался на живот, она проводила легкими пальцами вдоль синеватого шрама, разрезавшего широкую спину, и сознание того, что эта рана получена им в борьбе за жизнь ее племени, одушевлялось в ней болью за него и горячей нежностью.

Однажды ей приснился сон, будто идет она по потрясенному скотом выпасу и несет на руках маленькую дочь свою Агнию, еще грудную. Скоро должно показаться кощевье, но что-то никак не показывается. Агния останавливается, чтобы оглядеться, и видит, что за ней со стороны идет большая пегая коза. Бродя идет сама по себе, но остановилась Агния, и коза остановилась. Стоит, жует жвачку, смотрит на Агнию своими прозрачными козьими глазами, нехорошо смотрит. Агния прибавила шагу и чувствует — коза не отстает. А кощевья все нет и нет. «Я заблудилась», — поняла Агния и, холодея от испуга, побежала, прижимая к себе ребенка. И тогда позади затопотала коза, заблывая страшно, басом. Агния споткнулась, уронила ребенка на высокую стерню, вскрикнула... и проснулась. И долго не могла унять бешено колотящееся сердце.

Однако, когда резкий, режущий слух звук охотничьего рога поднял ото сна становившейся, Агния вместе со всеми спокойно вышла к берегу Борисфена. На той стороне реки, тускло блестя вооружением в сером свете пасмурного осеннего утра, кружились на конях трое.

— Слушайте вы, ублюдки и отродье ублюдков! Готовые высокие конья, скоро ваши безмозглые головы будут торчать по всей степи и кормить голодное воронье! Мадай Трехрукий, наш царь, хранимый богами, возвращается! — кричали всадники.

Люди, тесно столпившиеся на берегу, безмолствовали. Порыв ветра поднял и распрелал огненные волосы царицы, выступившей впереди всех.

Вдуг с того берега, нарастая, перелетел заунывный свист и оборвался глупым стуком. Агния Рыжая, царица над всеми скифами, канула вперед и, раскинув руки, будто хотела обнять это холодное, ненастное утро, скатилась, ломая сухие ветки кустарника, под обрыв и упала затылком в воду.

Пряди золотых волос заколыхались, подхваченные течением. Оперенная стрела торчала у Агнии в горле.

Страшно, как насмерть раненый зверь, закричал Нубиц, и несколько стрел, словно поднятых этим воплем, взвились над толпой и упали в воду у противоположного берега. Трое, повороты коней, невредимые уносились в степь.

Нубиц, приподняв в ладонях голову Агнии, прижимал ухо к груди ее, ловя слабое биение сердца. Потом поднял на руки бессильное тело царицы и, дико ощерившись, прошел сквозь раступившуюся в страхе толпу в царский шатер.

Люди остались на берегу, подавленные спалившейся на них бедой, сразу поверив в новые, еще большие беды.

Когда же в шатре закричала и громко заплакала девочка, толпа поспешно разошлась в молчании. Становище казалось вымершим, даже псы куда-то попрятались. И только белобояз кобыла царицы, сорвавшись с привязи, хрюп и взбрыкивая, свободно носилась между кибитками и шатрами.

Всю горечь поражения, весь позор бегства теперь вымощали скифы на дерзких рабах и неверных женщинах своих. Первые ставшие на пути кощевья и становившие воины выгляди дотла, срывались с землей, затоптали конями. С рабов живыми сдирали кожу, рубили руки и ноги, головы насаживали на рога. Девушек и женщин насиловали скопом, короли плетями, кидали в огонь пожарищ. Не щадили даже детей. Убивали псов, невпопад заламывая, закалывали коней, зашвыльших под седоком.

Спасаясь от безжалостной расправы, люди бросали свои очаги, скот и имущество и бежали к нам в становивше.

Нубиц, мрачный, как туча, носился на взмыленном коне среди беженцев, распределял вооружение между мужичками, сколачивал по признаку единорожья боевые отряды.

Агния Рыжая металась в жару, еще жила, не приходя в сознание. Старухи неусыпно стерегли ее, смачивали губы и лоб ледяной родниковой водой, прикладывали к ране пучки целебных разваренных трав. Нубиц часто заглядывал в шатер, внезапною появлением каждый раз пугая старух. Припадал лицом к горячей ладони царицы и долго оставался так. Потом поднимал голову, оглядывая старух горстями, сухими, черными, как уголь, глазами и, ничего не сказав, уходил.

Так же внезапно среди ночи он появился у деда Мая. Нагнувшись, вошел за полог кибитки, бережно прижимая к могучей груди спящую дочь, закутанную в пушистые рыжие лисьи шкуры. Май выслал меня и Ариласа нести вооруженную стражу у кибитки и долго о чем-то шептался с Нубицем. Потом Нубиц уехал, настагивая коня плетью, не оглядываясь. Когда мы, наскучив стражей, осторожно заглянули за полог, маленькая Агния крепко спала у очага, а дед Май неотрывно смотрел на нее, спящую, и всклокоченная борода его подрагивала.

Именем умирающей царицы Нубиц доверил старому кузнецу жизнь маленькую Агнию. Ему, старику, предостой нелегкая, полная опасностей дорога. Сопроводжать его мы не можем — двум молодым воинам незначек просто так гулять за кибиткой в степи. Это будет глупой неосторожностью. Он не сомневается в нас, но лучше, чтоб о его пути знали только он и боги.

Если боги пожелают, мы все встретимся. Он молит их об этом. Пусть и мы станем молиться. В остальном мы волены поступать так, как хотим, но только не смеем предать тех, с кем выросли,

или, по зову скифской крови, поднять меч на несчастных наших товарищей. Ну-ну, не надо горячиться, он знает своих внуков.

Всю ночь мы втроем, переговариваясь торопливым шепотом, мешая друг другу, собирали деда Мая в известную одному ему дорогу. Уже совсем рассвело, когда кибитка, набитая всевозможным скарбом, была поставлена на колеса, сытые кони впряжены, спящая Агния удобно устроена на войлоках и шкурах.

Дед, в остроконечной скифской шапке, выворотной куртке и таких же штанах, заправленных в низкие мягкие сапоги, деловито проверил надежность колес и упряжки и повернулся к нам.

— Простите, если в чем было виноват перед вами. Мы обманули. Дед молодого поднимая на высокое колесо, усеял на переде, разобрав вожди.

— Ну, прощайте,— медленно произнес дед Май.— Живите вместе с жизнью: не спешите— беда нагнёт, и не отставите— беда нагонит.

Он тронул коней. Кибитка закружилась, качнулась и быстро покаталась по примятой траве, сразу скрыв от нас за своим горбом деда Мая. Вдруг полость ее откинулась, милое темное-смуглое лицо под шапкой кидурей выглянуло наружу, и веселый голос прокричал:

— Аримас! Саураи! Вы не скачите, мы с дедушкой покажемся и скоро вернемся.

Когда кибитка скрылась за край степи, Аримас стиснул меня в объятиях и, не стесняясь, разрыдался.

Насколько хватало глаз, простиралась желтая, обестрававшая степь. Ветер, посистывая, гнал по своей охоте, куда пошло, круглые, серовато-ржавые, будто одетые волчьим мехом, мотки перекати-поля. Кони шаркались от них, хрюпя, выдыхая белый пар из разодранных удилами ртов и раздутых от непритворного ужаса ноздрей.

Временами волки малыми стадами объявлялись у края оврагов, издали, поджав поленья¹, разглядывали коней и всадников и вдруг пропадали, будто проваливались в землю. Промежывая ногами земля звенела под копытами. Копыта с хрустом крошили тонкий крепкий ледок, уже прихвативший воду в ложбинках. Конь оседал, припадая на передние ноги, и тогда всадник, зло рванув повод и тихонько ругаясь, снова вырывал конский бег и напряженно взглядывая вперед, под низкие облака, держась между товарищей.

Нубицел вел свои отряды навстречу Мадаю.

Многие рабы неуверенно держались на конях, но все были исправно вооружены и без страха настроены к битве. Нубицел скакал впереди, закинув лодыжки к самому крупу высокого вороного жеребца с подвезанным хвостом. Когда вскидывал черную руку, схваченную медным чеканым наручем, всадники натягивали повод, разгоряченные кони фыркали, встряхивали головами, приплясывали на месте. Бряцало, сталкиваясь, оружие.

Нубицел переправил свои отряды через Борисфен и теперь двигался навстречу Мадаю так, чтоб зсе время держать по левую руку берег реки.

И снова вперед ходкой рысью, сбегая силы коней...

Скифы открылись взглядом внезапно, как волки. Казалось, они вечно стояли здесь, словно врытые в землю на пологих склонах холма. Но они исчезли с глаз, подобно волкам, а продолжали стоять

без единого заметного движения, будто неприступная, окованная металлом стена.

Нубицел поднял руку, передние резки оскалили коней, задние, замешкавшись, с ходу наскачили на них. Ряды расстроились.

Туча стрел, посланная от неподвижной скифской стены, закрыла небо. Белоплзатый Кельт, стоящий позади Нубицела, охнул и схватился за щеку, а которую косо впилась стрела. Где-то в рядах пронзительно заржала лошадь. Выжидающей второй залп, всадники прикрикнули щитами, держа правые руки на рукоятках мечей, сжимая короткие копы, расплывая в себе ярость и битве.

И тут какой-то ополумевший заяц, высоко кидая длинные ноги, вынесся в пустое пространство между войсками, стрекнул по седой от мороза траве и вдруг присел, наострив уши, привалив закрывшей за лето задничке пушистый свой хвост. Его важная глупая фигура с торчащими ушами была хорошо видна по всей линии войск.

В рядах скифов прокатился смехок. Заяц постриг ушами и продолжал сидеть. Смехок перерос в хохот в скифских рядах и отозвался искренним весельем в отрядах Нубицела. Задние вытягивали шеи, становились коленями на спины коней, чтобы взглянуть на невероятного этого зайца. Задние охотники среди скифов пихнули боевые луки в горы и, заложив пальцы под усы, засистали азартно и заливисто.

— Узы его, узы! — не выдержав, закричал сам Мадай и, стосковавшись по мирной степной охоте, мужчины подхватили:

— Узы! Узы!

Заяц, сложив уши, сорвался с места и, совсем одурев от шума, метнулся прямо в отряды Нубицела.

— Узы его! — И с этим криком скифы, вырвав из ножен мечи, ведомые зацем, бросились в атаку.

Рабы мужественно выдержали первый налет. Скифская конница, выйдя из боя, рассыпалась по степи отдельными отрядами. Напрасно Нубицел кричал, сырая голос, пытаясь остановить преследование убегающих скифов. Распаленные первой удачей рабы группами преследовали скифских всадников. Скифы же, носясь во всех направлениях по степи, подобно перекати-полю, отстреливались на скаку и внезапно, с боку, с тылу налетали на преследователей, сигналили, рублили, поднимали на коня.

Когда Нубицел с помощью верных своих соратников снова стянул отряды в цельное войско, стало заметно, как поределли ряды рабов. Повсюду вокруг лежало тела раненых и убитых, и даже при беглом взгляде было видно, что на одного убитого скифа приходится не меньше трех пораженных противников.

Этот вид усеянного телами поля вселил лихую уверенность в сердца скифов и поколебал души рабов. Теперь они оставили свои мечты о разгроме скифского войства и думали только об одном: как пробиться сквозь этот страшный заслон и бежать, бежать из холодных скифских степей. Или умереть свободными.

Чутьем раба и опытом воина Нубицел без слов понял своих товарищей и сосредоточил всю волю на решительном этом усилии. Как литой кулак, ударили отряды рабов по скифам. Они прошли сквозь их рассыпавшиеся сотни, не ослабляясь роковым преследованием, и устремились на юг, вдоль берега Борисфена. Скифы погнались за ними и, надевая то на левое, то на правое крыло сомкнувших отрядов, пытались отогнать воинов от слитной силы, вклинившись в гущу, бить порознь. Но отряды уходили, наращивая бег коней, расчетливо поражая смельчаков, особенно близко снувших к лаве.

¹ Полено — охотничье название волчьего хвоста.



— Черномозого мне, живьем, живьем! — хрипел Мадай, крутя коня у самой лавы и прикрывая щитом голову, с которой был сшиблен шлем.

Тогда царские «отчаянные» заскочили в голову отряда и нечеловеческим усилием отбили от остальных Нубийца и еще до сотни воинов.

Лава пронеслась.

Еще отдельные воины преследовали уходящие отряды, а скифская конница всей несметной силой теснила к берегу кучку храбрецов, оборонявшихся с мужеством отчаяния.

— Коней под ними убивайте, коней! — Мадай сам выпустил первую, тщательно прицеленную стрелу в шею вороного жеребца.

Жеребец упал на колени и стал валиться на бок. Нубиец соскочил со спины, прыгнув вперед, как барс, и, равняя ближайшего всадника за ногу, сбросил скифа с коня, словно тот был не крепкий, одетый в тяжелые доспехи воин, а мешок сена. Но на пустой чепрак ему не дали запрятнуть. Выставленные вперед копыта надвинулись, грозя острыми наконечниками. Нубиец отмахнулся мечом, попятился, присел, избегнув петли брошенного аркана, и прыгнул вбок, но был опять встречен острыми копиями.

— Что это мы делаем, скифские воины? — зычно крикнул Мадай. — Мы боремся с нашими рабами! Пока они видят нас вооруженными, они считают себя равными нам, свободными. Сейчас я возьму плетъ вместо оружия, и вы увидите, скифы, они сразу поймут, что они только наши рабы!

Мадай соскочил с коня, отдал ближайшему к нему воинам меч, отстегнул колчан и протянул лук. Кольцо наставленных копий разомкнулось. Мадай Трехрукий вступил в круг, поигрывая длинной витой нагайкой.

Они стояли друг против друга, оба высокое, могучие, оба в дорогах изукрашенных доспехах — один с мечом, другой с плетью.

Сражение остановилось. Сделалось необычайно тихо.

Нубиец медленно обвел горящими глазами сплошной заслон из копий, толпу вооруженных скифов, теснившихся за этим заслоном. На Мадея он даже не взглянул. Разлепив зацепившие губы, коротко прошептал всего одно слово. Черные ладони сжали рукоятку меча. Обоюдоострый клинок легко вошел в щель между поясом и нагрудным панцирем.

Я, Сауран, сын сколотов, и Аримас, внук Мая-кузнеца, были среди тех, кто сражался рядом с Черным Нубийцем до последнего его вздоха.

Агой!

Оставив своих воинов на поле подбирать раненых и обшаривать трупы, Мадай во главе «отчаянных» неожиданно объявился в становище и, спрыгнув с коня, шагнул за полог царского своего шатра.

Старухи метнулись в стороны, как толпы мыши.

Агния Рыжая, неверная жена его, лежала перед ним мертвенно-бледная, вытянув вдоль тела бесильные руки. И, глядя в незнакомое лицо этой зрелой женщины, Мадай был поражен редкой ее красотой. Опытным взглядом женолюба окинул Мадай всю ее фигуру, привычно отметил плавные линии бедер, круглые чаши высокой груди под простой рубашкой, и снова задыхая впился глазами в лицо Агнии.

Длинные, оттянутые к вискам глаза ее были прикрыты. Тень от ресниц подчеркивала горбинку короткого носа. Маленький рот с припухшими, вяло очерченными губами, казалось, не ввязался с уверенной крутизной крепкого подбородка, и это кажущееся несоответствие придавало лицу строгое и

вместе с тем беззащитное выражение. Прекрасное лицо забытой им жены откинутое с чистого лба волосы, точно медные змеи, заплетаются вокруг головы, и вся она раскаленным клеемком вдавилась в дрогнувшее сердце Мадея.

Зачем, о боги, во имя какого богатства и какой славы все эти долгие годы глотал он пыль на опасных своих дорогах, лез очертя голову на непреступные стены горящих городов, чудом уходил от стрелы и клинка?

Прав, тысячу раз прав черный раб, укравший у него это сокровище, которому он сам не знал цены. Его любовь, та единственная, о которой он грезил, которую искал, завоевав полимра, ждала его здесь, в родных степях, в его шатре.

Агния застонала, повернулась, пучок трав сполз на плечо, и Мадай увидел почерневший от крови обломок стрелы, торчащий в горле женщины.

Агния открыла глаза и взглянула на стоявшего перед ней царя. Она смотрела на него спокойно и строго, и он, не раз видевший смерть в лицо, вдруг обрел.

— Ты здесь? — спросила царица одними губами.

— Здесь, — просто сказал Мадай. И, пересилив себя, ответил на ее немой вопрос: — Он дрался, как подобает мужчине. Он умер свободным, царица.

Агния улыбнулась, по лицу ее пробежала судорога, веки сомкнулись.

— Агния, Агния, не уходи! — не помня себя, закричал Мадай.

И когда на его крик в шатер вбежали воины, он повернул к ним до неузнаваемости искаженное страданием и яростью лицо и, указывая на обломок стрелы в горле царицы, прохрипел:

— Кто?

Со смертью Агнии Трехрукий прекратил чинить расправу. Он оставил жизнь и свободу пленникам, которые вместе с Нубийцем последними защищались от скифского оружия. У ног великой Табигини наша царица не забыла о нас. Так смерть Агнии подарила нам жизнь.

Как подобает царице — почетно и торжественно, — задумал Мадай похоронить неверную жену свою. Но сначала случилось вот что. Одноглазый сколот, старый ветеран, сохранивший на правой руке всего два пальца, похвальный среди воинов, что, несмотря на свои увечья, пускает стрелу без промаха и так далеко, что она перелетает Борисфен в узком месте. Воины охотно подплавляли ветерана и потешались над его враньем. Пьяный, хитро подмигнув единственным глазом, вдруг невяжно пробормотал заплетаясь языком:

— Спросите Рыжуху...

Тогда мы с Аримасом силой приволокли его, пьяного, к царскому шатру.

Мадай вышел к нам с золотой секирой в руках. Разделив нас и взяв под стражу, по древнему обычаю скифов, со вниманием допросил в шатре каждого отдельно. Он ничем не выдал себя, когда выслушивал похвальбу Одноглазого, и только спросил, хорошо ли тот управляет с конем. Ветеран даже слегка протрезвел от обиды.

Царь что-то шепнул Хае-Массегету, своему телохранителю, и вскоре воины подвели на ремнях растяжках джого мышастого коня с опенной мордой и косящими, налитыми кровью глазами. По велению царя жеребца стреножили и, схватив хвосту, крепко привязали его за ноги к лошадиному хвосту.

Мадай сам проверил ремненные узлы и произнес царский приговор:

— Мало кто из скифов перебросит стрелу через Борисфен. Но ты зря стал хвататься без свидетелей. Скажи, найди Агнию Рыжую, царицу, жену мою.— голос Мадея сорвался,— пусть она подтвердит твою удал.

Воины враз ослабили ремни, державшие ноги коня. Он прыгнул, изогнув шею, ударил задом, высоко подбросив привязанного к хвосту, и, молота тяжёлыми копытами, полетел в степь, унося за собой человека. В угон ему, стелся над землей, устремились наравленные псы. Мадей круто повернулся и скрылся в шатре. Начальник телохранителей скользнул за ним.

Мы отошли недалеко, когда Хава-Массает дотгнал нас:

— Царь над всеми скифами пожелал отблагодарить вас. Просите, что нужно.

— Ничего. Мы свободные скифы, а не рабы царя и выдали убийцу не за награду. Царь и так одарил нас, дав свистби с него шлем в бою.

Аримас дернул меня сзади за пояс, и я умолю. Массает, прищурившись, твердой рукой сдерживал плывущего коня.

— Я передам царю ваш смелый ответ. А вас хорошенько запомню. Обоих.

Он поднял своего аргамака на дыбы, крутанул в воздухе и ускорал.

Мы шли, стараясь не спешить. Но Массает не вернулся за нами.

Тело Агнии Рыжей опустили в глубокую и широкую могилу, окруженную безмолвной стражей из отборных воинов. Царица с лицом, словно выточенным из мрамора, лежала, обряженная в драгоценную пурпурную ткань. Руки ее были унизаны круглыми золотыми браслетами. Золотые бусы украшали высокую шею, пряча страшную рану. Широкая, черная, шитая золотыми нитями лента скрепляла тяжелые, рассыпавшиеся по изголовью волосы.

Бронзовое зеркало, подарок деда Мая, стояло в гробу у левого плеча.

По четырем углам могилы были врыты толстые высокие столбы, поддерживающие насленный помост. Там, на помосте, горел неугасимым пламенем потрепанный костер. Вокруг его огня Мадей со своими ближними справлял погребальную тризну. Три дня и три ночи бесконечно, не пнявя, пил он крепкое неразбавленное вино, а к исходу третьего дня серое лицо его вдруг налилось темной кровью, и он ничком упал в костер.

Горбатый зачарер-скопец, которого царь повсюду возил за собой, надрезал ему жилу на запястье, выгнал в глиняную чашу дурную эту кровь, и Мадей ожил, но долго оставался слабым, дергал щекой, и левая рука его плохо слушалась.

Тридцать две рыжие кобылицы, по числу лет умершей, принес царь в жертву богам. Когда тела рабов и прислужник наполнили могилу, Мадей приказал опустить в ноги царице тело Черного Нубийца, не снимая с него боевых доспехов. Рядом положили бывшее в бою оружие его и уздечку с вороного жеребца, убитого Мадаем.

А потом воины, старики и женщины потянулись длинной чередой к могиле, и каждый бросал свою горсть земли. Так повторялось много раз, пока не вырос высокий холм, видный далеко из степи.

И навеки простившись с Агнией Рыжей, царицей, Мадей увел пришедших с ним скифов за Борисфен, в сторону Герра¹, подальше от нашего становища.

Там на пологих холмах они разбили свой лагерь и объявили себя царскими скифами, а всех прочих скифов — детьми рабов и своими рабами.

А на месте стертых с лица земли копей и ставовиц Мадей Трехрукий, сын Мадея, царь над всеми скифами, приказал вытесать из камня и поставить большие фигуры скифских воинов и высечь на них изображение меча и нагайки, дабы во все века знали от рождения скифские женщины, кто в наших степях настоящий хозяин.

Агой!

Глава третья

Агния сидела в вонючей темноте трюма, не слыша всхлипываний и шепота своих товарищ. Волны мерно били в низкие борта, раскачивая судно, как огромную колыбель.

Агния, широко раскрыв глаза, полная неясного предчувствия скорой радости, бездумно уставилась в темноту и вдруг зажмурилась от раскаленного сияния длинных быстрых искр, летящих из-под тяжелого молота.

«Дух! Дух! Дух!» — равномерно ударял молот, а она сидела в углу каменной кузницы и смотрела, как дед Май чувственно бьет по низкой наковальне. Нет, это не дед Май, это кто-то другой. Она не может угадать его в лицо, но знает, что любит его, любит больше всех на свете. А кто же второй? Кто поворачивает щипцами раскаленный брусок на наковальне? Вот взглянул на нее из-за плеча, улыбаясь. Сауран! Ну, конечно, это ты, Сауран! Ты хочешь загордить меня от летящих горячих брызг. Спасибо тебе.

Кузнец отбросил молот и протянул руку к раскаленному брусу. Что он хочет сделать? Ведь он обожжется.

Нет, не обжжется. Держит в руке докрасна раскаленный короткий клинок.

Агнии весело. Он прекрасен, ее кузнец. Она смеется.

Вот кузнец шагнул к ней, опускает руку с клинком. Все ближе, ближе горячее мерцающее острие.

Она хочет встать, но ноги затекли. Хочет захватить руками — руки не слушаются.

Она смотрит кузнецу прямо в лицо, чтобы остановить его взглядом, и вдруг понимает, что кузнец не видит ее — он спит...

Свежий ветер донхнул в удивленную темноту трюма, разбудив Агнию. В квадрат открывшегося люка на миг заглянули звезды. Потом чья-то тень задела небо, и перекладывая постычные заскрипели. Кто-то тяжелый быстро спускался вниз. Агния сидела у самой лестницы. Шершавые ладони ощупали ее голову, плечи.

Жесткие пальцы вцепились в руку выше локтя. Кто-то, невидимый в темноте, обдал ее лицо горячим нечистым дыханием. И Агния, как рысь, вцепилась ногтями в это лицо. Вскопая на ноги, извиваясь всем телом в железных объятиях, была она коленями, вскрикивая, когда чувствовала, что ударила крепко. Неразличимый во тьме схватил ее за волосы и, отогнув голову, повалил навзничь. Он не проронил ни звука, только шумно, прерывисто дышал. Тело, придавившее ее к мокрым доскам, медленно, всей тяжестью поползло по ней. Жесткая щетина бороды окорябала щеку. Задыхнувшись, она открыла рот и почувствовала, как скользит по ее губам липкая от пота кожа, как дернулось горло, когда невидимый судорожно сглотнул.

И тогда, извернувшись, Агния вцепилась зубами в эту волосатую глотку. Невидимый завизжал, как

¹ Герр — область, где жили царские скифы.

испуганный вепрь. И женщины в трюме закричали все сразу, весело и страшно.

Жесткие пальцы рвали ей уши, волосы, пытались добраться до лица, но она обхватила руками жилистую шею и грызла, грызла, пока горячая кровь толчком не заполнила ей рот, лишив дыхания.

По палубе загрохотали ноги бегущих. Матросы, светя фонарями, один за другим попрыгали в трюм. Чей-то сильный удар сбросил с нее тяжелое тело пришедшего во тьме.

Агния закрыла лицо ладонями и лежала так, ничего не желая видеть, только слышала хриплую, заплывающуюся ругань, выкрики матросов и дикий хохот женщин.

Потом весь этот шум перекрыв гневный голос хозяйна.

Матросы, уводя своего товарища, выбрались на палубу.

Люк оставался открытым всю ночь. Всю ночь женщины, улыбаясь, смотрели, как над парусом плывут в небе высокие звезды. И только Агния плакала тихо, беззвучно. Она обнаружила, что потеряла свой талисман — дедушку свирельку.

И ей казалось — навсегда.

...Эту когда-то обольстительную гетеру обдуманно изуродовал не в меру ревнивый обожатель, и с тех пор в Афинах она звалась Медуза.

Сквернословия и брызга слюной, Медуза сбивчиво объясняла, что сегодня утром купила у хозяйна корабля трех девушек для своего «дома любви», да еще переплатила тридорога за одну из трех.

Теперь эта дрянь сбегала от нее. Она, Медуза, уверена, что лукавый финикиянин нарочно прячет беглянку здесь, на своей посудине и, по всему видно, поступает так не впервые.

Он, конечно, в сговоре с девчонкой: продаст ее, она сбегит обратно на корабль, и то-то — ищи ветра в море!

А денежки поделат. Ее, Медузу, честный заработок! Дуру нашли!

Пусть надежная стража золотых Афин, неподкупные скифы осмотрят воровское это корыто, обшарят его сверху донизу.

Медуза клянется Афродитой Критской, своей заступницей, что они найдут здесь то, что ищут.

И уж тогда лживый финикиянин сполна заплатит ей за обиду.

Такие уловки на торге и вправду случались нередко, и поэтому Аримас строго потребовал хозяйна триремы¹ к ответу.

Финикиянин оставался невозмутимым. Темное, с морщинистой, загрубевшей под солеными ветрами кожей лицо его ничего не выражало.

Он спокойно приказал команде подать нам заправленные маслом морские фонари и не двинулся с места, когда Аримас в сопровождении Медузы и ее жирного прислужника-сирийца, тоже взявшего фонарь, отправился осматривать палубные постройки.

Проверив, легко ли выходит меч из ножен, я спустился в трюм. Тощотворный рыбный дух мешался здесь с приторным, сладким запахом гнилых фруктов. Фитиль фонаря чадил и мигал, бродя в сырой темноте. Гулко отдавались в пустоту короткие всхлипы волн, толкающихся между бортом судна и камнями причала.

Трюм был пуст. Никто не прятался за грязными дощатыми перекрытиями. Собравшись вылезать наверх, я на всякий случай заглянул за поставленную торчком лестницу. Ступня опустилась на что-то твер-

дое, маленькое, раздался сухой хруст, нога поехала вбок, я едва устоял, ухватившись за щедрбату перекладину.

Присев на корточки, я повел фонарем над самым днищем.

Если бы передо мной предстала сама Змееногая, я, верю, не был бы так поражен. Круглая и короткая, выплывавшая из полостей кости скифская свирелька, вроде тех, что любил дед Май, лежала в грязи на досках с отколотым и раздавленным моей ступней загубником.

Я поднял ее так осторожно и бережно, будто она была живая, и бессмысленно уставился в простой, знакомый каждому скифу полустершийся узор на ее круглых боках.

Надежда, за долгие годы согнувшаяся в привычку, вдруг распрямилась во мне, поднялась, поманила легкой женской рукой, взглянула ясными глазами. Зажав свирельку во взмокшей ладони, я высочил на палубу, едва не сшибив с ног друга, стоящего над лазом.

Я разжал ладонь и показал находку.

— Аримас... Аримас... — больше я ничего не мог выговорить.

Да и нечего было говорить! Мы знали, мы оба знали наперед, что сейчас будет.

Прямо с низкого борта упали мы на спины лошадей. Копыта, захлебываясь, залопотали по деревянному настилу.

— Куда? Безумцы! Варвары! Куда? — истошно зарорала вслед уродливая старуха.

Скорей, скорей!

Мимо темных кораблей со скелетами мачт и снастей, между горами грузов, под арку ворот, в город.

Белая колоннада — мимо! Копыта выбивают синие искры из каменной мостовой. Храмы, дома, статуи богинь и героев — мимо, мимо, мимо!

Ошалевшие прохожие — мимо! Туда — на холм и вниз; скорей, скорей — высветляются плети. Через изгородь — ах! Вокруг коношен — сюда!

На всем скаку мы прыгнули с коней.

Небо кануло всею своей глубиной, и чья-то одинокая звезда, сорвавшись, полетела к земле, стремительно и беззвучно.

Скифы, стоящие плотным кольцом, расступились. На опрокинутой вверх дном бадье, накрытая конской попоной, опустив в ладони ладью, сидела женщина.

Мы не проронили ни слова, не двинулись.

Она подняла глаза нам навстречу и поднялась сама. Попола соскользнула на землю.

Смуглая, прекрасная богиня Надежды, она сразу узнала нас, шагнула к нам, не стыдась своей наготы, глубоко и освобожденно вздохнула и заплакала тихо и жалобно, как дитя, обхватив нас руками за шею.

Снова — но теперь на словах — шли мы по следам деду Май и маленькой Агнии. Мы возвратились на дороги нашей юности, но сейчас между нами по этим дорогам шла молодая желанная женщина, и живое ее присутствие смягчало боль многих утрат. Мы снова были, как и прежде, веселыми и молодыми.

...Зимние пути трудны и опасны, и, преодолев переправы Тираса и Пирета², дед Май решил зазимовать у добродушных гетов.

Особенно не сближались дружной ни с кем, дед занялся по мелочам кузнечным своим промыслом,

¹ Трирема — тип галеры.

² Тирас и Пирет — древние названия Днестра и Прута.

переживая холода, заботясь о девочке и обдуривая глухих, тревожные, случайные вести из скифских степей.

Однажды к позднему огню кибитки пришел человек.

Незнакомец зябко кутался в рваное верблюжье одеяло, из-под которого торчали его на удивление тонкие ноги в истертых деревянных сандалиях.

Он оказался одним из многих рабов, счастливо ушедших из страшной битвы со скифами, эллин родом.

От него дед Май узнал о гибели Черного Нубийца и обоих юношей-скифов, выступивших вместе с рабами против царя Мадая.

Старик, не раздумывая, принял немущего эллина, кормил его всю зиму и без конца заставлял пересказывать, как слезно дрались и погибли молодые скифы Аримас и Сауран, его внуки.

Эллин терпеливо и даже охотно повторял, то ли вспоминая, то ли выдумывая новые убедительные подробности, а дед Май молча слушал, не прерывая, неотрывно глядя в огонь строгими, глубоко запавшими глазами.

Только раз, раздобыв где-то хлебного неочищенного вина, старый кузнец написал до безумия и, выворотив из кибитки тяжелую оглоблю, страшный, лохматый, с дикой резвостью гонялся за эллином, крича, что тот подослан, чтобы отравить маленькую Агнию, и что сейчас он, дед Май, казнит его ужасной, невиданной доселе смертью.

Эллин плакал от испуга, а маленькая Агния сначала смеялась, а потом, глядя деду, который полуголым бегал по морозу, бесстрашно усмирив его, увела в кибитку и уложила спать, притихшего, дрожащего и покорного.

С началом весны тронулись втроем за Истр¹ и дальше, держась вблизи понтийского побережья. Желания эллина и скифа совпадали. Эллин стремился в родные Афины. Дед Май долго жил там когда-то молодым, хорошо помнил звучную эллинскую речь и полюбил часто объявлять, что у старого кузнеца достанет еще сил и искусства сделать Агнию богатой невестой. И протягивал к ней свои черные, хранящие кузнечный жар ладоны.

Эллин же всегда вторил речам деду и прибавлял от себя, что в Афинах умеют ценить женскую красоту.

Добравшись в Афины решили морем. Суровые македонские горы страшили путников, да и сами македонцы слыли неласковыми к незваным гостям.

В Византии эллин сторговался с владельцем маленького кипрского суденышка. Продали коней, кибитку и ненужный скраб. Большая часть выручки ушла в уплату корабельщику, а остальное дед Май припрятал за широкий кожаный пояс под охрану кинжала.

Эллин шутил, что, видно, ему на роду написано быть скифским рабом и что в Афинах дед Май возьмет его в рабство за долги. И клеветнику уверял, что обрадованная богатая афинская родня щедро отблагодарит доброго скифа.

Прямо на палубе дед Май закопал нарочно купленную для этого черную овцу, чтобы задобрить жертву своего бога Фэгимасада — повелителя вод.

Отплыли весело.

Агния проспала приход бури. Когда дед Май вытащил ее на палубу, где, грохоча, перекатывались волны и от резкого ветра захватывало дыхание, корабль уже несло на скалы.

Людей смыло в море еще до того, как суденышко, ударившись о скалу, расколось, словно орех.

На Агнию была только набдеренная поязка, в воде ее сразу сорвало.

Дед Май никак не мог освободиться от просторной своей куртки и пояса, боясь хоть на мгновение лишиться девочку своей помощи. У самых скал огромная волна накрыла их, оглушила, смела, разделила.

Богу Фэгимасаду было угодно еще раз поднять их головы над водой уже далеко друг от друга, чтобы Агния навсегда запечатлела в памяти облепленные седыми, мокрыми волосами лица, и протянула к ней темную широкую ладонь деду Мая, и раскрытый рот, кричащий что-то неразличимое в грохоте волны.

Потом прибой подхватил легкое ее тело и со свирепой силой швырнул вместе с запенившейся водой в узкую каменную щель.

Агния очутилась в маленькой тихой бухте, сплошь усеянной разноцветными камешками, мокрыми и блестящими на солнце.

Ободранное о скалу бок и бедро распухло и ныли тупой, непрерывной болью...

Высокие красные скалы замыкали бухту, нависали над ней, обещаая скорую тень.

От моря бухту ограждали две мощные каменные глыбы, схожие, словно родные сестры. В узком проходе между ними, набегаая, пенилась волна.

Агния ступила в воду, но сразу у подножия глыб-сестер берег отвесно уходил вниз, а встречный прибой не давал выплыть.

Тогда, как ящерица, прижимаясь к нагретому гладкому камню, Агния влезла на одну из громадин.

Небо обсыпалось с морем. И эти объятия заполняли весь мир, и даже для нее, Агнии, такой маленькой, не оставалось в нем места.

— Дедушка! — надсаживая грудь, закричала Агния и в невыразимой тоске и обиде погрозила кому-то смуглым кулачком.

И вдруг ужас объял ее.

Беспредельное небо было над ней, и под ней бездонное море.

Она глянула вниз и содрогнулась от ощущения высоты, на которую решила забраться. Сестра-скала не отвергла ее, подняла, держала на горячем своем плече, стояла крепко.

Но ведь и скалы послушны богам. Кому ты посмела грозить, маленькая скифянка?

И увидела Агния, как волна, тряхнувшись белой гриной, наскочила далеко внизу на ее скалу, откатилась, свирепая, и опять ударила с роковым упорством.

И Агния поняла ясно и просто, что никогда больше не увидит деду Мая, что он ушел от нее навсегда и вместе с ним ушло ее, Агнии, детство.

Агния быстро спустилась со скалы, только потом с удивлением вспоминая, как легко нашла простой спуск, будто он отыскался сам собой.

Волна разблещилась у ее босых ног, переворотившись камешки, и схлынула.

Костяная дедова свирелька лежала поверх камней, подкатившись к самой ступне. Агния присела, подняла свирельку, отерла ладонью, подумала, сблизилась, поворачивая губы и тихо заглянула тот самый напев, которому учил дед Май ее мать, царицу Агнию, а потом ее, Агнию, дочь Агнии.

Она сидела у самой воды и, преодолевая боль, играла на свирельке. А потом в бухту пришла тень, и Агния заблещила в спасительной ее прохладе.

¹ Истр — древнее название Дуная.

— Агния! Агния!

Голова элины торчала над краем красных скал, замыкавших бухту. Агния обрadowалась несказанно. Эллины, тоже радуясь, улыбались ей, растаяв рот до ушей.

Война вынесла элину, прекрасного пловца, довольно далеко отсюда. Он целый день бродил в поисках живой души, но встречал только камни. Они оди и среди этих скал.

Бедный, добрый, старый скиф! Агния не знает: как эллину спуститься к ней в бухту?

После нескольких пустых попыток эллин остался наверху. Так они провели еще две бесконечные ночи и один бесконечный день. Эллин научил Агнию смачивать губы и ополаскивать рот соленой водой, но самого его сильно мучила жажда. Он отыскивал холм, росший в углублении на камнях, жевал его и жаловался, что это мало помогает. Днем они забирались к подножию камней, ища тень, а ночью дрожали от нестерпимого холода.

Утром второго дня эллин с диким криком стал носиться, размахивая руками, по самому краю скальной гряды, рискуя сорваться и сломать себе шею. Агния была уверена, что боги лишили его разума, и, рыдая, молила успокоиться. Эллин продолжал вопить еще долго, а потом лег за камнями совсем обессиленный. Теперь, невидимый ей, он не отзывался на робкие вопросы Агнии.

Агнии уже стало казаться, что он умер, когда в расщелине между камнями показался узкий челнок и два поджарых загорелых матросов с медными серьгами в ушах сошли на камни бухты.

Агния не разбирала их речи и только отчаянно сопротивлялась желанию матросов взять ее в челнок, настоянно тыча пальцем вверх и громко зовя элину. Вдруг голова элины возникла над краем гряды. Он увидел челнок и матросов и с криком прыгнул к ним со скалы.

Он упал навзничь на разноцветные камешки, потеряв сознание и не приходил к себе, когда матросы переносили его в челнок, а только визгливо стонал, как обожженная женщина.

С финикийской триремы, идущей в Тир, все-таки заметили бегущего по скалам голого человека, и хозяин, подумав, приказал снять его с камней. Выяснилось, что эллин сломал ногу. Хозяин сам взялся лечить спасенных. Раздвинувшие бок и бедро Агнии промывали белым вином и, обложив мелко нарубленными толстыми листьями какого-то странного растения, туго перетянули куском чистой холстины. Повязка сразу промокла от горького на вкус сока этих листьев, но боль ушла. Элину перенесли и устроили на корме. На Агнию больше никто не обращал внимания, и она свободно бродила по всему кораблю.

Финикийцы спешил к дому. Трирема шла на всех веслах и под парусом. Слава богам, попутный ветер не менялся.

Агния скоро освоилась на финикийской галере. Спущать быстро спала, царянины затянулись. Хозяин приказал ей помогать готовить пищу команде.

Агния не расставалась с прощальным даром деда Мая. Она выписала у матросов витой кожаный шнурок и носила свирельку на шею, как амулет.

Теперь все ее существо, жаждущее привязанности, обратилось к эллину. Она расспрашивала его об Афине, о его занятиях, о родине. Эллин был с нею немногословен, но сильные его ответы Агния украшала своей фантазией и благодарила богов, что они оставили ей такого друга.

Как-то, выловив из котла особенно лакомый кусок мяса, не замеченная никем, пробралась она на корму, где в низкой палубной пристройке лежал эл-

лин. Она застала у него хозяина-финикийца. Мужчины о чем-то совещались. С ее приходом они сразу замолкли. Эллин равнодушно уставился в потолок, а финикийцы с пристальным вниманием стал ее разглядывать, будто увидел впервые. Агния смутилась и выскользнула на палубу. Лакомый кусок она съела сама, прчась за бухтой свернутого каната.

Афины встали из моря неожиданно, ослепительной на солнце крышей и белыми колоннами Акрополя. Город рос на глазах, поднимаясь из моря и облепляя светлыми легкими строениями оранжевые склоны холма. Матросы, горланно крича, убрали парус. Длинные брызги летели по ветру с поднятых лопастей узких весел. Быстро навалилась пристань.

Агния по всему кораблю искала элина, но его нигде не было. В жуткой тревоге, что с ее единственным другом случилось несчастье, Агния бросилась к хозяину-финикийцу.

Он стоял у борта, следя, как готовят трап к спуску. Когда Агния подбежала к нему с расспросами, финикийцы, не отвечая, крепко схватили ее за руку и почти бегом увлек ее за собой на корму. Там он распахнул низкую дверь в пустую пристройку, где раньше лежал эллин, оттолкнул внутрь и запер. Ничего не понимая, Агния кричала и молотила руками и ногами в дверь и стены.

Весь день и всю ночь она просидела взаперти, ослепнув от слез, думая страшное.

Наутро раздался резкие крики команды, пол под ногами качнулся. Агния припнула к щели под потолком. Трирема уходила от белого причала. Оранжевый холм погружался в море. Медленно поворачиваясь, удерживая колоннада Акрополя.

Дверь в пристройку распахнулась. Финикийцы стоял на пороге. Агния теперь принадлежала ему. Эллин распустился за проезд красивой смуглой девчонкой, как будто своей рабыней.

Агния не стала рассказывать нам про свою жизнь в богатом Тире, в доме хозяина-финикийца, аладельца многих кораблей. Что-то мешало ей вернуться на эту дорогу вместе с нами.

Мы остановились и смотрели, как она, не оглядываясь, уходила от нас в свою тайну. Мы пытались угадать ее путь, понять молчание, видели затененное лицо под тяжелой копной кудрей, руку — темную тонкую кисть с набухшей веткой прожилкой, — бесильно свесившуюся с колена, и понимали только одно: как дорога нам Агния.

В Тире от гостей хозяина Агния узнала о том, что покой Золотых Афин последние годы охраняет отряд вольных скифов. Гости рассказывали, что скифы так и не сумели выскынуться с ярым афинским солнцем, потому что упорно не желают расставаться с кожаными своими пропелетшиши куртками и островерхими шапками. Что целыми днями по доею, по трое разрезывают они по городу, снизу вверх как-то по-своему, бокон, и следят порядок на улицах и площадях, на пристанях и рынках. А вечером они скачут за городскую черту к подножию холма, где лошадей и людей ждут низкие, прохладные, вытнутые в линию строения коношен, в одной из которых, освобожденной от перегородок, живут сами скифы.

А если заглянуть в высокие окна приспособленной под жилье коношни, то можно увидеть, как кто-то из варваров спит, подложив под голову свернутый чепрак, другой с азартом играет в кости, а кое-кто даже читает по-гречески. По ночам скифы появляются в портовых притонах, пьют неразбавленное

вино и щедро платят за любовь доступных женщин. Сами скифы не затевают драк — они ведь покаялись охранять покой в городе, — а с ними в драку никто вступать не решается. Не зря же просвещенные Афины дорого оплачивают свой наемный скифский отряд.

И еще... Если обойти скифские конюшни, то во внутреннем дворике станет виден огонь кузницы. Стуча маленькими молоточками и колота тяжелым молотом, молодые скифы учатся отливать в формах, ковать и чеканить по дорогим металлам фигурки птиц и зверей, людей и невиданных чудовищ. Эти изделия варварских рухляков и фантазии потом быстро расходятся, сполна оплаченные, по всей Элладе и уплывают в корабельных сундуках, чтобы удивлять и восхищать многих людей за многими морями. А трудятся мушкетеры под наблюдением своего наставника, высокого, нетерпеливого, похожего на большую хищную птицу, скифа.

...В Тире и повсюду бедного раба ловят, наказывают и оставляют у хозяина. Дважды бежавшего, поймав и наказав, заковывают и заставляют работать, как скотину. Трижды бежавшего раба убивают. Но рабыню, бежавшую хотя бы однажды, поймав, убивают сразу. Или продают далеко от дома. Агнию решено было продать в Афины. Ведь всем известно, что эллины умеют ценить женскую красоту.

Стремящийся узнать, кто распускает о нем слухи, похож на пса, который гоняется за своим хвостом.

С рассветом в Афинах не было человека, который бы не знал, что к скифам волей богов вернулась их темнокожая царевна-рабыня. Медуза бегала по городу и кричала на всех перекрестках, что за свободу скифская царевна должна ей заплатить по-царски. И безобразная старуха назначила неслыханный выкуп за беглую свою рабу.

Толпы афинян осаждали скифские конюшни, чтобы взглянуть на Агнию. Начальник караульного отряда Ник Серебряный, известный тем, что, прогнавшись, ударом кулака уложил на мостовую боевого коня, сам выходил к эллинам, убедительно уговаривая разойтись. Но к полудню пришлось выставить вооруженную стражу, отозвав воинов из города. В городе им теперь делать было нечего: все Афины были здесь, у конюшен.

На расстоянии вытянутого копья вокруг жилой конюшни стояли верхами воины помолложе и, изнемогая от жары, украдкой молили бога Папая, а по-эллини — Зевса, потратить одну из своих молний на этих возбужденных афинян.

В прохладном полумраке конюшни громадная, черная, пропелетовая шапка Никя Серебряного переходила из рук в руки. Золотые монеты разного достоинства: древние, совсем темные, грубо обрубленные, с истертыми, неразличимыми изображениями на них, может быть, бывавшие в руках народов, уже исчезнувших с лица земли; и новые — маслено поблескивающие, носящие знаки тех стран, племена которых преуспевали сейчас и в гордыне сытого достатка широко рассыпали по миру золотые знаки своей силы; и просто слитки дорогого металла неправильных, причудливых форм, больший из которых не превышал размером куриное яйцо, и камни — светлые и прозрачные, розовые и голубые, темные, зеленые, как кошачьи глаза, красные, как свежая кровь, в оправе и без оправ — все это медленно наполняло кулек скифской шапки.

Обойдя полный круг, шапка вернулась к владельцу. И когда последний, держащий шапку за края обеими руками, воин протянул ее Никю, начальник

скифской стражи Золотых Афин отстегнул от пояса маленький кривой кинжал с изукрашенной резьбой рукояткой из драгоценной носоорожей кости и прямо с ножами воткнул его в самую вершину груди.

И только тогда, перехватив свою шапку, Ник Серебряный протянул ее Агнии, неподвижно сидевшей между скифами, словно изваяние из темного дерева.

— Один волос с твоей головы не стоит этой бездницы, царца! — громко и отчетливо сказал старший скиф, и низкий, глубокий голос его, вылетев из высоких окон конюшни, покрыл гомон толпы и набатом загудел в стенах.

— Агой! — боевым кличем отозвались скифы, идущие вокруг Агнии.

— Агой! — ответили им стоящие на страже. И Агния, дочь Агнии, скифской царицы, медленно поднявшись, поклонилась в ноги старому воину и долго не разгибала стана, стыдась показать горевшие ярким румянцем щеки.

От хорошей жизни не сбежишь наемником в Афины. Разными путями пришли эти скифы к берегам Эгейского понта¹, не возврат на родину был для всех равно невозможно. И только мы двое по настоянию Агнии решили вернуться на старое пепелище, под копыто коня Медая Трехрукого, царя над всеми скифами.

Степи! Родные скифские степи...

Хорошо свеситься с передка кибитки и чувствовать, как опущенную вниз ладонь хлещут пушистые метелки высоких трав.

Еще засветло мы свернули со старой, наземной дороги и, поднявшись на плоскую макушку кривобокого холма, остановили кибитку, чтобы успеть разжечь костер и приготовить пищу до темноты. Знакомый кривобокий холм. Старый знакомый. Если спуститься по более крутому склону, пересечь дорогу и идти по степи так, чтобы Солнцеликий все время видел правое твое плечо, то вскоре травы расступятся и поредеют и ты окажешься у края узкой и глубокой балки. Отсюда надо двигаться прямо навстречу Солнцеликому, следя, чтобы твоя тень, не отклоняясь в стороны, послушно следовала за тобой. Пройдя так далеко, как трижды пролетит из боевого лука стрела, ты наткнешься на маленький, теперь, верно, густо заросший травой курган. Никакими знаками не отмечен этот курган, и только случайный камень, серый и бугристый, лежит, вдавившись в землю, на невысокой его вершине.

Под этим серым камнем погребен Светлый. Мой первый друг, мой конь. Не в лихой скачке, не в схватке под мечами и стрелами, не в работе, задавленной тяжким грузом, пал он, старый мой товарищ. Тогда давно, ступая позади нас по бездорожью, навьюченный только двумя нашими торбами, он вдруг тяжело и шумно задышал, отфыркиваясь, и, не дав дотронуться до себя, раздув дрожжащие ноздри навстречу ветру, наострив уши, посккал в степь, не слушаясь ни нашего окрика, ни свиста. Далеко уступая вперед, Светлый круто свернул и помчался, отбывая нас по какому-то только ему ведомому кругу. Он скакал все резвее и резвее, длинная, давно не стриженная грива полоскалась над травой, и хвост летел по ветру.

Круг замкнулся, и Светлый астал как алканый. Вытащив шею, он повернул голову в нашу сторону и заржал звонко и коротко, прощаясь, может быть, с нами, а может быть, со степью. Потом ноги его подломились, и он рухнул в траву. Когда мы подбежали, все было кончено. Опустившись на колени, я при-

¹ Эгейский понт — древнее название Адриатического моря.

поднял тяжелую мертвую его голову. Большая мутная слеза медленно скатилась из конского глаза, задерживаясь в короткой шерсти. Я нагнулся и поцеловал его в теплые еще ноздри.

Мы погребли коня, привалив курган серым камнем. И шли дальше, пока нас не остановила рассекшая степь балка. От нее свернули к дороге. Так я запомнил эту балку, эту дорогу и кривобокий холм.

Память упорно звала меня взглянуть на серый камень. Я отправился пешим, чтобы не оскорбить крылатую душу Светлого дружкой с другим конем. Вещь, путь, я шел уверенно и быстро, а теперь, придя, кружил в траве, не находя даже следов кургана. Вдруг сильный порыв ветра пригнул траву, и я увидел буржистый бок серого камня, торчащий из земли. Я понял подсказку ветра. Люди с сердцами шакалов, наткнувшись на одинокий курган в степи, разрыли его и, не найдя сокровищ, должно быть, испуганно смотрели, как беззвучно смеется над ними конский череп, ощерив длинные желтые зубы. Потом зверье растащило высохшие кости.

Серый камень, зачем я пришел к тебе? Что ты можешь напомнить мне о моем коне, о Светлом, на горячей спине которого устала моя юность? Я сам, своими руками вознес тебя, серый камень, на вершину кургана и оставил стеречь прах моего друга. И был ты мне послушен. И был ты послушен тем, чьи руки обросили тебя сюда, в траву. Ты, видно, очень давно живешь на свете, серый камень, и твоё послушание — от равнодушия к жизни. И не раз, верно, чьи-нибудь руки погребут под твою тяжесть прах любимого существа, принимая спокойное твоё равнодушие за немое сочувствие человеческого горю.

Я ненавижу тебя, бессмертный! Сегодня я сам зарю на землю, твоё серое буржистое тело вблизи живого горящего огня, усаюсь на твою конюгу, согрею над костром, руки и порадаюсь, что ты больше не смотришь на мир холодными, каменными глазами.

Расставая, я вывернул серый камень из земли, вазалил на плечо и понес. Передо мной, бесконечно вытягиваясь, ложилась на траву моя сторбленная тень.

Холодный туман медленно поднимался от земли, заволакивая степь. Прямые стебли трав с острыми маковками стали казаться копытами бесчисленного войска, ждущего только сигнала, чтобы броситься в атаку сквозь этот туман, похожий на дым пожара. Тьма упала внезапно. Я остался один посреди этой ночи, совсем один, приравненный большим серым камнем. Туман, расплываясь, заполнил пустоту ночи, смешал небо и землю, и если бы оказалось, что я стою вверх ногами на своей ноше, я бы не удивился. Я протянул вперед руку и, напрягая глаза, едва различил смутное очертание своих растопыренных пальцев. Живая красная искорка вдруг вспыхнула на моей протянутой ладони. Я невольно отдернул руку. Огонек, мерцающий, повис в тумане. Я перевалил камень с плеча на плечо и заспешил к желанному теплу.

Агния и Аримас сидели у костра.

Боги! Пока я блуждал в тумане, что-то произошло здесь без меня.

Они даже не повернулись мне навстречу, когда я подошел. Я сбросил камень с плеча и уселся на него у костра так, чтобы хорошо видеть их обоих. Они разом глянули на не на меня — на камень, как он ткнулся в землю, и снова устались в огонь. Я перевел взгляд с лица Аримаса на ее лицо и желал и боялся догадаться, что сделало в мое отсутствие. И вдруг я понял, что так поразило меня в них обоих: странное сходство их лиц.

Нет, не явным сходством кровников, брата и сестры, были они схожи. Вышшая печать родства лежала сейчас на их лицах. Так похожи между собой жрецы одного бога, воины одного войска, рабы одного хозяина. Так, должно быть, похожи друг на друга сами боги.

Что мне делать? Взять третьего сменного коня, обычно бегущего в пыли за кибиткой, и ускорить в туман! Разом потерять и друга и любимую!

...Они давно ушли от костра. Туман укрыв их.

Закопаться! Наказать их. За что? За то, что они счастливы! Отослать своей любви, как врагу!

Костер медленно догорает. Пламя, перелетая по черным головешкам, взмывает дрожащими желтыми крыльшками и никнет, запустившись в багровый паутине.

Убей меня, великий бог Папай! Сделай так, чтобы сердце мое не выдержало мук!

Скрипнуло колесо кибитки. Кто-то идет ко мне сквозь туман.

Аримас подошел, обхватил меня сзади за плечи, приник лицом к моему затылку, сжал в объятиях так сильно, что у меня завили кости и стенилось дыхание. Я вспомнил первую нашу встречу, тогда, давно... Он обхватил меня и крепко держал, сядя со мной на спине Светлого. А я просил богов оставить мне его навсегда.

Благодарю вас, боги, вы были добры ко мне.

Несчастен бесталанный в дружбе. Жалок разувившийся в ней. Считающий друзей по пальцам обеих рук либо лжив, либо глуп. Зовущий в друзья каждого встречного просто равнодушное. Но благословен называющий друга только одним именем. И проклад предвеший!

Аримас повернул меня к себе, приблизил лицо к моему лицу, тревожно и пристально заглянул в глаза. Я не отвел взгляда. Мы оба молчали.

Аримас принес от кибитки и положил у огня две стрелы из наших колчанов. Бережно поставил на приметную траву узкорюлую амфору. Я вынул из кошелька у пояса старую походную чашу. Аримас расковырял восковую пробку, и вино, запенясь, наполнило чашу до половины. Мы опустились на колени и, протянув друг другу левые руки, сплели пальцы. В правой каждый держал стрелу другого. Мы взглянули друг на друга и, прижав наконечники к запястьям, нажали на стрелы. Наша кровь, смешавшись, залила сцепленные пальцы и побегала в чашу, быстро наполняя ее до краев. В этой полной чаше мы омыли наконечники стрел. Потом, передавая чашу друг другу, выпили вино, перемешанное с нашей кровью, по глотку до дна.

Теперь в мое сердце стучала кровь Аримаса, а в сердце Аримаса — моя. В моем колчане была стрела Аримаса, а в его колчане — моя стрела. Мы стали братьями.

Агния, дочь Агнии, жена моего брата, стала мне сестрой. Любимой сестрой.

Агой!

Постоянными жертвами и покаянной молитвой умерил Мадай гнев Великой Табити-богини. Вернула Змееногая в родные степи своего жаждного до соблазнов сына, оставила ему жизнь. Но простить до конца за тайную измену скифской вере не захотела. Много прекрасных наложниц отдают свою любовь скифскому царю, но ни одна не подарила ему наследника. Бездетен старший Мадай, сын Мадада. Нередко среди шумной трапезы или царской охоты уносится Мадай Трехрукий помыслив и желаниями в придуманную жизнь свою. И затихает тогда пир,

и зверь уходит от невидящего взгляда царя неведомию. И никто не догадывается, что там, куда улетает душа царя, он бывает счастлив. Тогда любит Мадая жена Агния Рыжая, мать его сыновей, царица.

И страшно Мадая пробуждение от этого сна наяву. Каждый раз после такого сна царь над всеми скифами повелевает зажечь жертвенный огонь на большом черном камне, отогнать в бесчисленных табунах своих рыжую кобылицу и вороного жеребца, и сам принисит их в дар богу, имя которого страшится называть вслух.

И, очистившись, едет царь за холмы в открытую степь к заветной лаведе. За просторным ее заслоном Мадая забывает свои печали и жестокою немилостью богов. С отеческой нежностью следит Мадая, как послушный его тихому повсюду спешит к нему могучий золотоманный жеребец. Этот потомок нисейского аргамака и лидийской кобылицы, приведенных когда-то в скифские степи, не знает себе равных.

Мадая подолгу ласкает атласную шерсть своего любимца, с чувственным наслаждением ощущая под руками налитое упругой звериной силой тело коня, щекастое жесткой бородой своей чуткие влажные ноздри и, наконец, с поцелуем простившись, вдруг вскрикивает воинственно и дико.

Жеребец, принимая игру, прыгнув в сторону, взвизговал на дыбы, перебирает в воздухе ногами и уносится прочь, прекрасный, как несбывшееся желание.

Дав, в который раз, подробные и строгие наставления слугам и вооруженной охране коня, царь возвращается к делам своим веселый и до времени спокойный.

Незванный гость вошел в кузницу, не спросившись. За стуком молотков мы не услышали лая собак и топота копей. Он, верно, долго стоял у входа, разглядывая нас за работой, прежде чем мы заметили его присутствие. Мы сразу узнали его, хотя он сильно разжирел за эти годы и низко надвинутая круглая лисья шапка со свисающим на плечо пушистым хвостом оставляла лицо в тени.

— Мир вам, свободные, — сказал Хава-Массает прежним, скрипучим голосом, — мы почувствовали, что он выполнил свое давнее обещание запомнить нас, обож.

Агния была рядом в кибитке, и я вышел из кузницы, чтобы не допустить ее случайной встречи с Массаетом. Незачем было им встречаться.

Снаружи верхами стояли четверо. Золотая отделка ножен, наручя и богато убранная сбруя остро поблескивали в лунном луче. Коч Массаета дурил у конюяз, дергая головой и взрывая передней ногой землю. Визгивали копыта удил.

Наши псы, обсевшие всадников широким кругом, оставили сторожевую свою осадку и подкатились мне под ноги, ласкаясь. Всадники молчали, словно не замечая меня.

Знают ли они об Агнии, а если знают, то что имеют? Зачем пожаловал среди ночи царский пес Хава?

Я прошел мимо всадников в кибитку. Агния уже спала. Я решил остаться около нее на тот случай, если она вдруг проснется и вздумает наведаться к нам в кузницу. В полутьме я нашарил лук и колчан, наложил стрелу и присел за пологом, держа в виду четырех всадников и лова возможный подозрительный шум из кузницы. В осторожности Ариаса я был уверен.

Всадники у кузницы о чем-то переговаривались. Наконец Массает вышел наружу. Хотя я ждал его появления, он все же возник как-то неожиданно, мне

почудилось, будто сразу вырос на спине своего коня. Я натянул тетиву. Круглая лисья шапка закачалась на острие нацеленной стрелы.

Ариас встал в освещенной прорези входа. Обычные слова прощания, лай собак, затухающий топот копей. Я опустил оружие и ослабил тетиву.

Царский телохранитель передал Мадая, сын Мадая, царь над всеми скифами, заказывает Ариасу-кузнецу, слава о мастерстве которого уже шагнула за красный полог царского шатра, украсить по своему усмотрению уздечку, нагрудную перевязь и вызолотить удила для любимого царского жеребца. Заказ неслыханный и щедрый. Скоро у царского шатра соберутся со всей степи свободные скифы многих племен с лучшими своими кобылицами. Царь сам выберет единственную, достойную пару своему любимцу.

И этот выбор положит начало небывалому в степях царского праздника. Царь над всеми скифами приглашает Ариаса-кузнеца к своему шатру. И друга Ариаса, сына скопотов. И жену Ариаса. Ведь у него есть жена! Пусть приезжает с ней.

Агния чему-то улыбалась во сне.

Скрыться сейчас — значило навлечь на себя гнев Мадая. Да и где скрываться? Повсюду в степях у царя были глаза и уши. Днем и ночью могла догнать неугодного отравленная стрела.

А может быть, мы просто преувеличиваем свои страхи? Ну что за дело царю над всеми скифами до жены бедного кузнеца?

Что было, то прошло. Давно прошло.

Старое наше становище мы застали покинутым. Люди ушли за Борисфен, поближе к царским скифам, под их защиту. Многие бросили ковчезы, оседли на черных, жирных землях, становились хлебопашцами. Упорствующие в кочевой вольной жизни смешили табуны свои и стада, родились племенами и забредали далеко от привычных мест в поисках новых, нетронутых пастбищ. Повсюду в племенах установили твердую цену на вещи и рабов, на хлеб и вино, на скот и даже на битую дичь и строго соблюдали установленное.

Теперь на дорогах все чаще встречались хорошо охраняемые обозы иноверцев — все больше эллинов или персов, — бесстрашно заглядывающих в самые отдаленные степные пределы в надежде на удачную торговую поживу. Но в старой кузнице дедая Мая гости случались редко. Поэтому Ариас особенно старался искусной работой умножить слух о редкостном своем мастерстве.

Глядя на завершенные им изделия, мы с Агнией дивились вдохновенной силе его труда, жалели, что придется расстаться с этой красотой, которую всегда хотелось бы иметь перед глазами.

Без утайки мы рассказали Агнии о ночном посещении царского телохранителя и передали приглашение Мадая. Мы думали остеречь ее этим, но неожиданно для нас Агния загорелась ехать на царский праздник. Ариас, растерянный и сердитый, кричал, что скорее он убьет жену своей рукой, чем позволит ей показаться на глаза Мадая Трехрукому.

Тогда Агния измыслила хитрость. Она тайно сшила себе мужскую одежду, спрятала под остервенной шапкой свои кудри, опоясалась мечом и верхом на старой крапчатой кобыле, за ненадобностью оставленной у нас кем-то из заказчиков, однялась появилась около кузницы и засвистала, вызывая нас наружу.

Мы не сразу угадали, что за бравый парень оседлал нашу клячу и вертится на ней у конюяз. Агния пришла в восторг. Она убедила Ариаса, что в праздничном многолюдье никто не заподозрит в ней

женщину, что она будет тише воды и ниже травы и не попадет на глаза Мадаю и его людям. И во всем будет послушна мужу и мне, своему брату. Она, конечно, не поедет, если мы трусим. И Аримас согласился.

Цельными днями мы трудились в кузнице. Агния, наскуив хозяйственными своими хлопотами, сидела на крапчатую кобылу и уезжала к высокому кургану, под которым покоился прах царицы и ее раба. Она забиралась на самую вершину кургана и подолгу просиживала там, обхватив руками длинные свои ноги и упев подборода в колени.

Старая кобыла шумно вздыхала, перебедая с места на место, чтобы нарыскать сладкую лечебную травку, а Агния оставалась недвижной, следя птичьими пути в небе над степью и думая о чем-то своем.

— Ведут! Ведут! — зорали мальчишки, перебегая во всех направлениях широкое, усталое дорогами коварим открытое пространство перед царским шатром.

Со всех концов огромного праздничного лагеря люди устремились к шатру. Пьяная толпа опрокинула тяжелый бронзовый котел, обдав горячим бараньим жиром замешкавшихся обжор. Всадники немилосердно давили пеших, торопясь занять места поближе к шатру, а пеше, озялые, сдерживали их с коней и сами локтями, лбами, кулаками прокладывая себе дорогу к самым коврам.

— Ведут! Ведут!

Телохранители царя, грозя уставленными копьями, отскисли первые ряды прочь с ковра и сомкнулись подковы, колоты короткими древками жаждущих пролезть сквозь заслон. Вооруженные конные воины с наскоку врезались в давку и, полосуя нагайками, с трудом проложили узкую просеку до ближайшего холма в густом многолюдье за шатром.

Сбивая нестройный гомон толпы, звонко и торжественно пропел боевой рожок. Мадай Трехрукий, царь над всеми скифами, вышел к гостям из шатра. Приветственный рев сотен глоток зымыл над степью и оборвался при виде золотого жеребца на вершине холма.

Пурпурное покрывало ниспадало с боков к передним ногам коня. Ветер тронул легкие эти ткани, взвил их над конем и, казалось, конь не спускается с холма, а летит над степью на широких багряных крыльях.

Толпа раскисалась, подывая от восторга. Крылатый жеребец медленно плыл к царскому шатру.

В степи не нашлось такого дурака, который не захотел бы породниться с царем, пусть даже через свою кобылицу. Из множества приведенных царь придирчиво отобрал десять лучших. Избранники эти ревностно оберегались от отравы, увечий и дурного глаза царской стражей и зверского вида бородачми из хозяйской родни.

Сегодня жеребец должен был сам решать, которая из красивых — царская. Жеребец сразу обнаружил свой выбор любовным призывом: мощное, страстное ржание отметит счастье и прозвучит золотой музыкой в ушах ее владельца.

Широкое позлащенное копыто ступило на мягкий коверный настил. Подыскившие гости царя громко переговаривались, восхищенные. Глубокою грудью жеребца покрывал тонкий панцирь. Лил Великой Табита-богини выступил из черного золота, обрамленный тугими завитками змей-волос. Солнце перекатывалось в фигурном литье, и казалось, что змеи извиваются, крепко впившись сомкнутыми челюстями в нагрудные ремни, скрепляющие покрывало на

холке. Вспыхивали золотые огоньки в гневных глазах богини. Улыбался мягко оттененный рот ее с озорно выпуклыми жемчужными зубами кончиком языка.

Выпуклость панциря была неотделима от совершенных форм коня. Золотое литье — под стать медовой масти, и представлялось, что сама Змееногая влетела в груды прекрасного коня, чтобы явить толпе лик свой, пугающий и манищий.

— Красиво, — прошептал Аримас, восторженно и робко, будто не сам он, а кто-то другой вызвал к жизни этот странный образ.

Агния стояла в толпе между нами и не отрывала взгляда от высокой, грузной фигуры царя Мадада. Вот он поднял над головой руки, хлопнул в ладоши. Снова запел боевой рожок.

На ковре перед шатром вывели первую избранныцу. Даже из самых дальних рядов было видно, как гордо посажена у нее голова, какая челка, какие лиловые, продолговатые, влажные глаза. Жеребец навострил уши.

— Тихо! — внезапно закричал кто-то в толпе.

Слуги по бокам жеребца присели, с усилием сдерживая растаявшие поводы.

— Хг-мм! — выдохнул жеребец в полной тишине. Растяжку ослабили. Жеребец потянулся к мададе, играя, ухватил губами за плечо. Толпа веселым гулом проводила отвергнутую.

— Эта ему не нравится, — пробормотал рядом со мной пожилой скиф, — не нравится ему эта.

Теперь выступала вороная, поджарая, профиль — как у жены фараона. Шла, раскивая крупом, мела хвостом по коврам.

— Тихо! — снова прокричал тот же голос.

Полная тишина. Напряженные спины слуг.

Хмм... — И все. Все?

Одна кобыла сменяла другую. Все напрасно. Бесслезно увели последнюю избранныцу. В толпе нарастал неудержимый смех.

И вдруг, непонятно как проникшая за заслон, из-за шатра появилась наша старая крапчатая кобыла. Толпа взорвалась хохотом. Кобыла шла по царским коврам, поныря голову и растопыря уши, лениво обмахиваясь жидким хвостом.

— И-и-и-а-г-р-мм! — это не ржание, это рев льва, это гром, это песня.

— Аааа! — завопила толпа.

За всколыхнувшимися спинами я увидел золотую разметанную гриву, стрелами торчащие уши.

— И-и-и-гrrrr! — толпа бросилась врассыпную.

Я побегав с толпой, потерял Аримаса и Агнию, упал, вскочил, побегав обратно. Аримас уже сидел на кобылке и лупил ее пятками в бока, стараясь увести от шатра. Жеребец, не переставая петь свою песню, влочил по коврам обоих слуг, вцепившихся в поводы. Повсюду плясали мальчишки.

Праздник кончился.

Царь укрылся за красивым пологом. Знатные гости поспешно разошлись по своим шатрам. Толку слуги и охрана продолжали стоять коврам царского жеребца, ожидая приказаний и томля дурными предчувствиями. Но царь как будто забыл о своем любимце.

Мы с Аримасом метались по огромному праздничному лагерю, разыскивая Агнию. Ее нигде не было. Когда Аримас обращался к людям с расспросами, от него отшатывались, как от чужого. Люди показывали пальцами ему вслед. Теперь гневный лик Табита-богини с озорно высунутым дразнящим языком породил неумную тревогу в людских сердцах.

«Недаром этот кузнец выволакал такой образ», — стали перешептываться люди, — сама Змееногая направляла его руку. Разве не она, Табита, провела невидимой через живой заслон охраны старую крап-

тую кобылу? Разве не она вдохнула нелепую страсть в сердце прекрасного царского жеребца, чтоб уничтожить царя перед всеми скифами? Зла любовь — кто-то, а старый Мадай должен был помнить об этом. Но не только смеяться умеет Великая...

Вспомнили люди, как перебегали гневные искры в глазах богини, осознали, как глупо хохотали ей прямо в лицо, и страх охватил их. А когда черные, низкие туфы внезапно заволокли небо над степью, толпа, стена, сгрудилась вокруг большого жертвенного камня и, подставляя спины порывам холодного ветра, разожгла пламя.

Едва огонь окреп, в него полетели меховые шапки, колчаны, гориты, ножи, деревянные походные чаши, пояса. Кто-то швырнул в пламя содранные с ног, густо расшитые бисером сапоги. Все, что было ценного на них и при них, когда смеялись они в лицо Табита-богини, люди бросали теперь в жертвенный костер, стремясь отвести от себя гнев Змееногой. Пламя бушевало, пожирало людские подношения, металось под ветром, опалая сухим жаром лица столпившихся вокруг камня людей.

— Знак, дай нам знак, Великая!... — сложилось из разноголосого ропота толпы и враз с пламенем поднялось к черному небу...

— Знак... дай нам знак...

Будто могучие руки разорвали сплошную завесу тупой. Белая молния шипя, как змея, ударила в холм позади царского шатра, и яростный грохот оглушил степь.

Люди пали ниц вокруг жертвенного камня и лежали так, не смея поднять перекошенных ухом лиц, захлебываясь в потоках рухнувшего на них ледяного ливня.

— Жерты! Жерты, достойную Великой... — прорывал чей-то голос.

Люди поднимались как один. Толпа превратилась в огромное зверя, многоглазого, многогортного, жаждущего немедленно, сейчас же утопить в горячей крови первой попавшейся жертвы звериный свой страх.

Царский жеребец в мокрой, обвисшей попоне все еще стоял у шатра на взбухших от воды коврах. Глаза человеческого зверя остановились на нем. Вот она, жертва, достойная богини!

И зверь, дрожа и задыхаясь от страха и ярости, потек к шатру, многоного оскальзываясь в жидкой грязи.

Толпа нахлынула, давая охрану, повалила коня, подмяла под себя. Царский любимец, оскорбленный причиненной ему болью, забился отчаянно, раздавая смертоносные удары золочеными своими копытами. Десятки рук вцепились в него, сорвали пурпурную попону и панцирь, сковали движения. Помятого, исколеченного толпа подняла коня на плечи и повлекла к жертвенному камню. В объяснении священного восторга люди втаптывали в грязь лик богини на разваленном ногами панцире.

Костер, залитый дождем, погас. Поднимать пламя не стали. Жерты притиснули к мокрому боку черного камня. Торопясь, вытащили ножи.

— Не смейте, собаки!

Толпа обернулась на окрик. Мадай Трехрукий, царь над всеми скифами, шел от шатра прямо на толпу, высоко неся седую голову, словно не видя людей перед собой. Мокрые волосы облепили лоб, глаза глядели мертво и страшно. Обнаженный клинок подрагивал в опущенной руке.

Толпа смуглилась. Перед царем расступались, но снова смыкались за его спиной, напряженно выжидая. Царь остановился у черного камня. Жеребец потянулся к хозяину, тоненько заржал. Толпа надвигалась.

нупал в недоброе молчании. Люди не прятали приготовленных ножей.

— Я сам... — тихо сказал коню Мадай.

Он схватил за уздечное кольцо, вздернул конскую голову, коротко взмахнул, полоснул клинком.

— Слава тебе, Табита-богиня! — истошно завопили люди, валиясь вслед за конем к подножию черного камня.

Мадай повернулся и пошел прочь, наступая на тела лежащих в молитве. Он скрылся в шатре, не оглянувшись. Люди, ликуя, прильнули разделять тушу золотого царского жеребца.

В шатре было полутемно. Светильники еще не зажигали, и сумеречный сиреневый отсвет грозового облака для лежал размытым пятном вокруг опорного столба, на коврах, разбросанных подушках и блюдах с остатками трапезы.

Шум дождя был здесь почти не слышен, но отдельные капли, ударяя в края защитной крыши над очажным кругом, заставляли ее звучать непрерывным медным гулом.

Мадай долго простоял без движения, вслушиваясь в заунывный этот гул, уставля глаза в большое серебряное блюдо, до блеска вылизанное усердными едоками. Дождевая капля, заброшенная порывом ветра под шитовой заслон, с разлету звонко цокнула в самую середину блюда, выведя царя из оцепенения.

И сразу же все беды этого дня навалились на него, сокрушая и толпя последнюю волю к жизни. Внезапная дрожь подломил колен и стала подниматься зыбкой волной, сотрясая сильное и тяжелое его тело и удушьем подбиралась к горлу. Стуча зубами, Мадай опустился на ковер и только тут заметил, что все еще сжимает в ладони рукоятку меча. Содогража, он отбросил оружие. Меч пролетел мимо опорного столба, сверкнув лезвием в грозовом отсвете, и беззвучно канул в темноту. Мадай проводил его взглядом. Там, в темноте, куда упал его меч, происходило какое-то неясное движение. Что-то приближалось оттуда к Мадаю, а что это было или кто — Мадай не мог определить. Он хотел окликнуть, но дрожь отняла голос.

Из-за столба выдвинулось нечто бесформенное, растрепанное. В неясном, быстро убывающем свете медленно проступили очертания лба, с глубоко запавшими темными глазницами под ним, обозначились нос и рот, растянутый в жуткой, мертвенной улыбке. Кольца змей-волос сплетались вокруг лика и тонuli в темноте. Кончик высунутого языка подрагивал между зубами.

Табита-Змееногая!

— Сейчас ты умрешь! — произнес лик.

«Я готов!» — хотел ответить Мадай. — Я не был счастлив в этой жизни. Быть может, там...»

— Агния! — вдруг громко крикнул кто-то в шатре, и Мадай узнал свой голос, молящий и жалкий.

Вспышка пламени озарила стены, оторву мрак. Круглая шапка Массарета заслонила лик богини. Лязгнуло оружие. Старый меч царя упал, ударившись о серебряное блюдо, и, вызывая, завертелся по коверу, сшибая кушмины.

Но Мадай уже не видел это. Силы оставили его.

Дождь лил не переставая. Он не дал развести огонь вокруг врытых в землю больших медных котлов. Поэтому около черного камня пылал огромный общий костер. Временами баргвые сполохи вырывались из темноты цвета даже самых дальних шатров и кибиток.

Тени пляшущих людей бесновались на расхлябанной дождем, широко освещенной земле, корчились, сливались, разбегались, бросались под свалившихся с ног или бесконечно вытягивавшихся, соединяясь с мраком, когда человек почему-либо отдался от огня.

Баранов, пригнанных из степи, резали тут же. И, насадив куски мяса на острия копий, протягивали к жару костра. В эту ночь перепились все, даже женщины. Они сквернословили наравне с мужчинами, громко гөрөвали и жадно веселились. То тут, то там вспыхивали драки, слышались женский визг, рычание мужских голосов. И все это тонulo в шуме дождя, в нестройном пении обезумевших людей и в диких их хохоте.

Мы с Аримасом напились вместе со всеми и, не принимая участия в общем буйстве, всю ночь бродили под дождем, спотыкаясь о распростертые пьяные тела, отчаявшись найти Агния.

Красный шатер царя вписался недалеко от черного камня и казалось такое огромное костром, холодным и застывшим. Бродя по лагерю, Аримас то и дело останавливался и подолгу ошупывал глазами четко высеченный купол шатра с медной крышечкой наверху, от которой искрились веером разлетались дождевые капли.

Под утро, когда даже самые испытанные гуляки свалились от усталости, Аримас, не сказав мне ни слова и не оборачиваясь, твердой походкой направился к царскому шатру.

Я выбрался из-под чей-то кибитки, где мы провели без сна остаток ночи, и поспешил за ним. Я догнал его, и мы пошли рядом. Я не знал, не мог понять, зачем он идет туда, что собирается делать, но что-то необъяснимое удерживало меня от расспросов. Может быть, выражение его лица — гордое и орешенное.

Таким я уже видел его, когда мы скакали рядом в отрядах Черного Нубийца, чтобы принять смертельный бой со своими братьями. Так же хищно горбатились орлиный этот нос, так же плотно были скаты тонкие губы под редкими усами, так же далеко и пристально смотрели эти глаза.

Выпитое накануне и бессонная ночь не оставили никаких следов на лице Аримаса. Только темные тени легли под глазами, подчеркивая острую и светлую их голубизну.

Начальник царских телохранителей вышел нам на встречу так, будто давно дожидал нас. Он не выражал ни удивления, ни протеста, узнав о желании Аримаса видеть царя над всеми скифами. Только потребовал сдать оружие.

Повинуясь взгляду Аримаса, я отстегнул пояс вместе с мечом и протянул его Хаве-Массаету. У Аримаса было оружие, но Хава, тихим свистом вызвав из шатра еще двоих, велел им осмотреть кузнеца. И сам, приняв от меня меч, легко провел быстрыми ладонями по моей одежде от плечей до лодыжек. И вслед за Массаетом мы шагнули за красный полог.

Несмотря на то, что утренний свет уже пробивался в шатер, светильники горели повсюду. Золотые отблески перебежали по белым войлокам среди вышитых ярких цветов и диких животных птиц.

Массает, неслышно ступая по коврам, нырнул за второй, внутренний полог, оставив нас одних.

Время тянулось бесконечно медленно. Мне показалось, что я разгадал намерения Аримаса. Я уже готов был спросить его об этом, но белый полог заколыхался, и Мадай, сын Мадам, царь над всеми скифами, предстал перед нами во всем великолепии царского одеяния.

Белая атласная рубаша, схваченная широким наборным поясом, с которого свисал маленький кинжал, закрывала ноги ниже колен. Черная с проседью борода расщепала сплошную полосу позолоченных наплечий. По коврам волочился длинный багровый плащ, нижний край его царь небрежно отбросил в сторону ног, обутых в расшитый золотом мягкий красный скифский сапог.

Главного убора на царе не было. Седые длинные волосы, открытая ослепляющая шея, были стянуты к затылку и убраны за спину. Тяжелая золотая серьга покачивалась в мочке левого уха, рассыпая кроваво-красные рубиновые искры.

Выйдя и дав нам рассмотреть себя с ног до головы, Мадай медленно опустился на высокие подушки, услужливо взятые массаетовой рукой. Не поднимая на нас взгляда, царь протянул руку, униженную перстнями, и произнес:

— Говори.

— Царь, — сказал Аримас странно высоким и глухим голосом, — отдай мне ženu.

Мадай нахмурился. Казалось, он с пристальным вниманием изучает вышивку на ковре под ногами.

— Это ты послал ее убить меня?

— Нет, царь, — спокойно и твердо ответил Аримас.

— Я верю тебе, — тихо сказал Мадай. Вдруг он вскинул голову. Узкие черные глаза его округлились. — Ты не посылал ее, — прохрипел Мадай. — Ты только вывокал лик Табити-богини, чтобы навлечь на меня ее гнев. Ты воспользовался правом делать что тебе угодно и употребил это право против меня! Ты...

Он задохнулся. Седая прядь выбилась из прически и прилипла к взможающему лбу. Мадай раздраженно махнул рукой в сторону Массаета. Хава подскочил и наполнил простую деревянную чашу вином из кувшина. Мадай пил маленькими глотками, не сводя с нас взгляда. Потом он откинулся на подушки и закрыл глаза. Массает убрал чашу.

Медная крышка над очажным кругом гудела назойливо и заунывно.

— Где моя жена? — раздельно выговаривая слова, спросил Аримас.

Мадай вдруг усмехнулся.

— О ком ты говоришь? О черной рабыне, которая покушалась на жизнь царя над всеми скифами?

Он не изменял позы и не открывал глаз.

— Сейчас она развлекается с моей охраной. А если окажется малопригодной к такому веселью, я прикажу ее задушить.

Он выждал тишину и, открыв глаза, вписался взглядом в Аримаса. Лицо Аримаса было более войлоком царского шатра. Он стоял прямо, вытисив грудь, только пальцы судорожно жали края короткой куртки.

— Моя жена — свободная скифка... Агния...

— Врешь! — Мадай вскопчил. Красный плащ метнулся за ним, накрыв и загасив светильник. — Врешь! — Мадай, дергая щекой, приблизил свое багровевшее лицо к лицу Аримаса. Они почти соприкасались носами. — Она отродье моего раба и моя рабыня. Понял, кузнец? — Он круто повернулся и пошел в глубь шатра, волоча за собой плащ.

Я делал над собой неимоверные усилия, но слезы заполнили мне глаза и теперь скатывались по лицу... Я не стал их утирать.

Мадай мерил шатер широкими шагами.

— Впрочем, — сказал он, останавливаясь и глядя вверх под очажный заслон, откуда ясным потоком текет утренний свет, — ты можешь ее выкупить. Что ты дашь мне за нее?

— Все, что имею! — крикнул Аримас



— Все, что имеешь,—медленно повторил Мадей.—Молот и наковальню, пару коней с кибиткой да десятку худых баранов. Не дорого же ты ценишь царскую рабыню.

— У меня больше ничего нет, царь.

— Опять врешь,—сказал Мадей.—У тебя есть глаза. Твои глаза, которые сумели увидеть лик Великого божия, незримый для простого смертного. Давай меняться: я верну тебе мою рабыню, твою жену, а ты оставишь мне свои глаза. Что, согласен?

— Да! — не раздумывая, ответил Аримас.

— Люди! Люди! — закрикнул голову, кричал Аримас. Дождь хлестал ему прямо в лицо. Кровь из пустых глазниц залила щеки, бороду и двумя темными полосами проступала на мокрой куртке. Агнио он крепко держал за руку.

Люди, сбегавшиеся со всех сторон огромного лагеря, широким кольцом обступили кузнеца и его жену. Все молчали, потрясенные, не смея даже перешептываться.

— Люди! Люди! — звал Аримас.

— Мы здесь, кузнец! — крикнул кто-то из толпы.— Мы с тобой.

— Я Аримас, внук Мая-кузнеца, свободный скиф. Вот моя жена.—Он поднял руку Агнию, сжав ее в своей ладони.—Я любил ее, люди, и думал, что она любит меня. Но она обесчестила и себя и меня.

Он повернул к Агнию голову, взглянул пустыми глазницами. Потом снова запрокинул лицо и закричал:

— Вы все видите: я смыл бесчестие своей кровью! Пусть и она смоем своей!

Он протянул к толпе руку, растопырил пальцы.

— Кто-нибудь, дайте мне меч.

Пожилый скиф вошел в круг, вынул меч-акнак из старых ножен, поцеловал клинок и вложил рукоятку в ладонь Ариаса.

— Свободные скифы! — Аримас поднял меч высоко над головой.—По законам скифской воли спрашиваю вас: кто хочет взять в жены обесчещенную эту женщину? Пусть выходит биться со мной, чтобы своей кровью смыть ее позор.

Все глядели на меня, когда я вступил в круг.

— Есть ли кто-нибудь? — выждав, крикнул Аримас.

— Есть! — многогласно ответила за меня толпа.

— Назовись! — Аримас крутил головой, пытаясь угадать, где стоит его будущий противник.

— Я, Сауран, сын сколотов, свободный скиф, хочу взять в жены эту женщину и обещаю, соблюдая обычаи, биться с тобой до первой крови.

Клинок дрогнул в руке Ариаса. Я повернулся и оглядел круг.

— Пускай давший свое оружие подойдет и заяжет мне глаза.

Пожилый скиф подошел и положил мне руку на плечо.

— Доверяете ли вы, люди, этому человеку судить нас поединком?

— Доверим! — закричали голоса.— Пусть поклянется!

— Клянусь! — громко крикнул скиф.—Клянусь недремлющим пламенем великого бога Агни!

Я сбросил куртку, снял рубаху и, разорвав, подал скифу длинную полосу ткани. Сложив ее вдвое, он обвязал мне глаза, туго стянув узел на затылке.

— Ответьте женщину в сторону,—услышал я голос пожилого скифа и шелест многих ног по грязи. Потом настала тишина, только дождь шелестел.

— Агой! — И скиф легонько толкнул меня в плечо.

Я пошел, неуверенно ступая, выставив вперед руку с мечом. Пояска сдвигала голову, врезаясь в переносицу. Пройдя совсем немного, я остановился и прислушался. Постепенно сквозь шум дождя я начал различать чьи-то осторожные шаги впереди слева. Тогда я нарочно сильно ступил в грязь несколько раз и снова замер. Шаги затихли, но скоро послышались снова, приблизившись. Совсем приблизившись, я сделал короткий, несильный выпад в пустоту и, присев, закружил меч перед собой, стараясь оборотить голову и грудь. Вдруг болезненный укол сзади в лопатку заставил меня круто развернуться. Меч Ариаса свистнул у меня над головой, сталь задела о сталь, я рассек клинком воздух, поскользнулся и упал.

Я неловко пытался вскочить, когда услышал голоса людей и быстрое шелпанье чьих-то ног по воде. Кто-то навалился на меня, снова отбросил на землю, потом толпа взревела, тело, придавившее меня, дернулось, чьи-то руки сорвали с глаз пояска.

Сначала я увидел Ариаса, топтавшегося на одном месте, в двух шагах от меня, и только потом...

Пожилый скиф быстро поднял на руки беспомощное тело Агнию.

— Продолжайте! — крикнул он твердым голосом и, поймав мой взгляд, отрицательно помотал головой.

Люди навалились так тесно, что, протянув руку, я мог бы их коснуться. Я посмотрел на Ариаса. Клинок его меча был весь в крови. Аримас сделал несколько неверных шагов в сторону толпы. Люди отхлынули.

— Сауран,—вдруг позвал он и остановился, опустив меч, видно, вслушиваясь.

— Она мертва,—шепнул мне пожилой скиф в самое ухо.

Голова Агнию бессильно свесилась, рот был полуоткрыт, губы уже побелели.

— Сауран,—снова позвал Аримас с возрастающей тревогой в голосе.

Скиф бережно положил Агнию на протянутые из толпы руки многих людей.

— Ответь ему,—шепнул мне скиф.

— Я здесь,—сказал я.

Аримас резко повернулся на звук моего голоса.

— Ты ранен, брат мой? — спросил он.

Я беспомощно посмотрел на скифа. Он энергично кинул головой.

— Да,—ответил я.

Аримас уронил меч и, выставив вперед руки, пошел ко мне.

Скиф обхватил меня за плечи и заставил лечь на землю, лицом вниз. Я тогда не понимал, зачем он это делает, но слушался беспрекословно. Аримас наткнулся на меня, упал на колени, ошупывая мою голову, спину, и отдернул руку, коснувшись лопатки.

— Брат мой, брат мой, брат мой,—без конца повторял Аримас.

Я сел и обнял его.

— Мои глаза,—вдруг сказал Аримас.—Мои глаза! — закричал он.—Я больше не смогу никогда, никогда...

Он захлебнулся в рыданиях. В толпе эхом запала какая-то женщина. Внезапно Аримас вскочил на ноги.

— Агния! Где Агния?

— Она убежала,—ответил пожилой скиф.—Мы не смогли удержать ее. Люди могут подтвердить мои слова.

— Она убежала,—сказали люди.

Аримас бросился на землю и лежал неподвижно, закрыв ладонями пустые глазницы. Дождь кончился.

— Как тебя зовут? — спросил я.

— Сикерс, — ответил пожилой скиф. — Я сделалю все, как ты просишь. Мы похороним ее в кургане царицы Агнии Рыжей со стороны восхода. Я сам принесу в жертву эту старую крапчатую и обожавших коней. Ты можешь на меня положиться.

— Ты не боишься немилости Мадаг?

— Я ничего не боюсь. — От его грустных серых глаз разбегались веселые морщинки. Ровные зубы молодого блеснули в рыжеватой курчавой бороде. — Да будут боги добры к тебе. Спасибо за все.

— Прощай. Может быть, еще встретимся когда-нибудь. Ступай к своему другу, его нельзя сейчас оставлять одного. — Он легко запрыгнул на спину высокого гнѣдого жеребца. — Сикерс. Запомни. Сикерс, который боится только одного — испугаться.

И с места поскакал полным махом, припав к шее коня.

Когда я очнулся еще раз, совсем рассвело. Значит, второй день Аримас будет ждать моего возвращения. Он будет ждать еще долго, ведь он верит, что я найду Агнию.

Бедно одеревенело, я с трудом повернулся набок. Хава-Массает приподнял голову и смотрел на меня из-под уродливо распухших век. Ничего, я все-таки переживу тебя, Зубастая Овца. Я хочу посмотреть, как ты будешь подыхать. Еще один валялся, скорчившись, на склоне холма. На нем уже сидело воронье. Третьего не было видно. Его я уложил там, за холмом.

Если бы удалось поймать лошадей, я, может быть, вырвался бы отсюда. Но обе уцелевшие лошади их сразу усаkali в степь. А теперь сюда не забредет никакой конь: зверье вокруг уже почуяло падаль. Вчера я слышал волчий вой.

Малая плата за глаза Аримаса, но с паршивой овцы, с паршивой Зубастой Овцы хоть шерсти клок. Хочется пить. Я вылизываю росную траву к дышу, как собака, высунув язык.

Массает что-то пробормотал. Опять борчмечет.

— Добей меня, сын скотов. Добей меня.

Только бы не потерять сознание. Я сжимаю зубы и, медленно перекатываясь по склону холма, приближаюсь к Массаету.

— Добей меня, сын скотов.

— Поклянись... Нет, не надо. Мы лучше вместе дождемся часа, когда шакал будет грызть твою поганую рожу, а у тебя не станет сил его даже отогнать.

Хава застонал.

— Ты мне не веришь, — зашептал он, — а я знаю... знаю, что тебе нужно. Агния была... — Он тяжело дышал, проводя по выбитым зубам посиневшим языком. — Она была там, за пологом, когда вы пришли. Я только связал ее и заткнул ей рот. Мадаг не позволил тронуть ее пальцем...

Я нащупал на поясе нож и, пристав на руке, вогнал лезвие ему в глотку. Он захрипел и выкатил глаза.

На вершину холма поднялся волк. Нет, это не волк. Всадник остановил коня и оглядел ложбину, в которой мы лежали. Потом спешился и стал спускаться по склону. Воронье сметено с трупов и закружилось над живым. Вот осветел труп, идет ко мне. Мадаг!

Я стиснул нож в руке. Я притворюсь мертвым, а когда он подойдет... Мадаг склонился надо мной.

Я выбросил руку с ножом. Трехрукий увернулся, железной хваткой сковал мое запястье, легко вырвал нож.

Ну, что ж, смотри, царь, как умеют умирать твои скифы.

Мадаг присел возле меня, вспорол ножом штанину, осмотрел рану. Потом отступил короткой своей плащ, крепко и больно обернул им мою ногу. Схватив за руки, повалил по траве вверх по склону. На самой вершине подхватил под мышки и рывком взвалил на спину своему коню.

— Держись за чепрак! — приказ. И огрел коня плетью.

Когда конь взбирался на соседний холм, я опять увидел Мадаг. Он сидел, сторбявшись, уронив голову в колени. И если бы я не знал Мадаг Трехрукого, сына Мадаг, царя над всеми скифами, я бы поклялся, что он плачет.

Агой!

Засыпать становится страшно. Расцветенная странными зорями мгла, следуя ударам сердца, медленно и неотвратимо покрывает бесчувственное тело, расчленя его суставов за суставам.

И все, что я есть, собирается в душе моей, недремлющей и неразделимой. И эта душа, вдруг ранувшись, уносится неведомо куда, оставляя бессильному телу быстрое ощущение ужаса расставания и жуткой радости от мимолетного прикосновения к торжествующей тайне вечной жизни.

Первое, что я чувствую, просыпаясь, — это ветер. Горький и колющий запах ветра. Лежа с закрытыми глазами, я жадно втягиваю его, расширяю ноздри. Сквозь щелки век, за сеткой ресниц я вижу кончик своего носа, блестящий от пота розовую раковину ноздрей. Это мой нос. Это я. Бесценный и прекрасный я сам. Какое счастье лежать и разглядывать свой нос, врезающийся в спящее светом небо!

Я лежу на спине. Затылком, лопатками, левой ягодицей и пяткой я чувствую свою тяжесть, тяжесть земли, покачивающей меня, как в колыбели. И вот только теперь я начинаю слышать. Я слушаю тишину, мерно гудящую во мне. Этот гул, сплетающийся с запахом ветра, сливается в зримый образ: тень коня и всадника на пеще.

Волны Меотийского озера, неутомимо набегаю, целуют белые от соли губы дюны.

Я проснулся, о боги! Я проснулся.

Поднимайся и ты, брат мой. Не отставай, клади мне руку на плечо. Идем.

Там, у самого моря, стоит белый город Ольвия. Может, Агния ждет нас в прекрасном этом городе. Не спеши, брат, нам незначит спешить. Где бы она ни встретилась, мы узнаем ее сразу, даже с закрытыми глазами.



Наталья
ХМЕЛИК

ПОЛЬСКИЕ ПЛАСТИНКИ

РАССКАЗ

Рисунок
Е. МУХАНОВИЧ.

Таня увидела Мишу в первый раз, когда пришла с мамой в гости к ее подруге. Он вышел из-под стола, бросил на пол красный паровоз с желтой трубой и сказал:

— Мне уже шесть, седьмой, а тебе?

— Мне тоже, — сказала Таня.

В тот день он подарил ей медведя.

Оранжевый медведь с коричневыми глазами вот уже много лет сидит на диване. От пылесоса на нем свалилась шерсть.

Каждого своего знакомого Таня относит к одной из трех категорий: друзья — это те, которых Таня любит кормить, приятели — это те, с которыми она любит ходить в кино; в остальных можно влюбиться.

Миша не входит ни в одну из категорий. Он называется «друг детства». Она любит его кормить, ходить с ним в кино и любит ходить к нему в гости и слушать польские пластинки. Он звонит и говорит:

— Приезжай, есть новый диск.

И она приезжает. Однажды он сказал:

— Приезжай, есть новый диск.

— У меня народ, — ответила Таня, — я не могу.

— Можешь приезжать с народом. Я его знаю?

Таня засмеялась и сказала:

— Нет, не знаю.

Миша тоже засмеялся и спросил легким голосом:

— Как его хоть звать-то?

— Лешка, конечно, — сказала Таня.

— Привози, — сказал Миша и положил трубку.

Они сидели на кухне, Миша варил пельмени, а Лешка от смущения без конца рассказывал анекдоты:

— Обвалился слон в муке, подошел к зеркалу и сказал: «Ничего себе пельмешек».

Таня засмеялась. Миша серьезно сказал:

— Смешно.

Потом Миша включил проигрыватель. Польские пластинки лежали в ярких конвертах, на конвертах были парни с гитарами. Обычные майки, обычные волосы — сразу видно, иностранцы. Таня села рядом с Лешей на диван. Миша подошел, дурашливо-почтительно склонил голову и спросил:

— Вы не танцуете?

— Совсем озверел, — сказала Таня.

— У тебя есть сигареты? — спросил Леша у Миши.

— Есть последняя, раскурим попалам.

Таня увидела на столе раскрытую тетрадь. Там были стихи. Она протянула руку. Миша схватил тетрадь.

— Не цапай, что за привычки, — и убрал тетрадь.

— Затылок у тебя взерошенный, — сказала Таня. — Как будто тебе шесть лет.

Ей было почему-то жалко Мишу.

— Не строй из себя женщину с прошлым, — отрывнулся он.

В метро Леша спросил:

— А откуда ты его знаешь?

— Это мой друг детства, — сказала Таня, — мы знакомы с шести лет. — Почему-то ей стало жалко Лешу, и она добавила: — Он сын маминной подруги.

Миша не звонил неделю или две. А потом позвонил и сказал:

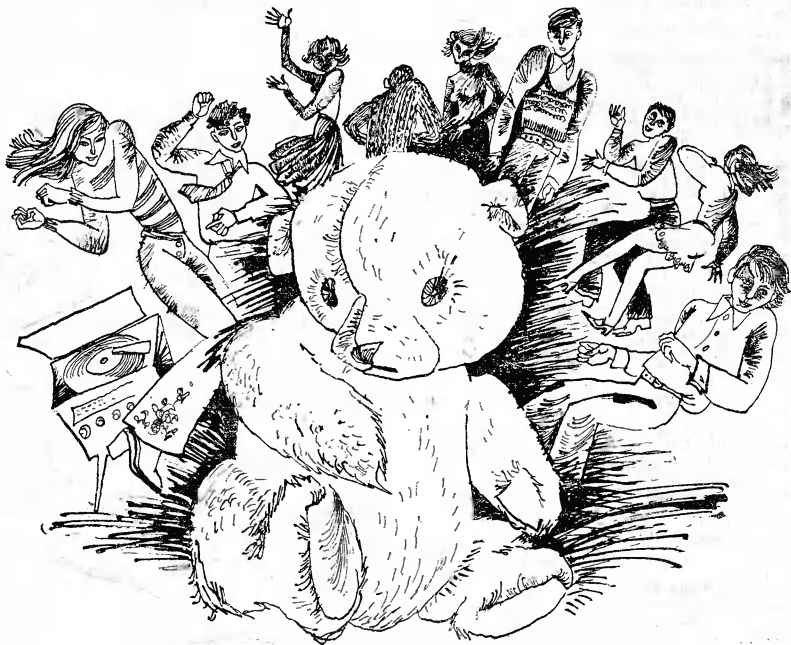
— А он ничего, этот твой. Не пикан. Только у него совсем нет чувства юмора. Не понимаю, как может нравиться мужик без чувства юмора.

Таня хотела сказать, что у Лешки есть чувство юмора, просто он сдержанный, но Миша не стал ее слушать и произнес целый монолог о том, что чувство юмора — это главная движущая сила нашей жизни.

— Я бы с ним в разведку не пошел, — ни с того ни с сего закончил Миша.

— Он тебя и не зовет,— разозлилась Таня.
 Это было в девятом классе.
 Когда Таня кончила школу, время пошло гораздо быстрее. Миша позвонил и сказал:
 — Миш не забыла, что мне в пятницу двадцать лет?
 — Приду,— сказала Таня.
 — Можешь взять с собой этого, забыл, как зовут.
 Он уехал учиться в Минск. Еще в прошлом году.
 — Я был неправ,— сказал Миша.— У него есть чувство юмора.
 На дне рождения у Миши были его школьные приятели, которых Таня всех знала. Они слушали польские пластинки. А потом пришла девочка. У нее были длинные волосы. Миша пригласил Таню танцевать и спросил:
 — Ну, как тебе Лена?
 — Волосы длинные,— сказала Таня.
 Домой Таню провожал Володя, с которым сто лет назад Миша сидел за одной партой. Он все время молчал, а в конце дороги вдруг произнес:
 — Нефти у нас в стране очень много, и она высокого качества.
 — Очень интересно,— сказала Таня.
 У подъезда Володя сказал:
 — Я бы взял у тебя телефон, да боюсь, Мишка мне лицо нарисует. Или наплевает, как думаешь? Он заглянул Тане в глаза.

— Нет, все-таки опасно,— ответила Таня и побежала наверх.
 Дома звонил телефон. Миша спросил:
 — Как доехала?
 — Чего это ты вдруг?— удивилась Таня.
 — Я вежливый хозяин. Я Леночку проводил и вернулся. Дай, думаю, позвоню. Ты давно пришла?
 — Сто лет,— сказала Таня.
 — Как тебе Леночка?— с мужской тупостью спросил Миша.
 — По-моему, она шука,— неожиданно для себя сказала Таня.— Ам карасика— и нет карасика.
 — Во дает,— ответил Миша и опять долго не звонил.
 Их мамы перезванивались каждый день. Они говорили о служебных делах и о воспитании, хотя воспитывать им было уже некогда.
 — Он у тебя очень самостоятельный,— говорила мама,— а то, что не получил стипендии, это ничего, ведь экзамен всегда потерял. Ну, Таня, Таня— другое дело, Таня все-таки девочка. Как она живет? Она всегда в кого-нибудь влюблена. Сейчас у нее очередной Витя, я очень беспокоюсь... Я надеюсь, что очередной, а не окончательный.
 Миша позвонил вечером.
 — Ходят слухи, что у вас очередной Витя.
 — Не лезь в душу,— сказала Таня.— Где тебя воспитывали?



Анатолий Кравченко



Теплей и прозрачной дождей,
чем эти,

не сыщешь на юге.
В цепочке отмеренных дней
не думаешь так о досуге,
как в городе,

полном витрин,
машин, суеты и погони...
Сиюю на веранде один,
дождинки ловлю на ладони.
Шумят высоко тополя,
и море синее напротив.
И вся предо мною земля
сегодня
в счастливом полете.

— В детском саду, потом в школе,— хмуро сказал Миша.— Тут про тебя все время Вовка спрашивает, просит телефончик. Вульгарное, между прочим, слово.

— Это который из нефтяного института? Очень, очень, очень симпатичный. Как поживает Леночка?

— Я ее давно не видел.

— Волосы у нее длинные-длинные,— пропела Таня.

— Дура неормальная. Когда увидимся?

— Сэр, наверное, забыл, что мне в субботу двадцать лет. Поскольку у сэра денежные затруднения, подарок можно не покупать.

Он принес ей тоненький серебряный браслет.

— Банк ограбил?— спросила Таня.

— Не ваше собачье дело,— ласково ответил Миша и, хотя в комнате было много гостей, сразу нашел глазами Вито.

— Первый тост за именинницу,— сказал Витя.

— Оригиналь,— похвалил Миша.

— Ладно вам,— сказала Таня,— у меня день рождения.

— Второй тост за родителей,— сказал Витя.

— Да он у тебя просто веселый и находчивый.

— Слушай, ты,— сказал Витя и сделал вид, что хочет вылезти из-за стола.

— Витя, пожалуйста, без нервов. Миша друг моего детства, я его знаю с шести лет, он сын маминой подруги.

Потом они танцевали, и Миша сказал:

— У нас в институте все женятся, как с цепи сорвались.

— И у нас,— сказала Таня.

— А ты не собираешься?

Таня почувствовала, как у нее на спине окаменела Мишина рука.



Тридцатого мая, тридцатого мая...
И грозные тучи всю ночь в карауле.
Лиловые гроздья сирени ломая,
весна уходила в прощальном разгуле.
Над Мхцетой седой и таинственным

Джвари

органно гремели последние грозы.
И тихий грузин говорил: «Ниагвари!...»,
и шла Ниагвари вода на утеси.

А там — высоко, в ледниках недоступных,
где некогда крылья над бездной шуршали,
на синих, как гроздья сирени, уступах
две тени зурне одинокой внимали.



Этот свет ночных дорог,
эта млечность серпантина,
эти запахи бензина.
Ветра встречного глоток.
Эти лунные стада
вдоль бетонной автострады:
переезды, эстакады,
хутора и города.

Эти парочки всегда
на окраинах, где травы...
Огоньки на переправах,
в блестях темная вода.
Этот мир больших дорог,
эта страсть ночной погони:
эти мысли между строк
на сто первом перегоне...

¹ Ливень (грузинск.).

— Пока нет.

Рука опять стала как рука.

— Чего тебе спешить? Что тебя, не возьмут, что ли, правда? А этот Витя, он ничто...

— Только у него ноги короткие?— спросила Таня. Миша вдруг изменило чувство юмора. Он погладил Вите по ногам и сказал:

— Нет, почему, ноги как ноги.

— Может, у него глаза косые?

— Глаза как глаза. Только, по-моему, он бабник. Видишь, почему-то все время сидит рядом вон с той, беленькой.

— Ага, это его сестра. Я пойду с ним потанцую,— и не двинулась с места.

Танина мама разливала чай и поглядывала на Таню. Мама ничего не говорила, но Таня видела, что маме нравится, как они сидят с Мишей рядом, как Миша держит руку на спинке ее стула и как они по-хорошему разговаривают, не ссорятся. Мама протянула руку и погладила Мишу по голове.

Неделю назад Таня позвала Мише и сказала:

— Сэр придет в воскресенье ко мне на свадьбу?

Он молчал, молчал. Потом спросил:

— Все-таки выходишь за очередного Витю?

— За очередного,— сказала Таня.— Володю из нефтяного.

— Могла бы и получше найти,— сказал Миша.

— И не смей говорить мне, что у него разные уши. Я сама все знаю. Придешь?

— Приду. Как же без меня? Я же друг детства.

На свадьбу Мишина мама приехала без него.

— А что Миша делает?— спросила Таня.

— Слушает польские пластинки.

Сташислав Кунлев



☉

Не бесплодные людские труды.
Здесь в пустыне — повсюду следы
человеческой мысли и страсти.
То рокошущий ракетодром
на границе горючего мира,
то в песках затерявшийся холм —
безымянная чья-то могила.
Здесь монгольские кони брели,
сознавая свое превосходство
над просторами бедной земли
и тщету мирового господства.
Здесь идет на посты караул,
и собак хрюкающие уши
напрягаются, слушая гул
исполнительских лавин Гиндукуша.

Детство

Мы жили в пограничной полосе
среди хуторов, когда-то заселенных.
По клавирам, по молодой росе
я дотемна бродил в лугах зеленых.
Я слушал, как над клевером висит
гуденье пчел, собирающих нектары,
и волновал меня разъятый быт,
пустые окна, темные амбары.
Солома истлевала на стерне,
сады дичали в тягостном покое.
Таялось нечто в этой тишине,
и вызревало что-то роковое.
Недаром озверевшие коты,
блестя остервенелыми глазами,
в пустых жилищах развезая рты,
мяукали дурными голосами.
Недаром, разлученные с огнем,
ветшали, как гробы, пустые печи,
и ржавчина съедала день за днем
тяжелые колодезные цепи.
А на исходе пламенной весны
вдруг вспыхнули — прекрасны и зловещи —
на темных елях алые цветы,
как будто бы рождественские свечи.
Давным-давно так ярко не цвели
еловые леса в начале лета.
Огонь и зелень...

Слухи поползли,
что не к добру подобная примета.
Быстрее хлеба вызревало зло,
и черный дым окрестности окутал,

когда, кренясь,
на левое крыло
лег «юнкерс»
и спикировал на хутор..

День Победы

Калуга, как и вся страна,
своих героев разыскала,
восстановила имена
и привинтила ордена
из разноцветного металла.
В Москве и в Киеве салют —
да так, что слышно в целом мире,
и ветераны чарку пьют
да песни старые поют,
куда ни глянь, в любой квартире.
Не то чтобы работать лень —
всю жизнь работаем, не ропщем,
но есть в том смысл, что этот день
навек объявлен нерабочим.
Наш праздник весел и тапел,
он — слава, но и он же — трагизм,
недаром по стране прошел
девятый вал патристизма.
Недаром синяя весна
в полях или в домашних стенах
вновь высветляет имена
забытых или незабвенных...

☉

«Так Буря этих лет прошла».
А. БЛОК

В бурю шумит весенний ветер —
его дыхание все влажнее...
Мы — тоже дети грозных лет,
и неизвестно, чьи грознее.
Когда в дыму горел вокзал,
и мать металась вдоль перрона,
я сам от смерти уползал
и, как щенок из-под вагона,
выглядывал на белый свет
в его минуты роковые...
Да что там! Не было и нет
благих и безмятежных лет
у нашей матери — России.
В дыму борьбы, в огне побед,
в объятиях славы и разора
мы жили... Но глядел весь свет
на нас, не отрывая взора.
Опять весна и синева!
Гуляют по сосновым чащам
ветра, и старая трава
горит в огне животворцаем.
Не прача глаз — взгляды в судьбу:
увидишь знак преодоления,
начертанный на чистом лбу
у молодого поколения.
Живи, мой сын! На белый свет
гляди пристрастными глазами.
Прокладывай в пространстве след —
и знай: вы дети новых лет,
и ваше время будет с вами.

Бесконечная песня

Стали старые деньги — новыми.
Стали новые песни — старыми.
Стали злые презренья — добрыми.
Стали крупные планы — малыши.

Стали пьяные речи — трезвыми.
Стали краткие ночи — долгими.
Стали прятные блюда — пресными.
Стали сладкие губы — горькими.

Стали легкие страсти — трудными.
Стали полные реки — мелкими.
Стали бедные рифмы — чудными.
Стали частые гости — редкими.

Стали острые шутки — плоскими.
Стали близкие друзья — дальними.
Стали малые дети — взрослыми...
И так далее, и так далее...



А что же он сделал, тот гений,
связавший себе монумент
из нескольких светлых прозрений
и нескольких темных легенд!

Но вы-то попробуйте сами
хоть несколько нитей связать
и вымученными устами
хоть несколько истин сказать!

Железо стандартной ограды,
которых так много подряд...
Но кажется, что листопады
над ним чуть нежнее шумят.



Я люблю тебя, море, но знаю —
шутки плохи с тобою, когда
волны слепо сбиваются в стаю
и на берег бегут, как орда.

Я люблю тебя, время, но все же
не настолько ты правишь судьбой,
чтобы сделаться чести дорожкой,
чтоб заискивать перед тобой.

Шум прибора огромен и влажен —
отзвук вечности в гуле времен...
Этот мир и прекрасен и страшен,
нелюдим и перенаселен.



Прощай, мой ненадежный друг,
нам не о чем вести беседу.
Ты вонжи выпустил из рук,
и понесло тебя по свету.
В твоих глазах то гнев, то страх,
то отблеск истины, то фальши...
Но каждый, кто себе не враг,
скорее от тебя — подальше.
Спасать тебя — предать себя.
Я лучше отступлю к порогу,
не плакальщик и не судья —
я уступлю тебе дорогу.
Коль ты не дорог сам себе —
так, значит, я тебе не дорог...
Как желтых листьев в октябре,
шумит воспоминаний ворох
о времени, когда гудел
январский лес в ночи морозной,
а ты в глухую ночь глядел
и любовался широко звездной.
Хранил призванием и судьбой,
глядя в грядущий день без дрожи,
и были оба мы с тобой
друг друга лучше и моложе.

Дмитро Навильчко



Родное слово, что я без тебя!
С пути-дороги сбившийся бродяга,
Безродный, безымянный бедолага,
Тот, что утратил собственное «я».
Мое ты сердце, песня, и отава,
И молодость, и сила, и семья.
Ты вся душа раскрытая моя,
В снегу — огонь, в пустыне знойной —
влага.

Тебя в наследство передали мне
Отцы, что отзвук твой лязгали в громе.
Что за тебя сгорали на огне.
Так не засни навеки в пухлом томе —
В судьбе народа возродись вполне,
Звени в моем и в правнуковом доме!

Нива

Поля, и нивы, и далекий луг
Росою блещут, словно сединою.
Тот старый шлях, что свел меня с мечтою,
Что слышал сердца любящего стук,—
Запахан. Чернозем лежит вокруг.
Ключок стерни торчит передо мною,
Как будто бы под глыбой земляною
Спит русский ветер, мой давнишний друг.
Плывут стога, плывут порою туманной,
Как аксберги, в печали и тоске.
И в сердце слышен рокот экзанный,
А я иду, зажав звезду в руке,
Столетиями иду к своей испанной,
Что деревом застыла вдалеке.

Звезды

Бескрылой плоти в небе не летать.
В нее вливаются, как котли, звезды.
То криком сотрясаю черныи воздух,
То прчусь в темноте, как жалкий тать.
Как в зверя — острый нож — по рукоять,
Я погружаю взгляд в простор морозный,
Но не дано постичь мне тайны грозной,
Безбрежность — взором мысленным обнять.
Нет связи между космосом и мною.
Не вспомнит камень древнюю правду.
Сталь мыслью не проникнется людскою.
Но лишь приходит ночь — и я ищу
глазами звезды дальние с тоскою!
И, вновь плененный небом, трепещу!

Перевел с украинского
Л. СМЕРНОВ



ИЗ КОГОРТЫ ТИТАНОВ

ТИЦИАН
Вечеллио
1477 — 1576



О Тициане написана уйма исследований, книг, статей на разных языках. Прослежены его влияния — прямые и косвенные — на протяжении тех четырех веков, которые нас отделяют от него, но прелесть его не тускнеет и загадочность его глобальной личности не уменьшается, а скорее увеличивается в сложной прогрессии.

Если принять версию, по которой Тициан родился в 1477 году, то он прожил век без одного года и умер от чумы в 1576 году глубоким стариком. Старшими современниками Тициана были Колумб и Коперник. Младшими — Шекспир и Джордано Бруно. Тициан был мальчиком, когда корабли Колумба проторили путь в Новый свет. Юношей был Джордано Бруно, когда закатилась звезда Тициана, великого повелителя в области живописи. За несколько лет до смерти он написал картину «Мученическая смерть св. Лаврентия», леденящую сердце изображением варварской жестокости. Не вышел ли уже тогда над титиановским Лаврентием, пытаемым огнем, героический ореол Джордано Бруно?

Чтобы представить Гамлета живым носителем губительных страстей эпохи, достаточно обратиться к портрету Ипполито Риминальди. В художавом бледном лице — печальная настроенность, в глазах —

решимость, а рука сжимает перчатку, как будто рюкоть меча. И в этом замедленном жесте таится скрытая отвага, воля, прямодушие. Зато в облаке очаровательной Лавинии можно усмотреть черты простодушной Офелии, доверчиво прославляющей дары юных щедрот. Образ Лавинии — излюбленный Тицианом тип женской красоты. В нем угадываются приметы сходства с Венерой Урбинской, Мадонной, Данаей и даже с наиболее ранней по написанию многофигурной композицией «Аллегория Альфонсо де' Авалос», изображающей сладостный пир жизни.

Энгельс писал, что эпоха Возрождения породила титанов. Таким титаном был и Тициан. Перед величием титиановских полотен как бы немеешь, а слова бледнеют, мертвеют, становятся набором закостенелых штампов.

Исследователи творчества Тициана разделяют его жизнь в искусстве на два этапа. Первый — безоблачный, радостный, полный покоя, гармонии, ясности, и второй — поздний — восхождение на самую высокую вершину живописного мастерства. В первом периоде дивившемся около тридцати лет, Тициан еще близок к своим учителям — Беллини и Джорджоне. Тот, кто хорошо помнит знаменитую «Спящую Венеру» Джорджоне, выставлявшуюся у нас в числе других шедев-

ров Дрезденской галереи, усмотрит в «Венере Урбинской» Тициана черты сходства с ней, а вместе с тем и различия. В «Венере Урбинской» больше пространства, простора, воздуха, дыхания, несмотря на то, что Джорджонеская «Спящая Венера» изображена под открытым небом, на фоне прекрасного сельского пейзажа, а тициановская Венера лежит в глубине спальни, отстраненная от окна бархатной портьеры. И кажется, что она изучает золотистый ровный солнечный свет своим телом своим и изгибам, затуманенным ожиданиям.

На склоне лет Тициан создает композиций-поэм, насыщенные любованием чувственными красотами мира, восторженным поклонением женскому телу. Обмененные в мифологическую сюжетность, эти композиции дают нам бесценные образцы свободной манеры тицианова письма, озаренного идеями Высокого Возрождения. Сам Тициан свои мифологические картины называл поэмами, вкладывая в это слово особый, величавый смысл. К ним относятся «Персей и Андромеда», «Диана и Актеон», «Венера перед зеркалом», «Похищение Европы», «Пастух и нимфа», «Венера и Адонис», «Диана и Каллисто» и многие другие. С одной из «поэм» москвичам удалось познакомиться на недавней выставке «Сто картин из музея Метрополитен». Это «Венера и Адонис». На полотне живет пурпур богатых тканей, золотистая, приглушенная нагота тела, влага зора и радуга, пересекающая насыщенное мерцающим свечением небо.

Владея фантастической по своему совершенству живописной техникой, Тициан в последние годы создавал неповторимые красочные симфонии, благодаря чему его картины искрились, переливались сотнями полутонов. В каждой картине был свой хроматический ключ, изображение наполнялось пластическими формами красочной лепки с натуры. Изысканности прославленного тициановского колорита достигалась тем, что мастер умел извлекать колористический эффект из сопоставления оттенков тканей и обнаженного тела, из материала холста и наложенного на него мазка. Шедевром тициановской живописи по праву считается «Венера перед зеркалом», в которой предвосхищается не только пышнотелая мощь Рубенса, но и кокетливость Ватто и пластическая сила Делакруа. Из русских художников, пожалуй, Тропинин ближе всех к Тициану. Недаром его называют «золотым», подчеркивая тем самым особую приверженность Тропинина к тициановскому душевному золотистому фону, тончайшим нюансам в передаче цветового движения складчатых тканей, кольяхающих воздушных и световых пятен. Известно, что Тициан первый применил цветовую гамму в качестве психологической характеристики портретируемых. Сколько портретов, столько и характеров. Портреты его кисти, как и портреты Рембрандта, заражают нас и по сей день скрытой душевной болью, волнением, смятением. Как не вспомнить при этом трагических героев Шекспира, духовно близких современникам Тициана!

А каким был сам Тициан? Представление о нем дает нам автопортрет, написанный в шестидесятые годы: высокий, властный старик с крупными чертами бородастого лица. Он чуть сутулится под тяжестью темной складчатой одежды, только узкая светлая полоска воротника врзается, как луч, в себреющую бороду. Черная шапочка мастеро обстригает матовую напряженность мускулистого профиля.

В автопортрете обнажена своего рода мускулатура духа великого старца, обрезающего его на бессмертную славу. Пальцы правой руки нежно сжимают хрупкую кисть. Он полон жажды и воли творить, тем самым давая понять всем своим врагам и недо-

рожателям, что и в старости Тициан не намерен уступать никому лавры первого живописца. А ведь именно в эти годы Тициан подвергается нападкам со стороны своих недругов и хулителей. Завоеванная в неустанным труде и совершенствовании несслышанная свобода живописного изображения вызывала тайную и явную неприязнь современников. По мнению всеведущего Базари, было бы лучше, если бы Тициан более тщательно заботился о сохранении его репутации, которую он приобрел в свои ранние годы, «когда талант его еще не был на склоне». Другой современник Тициана не без тайного злорадства отмечает, «что он уже не видит, что делает, и что его рука настолько дрожит, что он ничего не заканчивает, оставляя все помощникам». Сохранились драгоценные свидетельства того, как яростно работал Тициан над своими полотнами, уподобляясь то доброму хирургу, убирающему все вредоносное, то зашедшему врагу, безжалостно расправляющему со своим детищем, то придирчивому музыканту, наводившему последнюю ретуху нервным постукиванием пальцев, а когда и это не удовлетворяло его, то он запускал руку в палитру и, словно ваятель, лепил красками желанный образ. Так достигал великий мастер неповторимого звучания своего прославленного красочного хроматизма.

На картины Тициана трудно смотреть вблизи. Они тяготеют к монументальному искусству, предназначены для постижения целком и всеохватно. Вглядываясь в мерцающие колеблемым светом полотна Тициана, ловишь себя на страстном желании постичь тайну его искусства, с такой удивительной беззастенчивостью воплотившего красочные оттенки мира.

Рожденный как художник Венеции, небо которой, как, впрочем, и небо любого другого уголка земли, украшено прекрасной живописью света и теней и жителя которой испокон веков умели дивиться разнообразию оттенков, являвшихся взору, Тициан пытался выразить природу с такой силой естественности, на какую до него никто не был способен. Вот уже более четырехсот лет, глядя на золотистую ткань земли, обгнутую солнечными лучами, на сеницветную радость, вставшую после грозы, на ликующие девичьи волосы, на багровую оравку мудрой старости, запечатленные замечательным тициановским мазком, тициановским колоритом, тициановским светом, люди благоговейно перед мастерством Тициана. «Св. Магдалина», «Св. Себастьян», входящие в сокровищницу нашего Эрмитажа, несут на себе следы титанической борьбы художника за право жить по законам счастья, правды, красоты, разума. Он умирал, терзаемый жуткой жаждой постичь гармонию мира, пусть даже ценой нечеловеческого страдания.

Полотна Тициана рассеяны по разным музеям мира. Среди спасенных шедевров Дрезденской галереи «Диарий кесаря» и «Дама в белом» выставались в нашей стране. На последней выставке живописи из музеев США мы познакомились с менее известными работами Тициана — «Рануччо Фарнезе» и «Мужчина с флейтой».

Блок называл Тициана вдохновителем передвижников. Андрей Вознесенский подлил имя Тициана на знамени своей поэзии. Зауардас Межелайтис в одной из своих микропозм вызывает к световой правде Тициана:

Спокойно мое лицо, словно холст живописца. Я знаю Судьбу свою. И да сбывается... Ты свою участь постиг!

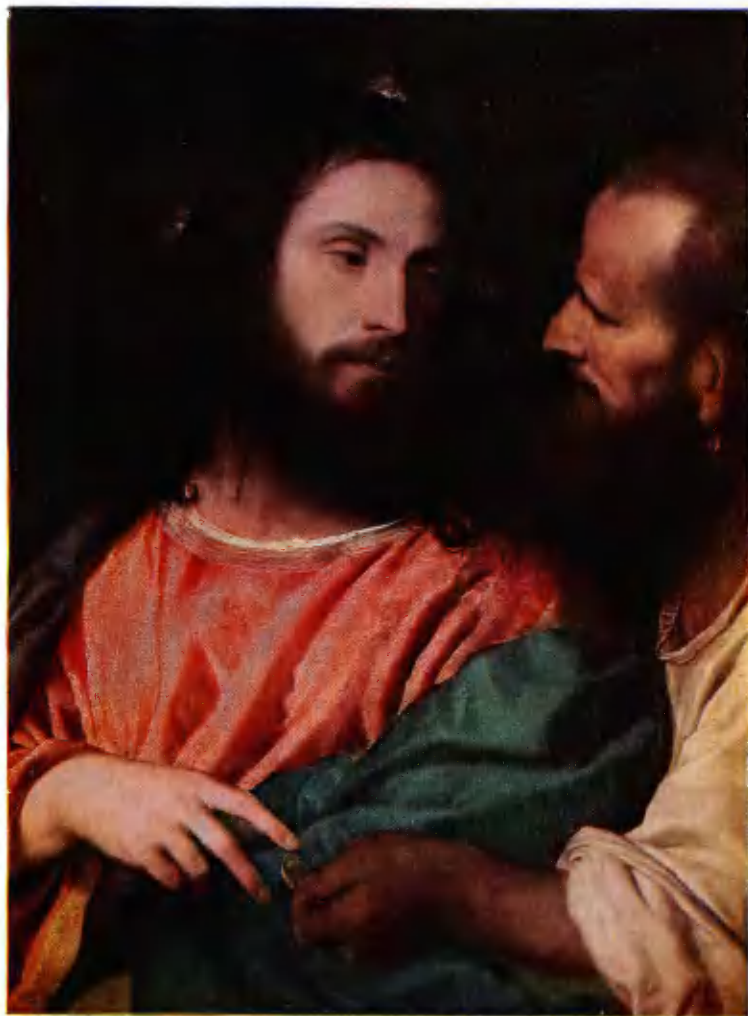
Тициан из короты титанов. Мы постигаем его всю жизнь.

Маргарита НОТЕНА

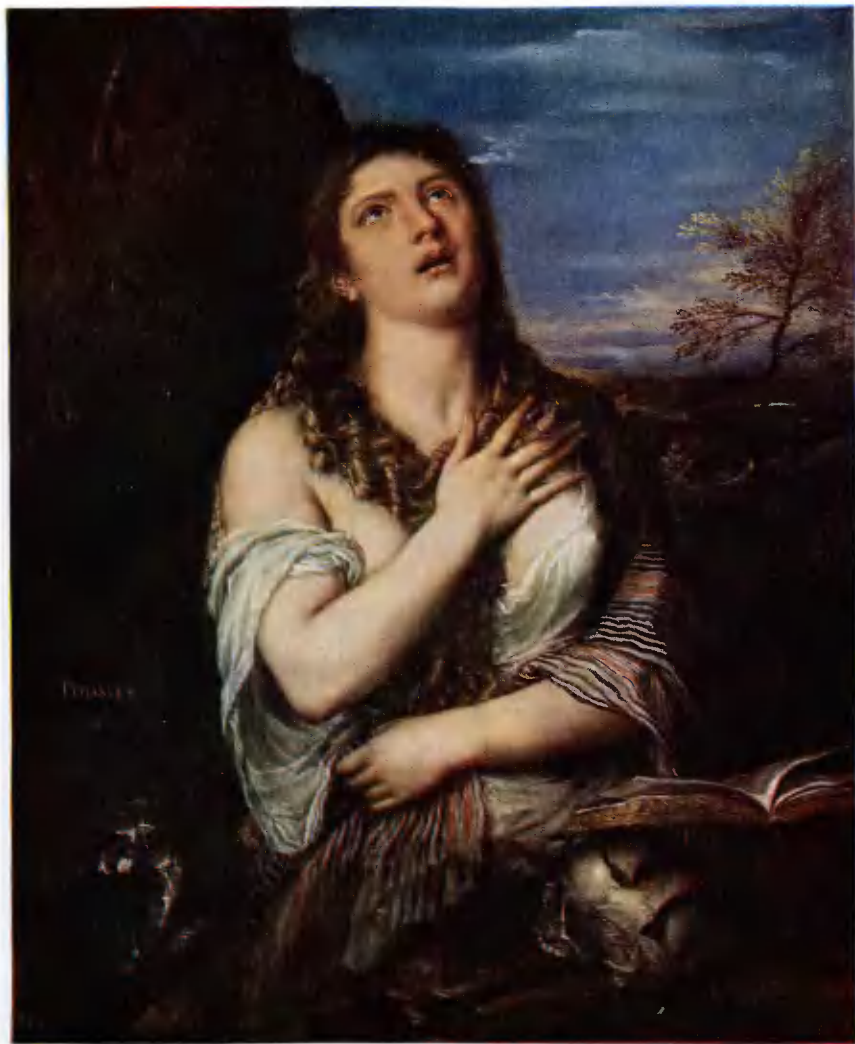


Портрет Лавинии. 60-е гг. 16 век.

Из произведений Вечелло ТИЦИАНА. 1477—1576 гг.
14—15-е ст. (всплыв)



Динарий Кесаря. 10-е гг. 16 век.



Кающаяся Магдалина. Около 1565 г.



Аллегория.
Альфонсо д'Авалле
Около 1530 г.



Ипполито Риминальди
(фрагмент).
Около 1548 г.



ДВЕСТИ ПЕРВЫЙ СЕЗОН

Недавно советская и мировая общественность широко отметили двухсотлетие одного из крупнейших театров нашего времени — Государственного академического Большого театра Союза ССР. Ровно двести лет прошло с тех пор, как на сцене бывшего Петровского театра стала выступать первая группа актеров и музыкантов, тогда их было семьдесят человек. Сегодня в труппе театра почти девяносто артистов. За двести лет на сцене Большого театра было поставлено около семисот опер и балетов, дано почти сто тысяч спектаклей.

В своем юбилейном приветствии коллективу театра Леонид Ильич Брежнев отмечал: «Многие поколения людей приходили и приходят в Большой театр, стремясь приобрести к высоким ценностям культуры, к сокровищам отечественной и мировой музыки. Они испытывают истинное наслаждение от прекрасного искусства талантливых мастеров Большого театра, утверждающих в своем творчестве благородные идеалы нашей партии и народа».

В дни юбилея Большой театр был награжден орденом Ленина, четырнадцать солистов получили высокое звание народного артиста СССР, сорок два артиста удостоены звания заслуженного артиста РСФСР. Многие работники Большого театра награждены орденами и медалями.

О предстоящем — двести первым — сезоне, о молодости Большого театра — наша публикация. С народным артистом СССР, лауреатом Ленинской премии, главным балетмейстером театра Ю. Н. ГРИГОРОВИЧЕМ и с народным артистом СССР, лауреатом Государственных премий, главным режиссером театра Б. А. ПОКРОВСКИМ беседует Татьяна ОТЮГОВА. О молодых солистах театра: ЛЮДИМИЕ СЕМЕНЯКЕ, БОРИСЕ АКИМОВЕ, теперь заслуженных артистах РСФСР, и АЛЕКСАНДРЕ ВОРОШИЛЛО рассказывает Мария КНЯЗЕВА.

— Чем памятен вам лично юбилейный — двухсотый — сезон?

ГРИГОРОВИЧ. Прежде всего тем, что после долгого перерыва я вернулся к современной теме. Мой самый первый балет назывался «Аистенок», и это была современная история. С тех пор прошло много лет, и вот возвращение к сегодняшнему дню: «Ангара», поставленная мною на музыку Эшпая, — это балетная версия знаменитой «Иркутской истории».

ПОКРОВСКИЙ. Специально к юбилею я восстановил спектакль, вошедший в золотой репертуарный фонд нашего театра, — оперу Римского-Корсакова «Садко». Я ставил ее на этой самой сцене в 1949 году. В последние три года спектакль у нас не шел — наступило его естественное моральное обветшание. Восстановить спектакль, поставленный тобою же двадцать семь лет назад — дело очень нелегкое. Естественно, что сейчас я мыслю иначе, у меня уже давно другие творческие принципы, но ведь восстанавливать спектакль надо именно в той стилистике, в какой он был создан. Это возвращение к себе вчерашнему — не самое интересное в режиссерском деле. Потому основным моим занятием в юбилейном сезоне была работа над тем, что произойдет после юбилея. Ведь юбилей — это прежде всего определенные перспективы...

— Какие творческие проблемы, на ваш взгляд, предстоит решить в ближайшее время труппе Большого театра?

ГРИГОРОВИЧ. Думаю, что в ближайшее время балетной труппе Большого театра, как, впрочем, и всем балетным труппам страны, предстоит решить одну из сложнейших и очень существенных проблем — проблему воплощения на балетной сцене современной темы, создание полноценного и полнокровного современного спектакля. Но это не должны быть спектакли-близнецы. Хочется ставить и видеть разные спектакли, друг на друга непохожие, друг с другом спорящие, которые и определят стиль современного балета Большого театра. Это одна задача. Но есть и вторая, от первой, кстати, неотрывная и не менее значительная, — сохранить то наиболее ценное, что есть в нашем балете, что накоплено за время всей его истории. Проблемы эти всегда существуют неразрывно и вне зависимости от любых юбилеев.

ПОКРОВСКИЙ. Я думаю, что опера сейчас точнее, чем когда-нибудь, начинает осознать свою природу, неповторимость, свое отличие от драматического театра, от концертного зала. Конечно, развитие оперы, как и любого другого искусства, происходит под влиянием вкусов тех, кто ее воспринимает, но тем не менее это развитие идет в своей определенной специфике. Долгие годы в этом вопросе было много путаницы. И только недавно начали проявляться истинные свойства оперы. Я убежден, что оперное искусство у нас сейчас накануне очень большого взлета. Часто можно услышать выражение: «Пойдем послушаем оперу». Но слушать ее надо в концерте, в театре же оперу можно воспринимать только комплексно. Когда композитор пишет оперу, он ее обязательно видит, иначе, наверное, написал бы симфонию. Только в сочетании видимого и слышимого и есть подлинная природа оперы. Сейчас оперное искусство не в спокойном состоянии, происходит серьезный и напряженный процесс, настоящая художественная битва. Консервативные тенденции основаны на привычках, когда все новое воспри-

нимается с трудом. Но так было когда-то и с Прокофьевым, который сейчас на нашей сцене — классика. Новые шаги трудны, но процесс идет — значит, опера близится к очередным своим победам. Все это очень серьезные проблемы, и решать их предстоит всем оперным труппам и Большому театру тоже.

— Вот-вот начнется двести первый сезон...

ГРИГОРОВИЧ. Признаюсь: для меня предстоящий — двести первый — сезон Большого театра не начало чего-то нового, а просто продолжение работы. Той, что была вчера, той, что будет всегда. Хотя, конечно, сама мысль о том, что вступаешь в третье столетие, ко многим обязывает.

ПОКРОВСКИЙ. Не могу сказать, что я сегодня испытываю какие-то особые чувства. Они те же, что и в каждый день работы. Не буду юбляеи, я делаю бы все то же самое — работаю и слова работаю. Но Большой театр — больше чем место работы. Вся сознательная жизнь я была связан с этим театром, еще задолго до того, как стал в нем работать. Самым воуиюющим в нынешнем юбляеи было то огромное внимание, что проявили к нам друзья театра, все наши зрители и слушатели,—это прекрасно и это большая ответственность. Сегодня, оглядываясь назад, мы вспоминаем тех, кто привнес на сцену нашего театра нечто новое, неожиданное, сделал и подарил людям свое открытие. Тех же, кто просто добросовестно повторял то, что было раньше, мы забыли. Это факт, звучный сегодня вполне отчетливо. Это наука для всех нас: сегодня работающих в театре, но и огромная поддержка всем нашим исканиям.

— Позвольте более конкретный вопрос: ваши планы в двести первом сезоне?

ГРИГОРОВИЧ.лично мои ближайшие творческие планы — постановка балета «Иван Грозный» на музыку Прокофьева на сцене Гранд-опера в Париже, Парижская премьера должна состояться уже в октябре. Вернувшись из Парижа, начну репетировать на сцене Большого театра одноактный балет на музыку Чайковского. Следующей работой будет новая постановка балета Глазунова «Раймонда».

ПОКРОВСКИЙ. Собираюсь ставить две новые оперы, написанные специально для Большого театра. Одна из них написана грузинским композитором Отаром Тактакишвили и называется «Похищение луны», вторая — «Мертвые души» Родиона Щедрина.

— Какого вы мнения о молодых солистах труппы?

ГРИГОРОВИЧ. В настоящий момент состояние молодежного состава балетной труппы Большого театра у меня, как у художественного руководителя, беспоконья не вызывает. Молодежь очень сильная, интересная, все они не похожи друг на друга, все разные. Достаточно назвать Семенюку, Павлову, Прокофьеву, Леонову, Акимову, Богатырева, Годунова, Гордеева, Цыбина. Впрочем, в таких перечислениях обязательно кого-то упущишь. Есть у нас и совсем молодые ребята, только что окончившие училище. Мои слова о том, что с молодежью у нас благополучно, относятся не только к солистам — интерес сейчас и кордебалет, почти целиком обновленный.

ПОКРОВСКИЙ. Сейчас в Большом театре есть много очень интересных, пока еще малоизвестных

молодых певцов, которым в скором времени предстоит занять ответственное, ведущее положение в труппе. Я не хочу называть их имен — многих уже слышали, а других вскоре услышат. Очень люблю работать с молодыми, получаю от этого большое удовольствие. Не только потому, что они голосистые, но и потому, что у них новое, очень своеобразное мышление.

ЛЮДМИЛА СЕМЕНЯКА

Каждый балетный исполнитель по необходимости — вундеркинд. Когда школьница шестнадцати лет становится актрисой кино, мы говорим, что это исключительный случай. А что сказать о девочках из балетного училища, выступающих с одиннадцатилет?

Людмила Семеняка двадцать четыре года, но на сцене она с девяти лет и уже исполнила Одиалло и Одетту, Манту и Жизель, Фринию и Ширин, Аврору и Валью в премьеры двухсотого сезона — «Ангар» Эпана... Всего партий почти столько же, сколько ей лет.

Семеняку («Семенячку», как ее до сих пор зовут в ленинградском Кировском театре, где она танцевала первые полтора года после училища) представить себе вне театра трудно. Вероятно, она затерялась бы в толпе: небольшого роста, детски тоненькая, хрупкая, словно только что сошедшая с картины Пикассо «Девочка на шаре», и челка чуть не до самого кончика носа. В обычном «дневном» быте Большого театра среди мажорных «бальных» балетных хаалтов в буфете, между старинной важности пухлых кресел в уборных, среди пепельных чехлов-политици в зале она выглядит чуть нервным, серьезным подростком. Но в глазах этого подростка — воля и пристальность, неистовое стремление к счастью и способность постичь трагедию. В этом взгляде подчас чувствуешь какую-то разгадку ее желанию танцевать героинь необычайных, судьбы неблагоприятные, крутые; жажду поймать и воплотить мгновение неосуществимости, такого напряжения, когда схлестнулись желанное и несбыточное.

Марина Цветаева сказала как-то, что поэт, по существу, пишет всю жизнь одно стихотворение. А балерина? Как бы ни была непохожи, отдалены друг от друга ее партии, она все-таки переключается между ними пить единой, избранной темы.

Люда говорит о Жизели:

— Жизель — это целостная натура, человек такого богатства, что, может быть, она столкнулась с несбыточным, но ничего другого принять не хочет. Она монолитна, цельна. Она не способна пойти на компромисс. Сколько она прожила — 14 лет? 17? — но это неважно. Пусть она погибла, но она прожила так емко, что познала все: и любовь, и страсть, и предательство, и прощение. Она осуществилась.

Зал встречает Семеняку аплодисментами: «Легенда о любви». Легкая, в белом одеянии взлетает — оживает на сцене юная Ширин. Мгновенно и круто судьба этой поначалу капризной, детски отдаленной от мира всеобщей юльмицы. Судьба — взлет от лукавого озорства, резкой шалости к героизму, к тяжелой огненности самопожертвования.

И когда в последней сцене в мятущихся, распахнутых арабских, словно белая голубка летит она по сцене, решаясь отказаться от Ферхад, своего любимого, потому что за время разлуки он стал нужнее целому народу, и она не имеет права его унести вразг чувствую нерв этой партии, этого образа где легкие поначалу движения становятся к концу целыми эмоциональными эпохами.



На снимках:

Людмила СЕМЕНЯКА — на репетиции,
Борис АКИМОВ — в сцене из балета
«Конек-Горбун» и Александр
ВОРОШИЛО.

Предельно насыщенными, предельно емкими.

Творческая судьба Людмилы Семенки сложилась легко и счастливо. Собылись все мечты: с детства — на сцене, с седьмого класса учащая имени А. Я. Вагачовой — участие в международных и всесоюзных конкурсах; она становилась лауреатом, победительницей, получила высший приз имени Анны Павловой Французской академии танца, премию Ленинского комсомола, с прямой логической последовательностью восходя на ступени успеха — но мир не замыкается, не становится более простым, а жизнь заданной.

Чем больше она раскрывается как балерина, тем шире становятся ее интересы, потому что она считает, что найти новые идеи для танца можно во всем.

Я не понимаю, не принимаю жизни, когда в ней нет напряжения, перегрузки. Мне сразу начинает чего-то не хватать. Поэтому я всегда больше всего не любила людей, которые не умели жить полно, скушали.

Балет с его хронометражной строгостью и геометрической точностью неизбежно воспитывает в человеке стремительность. Стремительность Семенки — это не просто повседневная дисциплина, строгая заглаженность движений, но и присловие: «Кто хочет много сделать, должен жить узко и глубоко».

Это желание емкости, наверное, и наполняет движение Семенки к образам все большей и большей сложности, многозначности.

Люда возвращается вновь и вновь к книгам любимого писателя — Достоевского, она мечтает о таком балете, где смогла бы воплотить главную его героиню — Настасью Филипповну.

А самый дорогой для нее образ — дерзкая и прекрасная Маргарита из «Мастера и Маргариты» Булгакова. Такого балета еще нет, но Семенка убеждена: мы еще сами плохо представляем себе возможности танца. Это сложнейшее искусство еще не раскрыло себя до конца, время балета только начинается.

БОРИС АКИМОВ

Борис Акимов начал с того, что танцевал трех принцев: в «Лебедином озере», в «Спящей красавице», в «Золушке». Казалось, ему открылся беспроигрышный сценический путь, но Борис искал другого — он вдруг захотел сделать своих принцев более активными, резкими. И в условных героях неожиданно стали приоткрываться какие-то узнаваемые, земные люди. В классических выстроенных партиях прозвучало вдруг приращение к современной манере поведения, раскованной пластике, динамичности нашего века.

Поэтому следующую исполненную им — современную — партию, Ильяса в «Асели», Борис считает своим вторым дебютом. Работая над этим образом, он нашел свою манеру, свое художественное кредо.

Говорит он об этом так:

— Мне нравятся современные герои. Современный спектакль — это балет, в котором всегда есть синтез: новые оттенки классики и модерн; есть выразительная простота. Но главное, современный спектакль дает мне больше свободы: я могу принять естественные, раскрепощенные позы, воспроизвести движения, которые нашел сам в жизни. Мы создаем новый язык для современности, смотрим и отбираем; в работе над новыми спектаклями исполнитель более активен, он как бы соавтор балетмейстера.

Сила одних танцоров — во внешней выразительности, в запоминающейся позировке; другим удаётся прыжок или вращение; Акимов наиболее интересен в пластике. Он «лежит» свое тело виртуозно, и способен передать тонкие оттенки состояний героя и своего отношения к нему.

Раздаются тревожно-победоносные аккорды, тяжелый занавес Большого театра распадается — и в заносчивой, фанатичной позе предстает зрителям фигура завоевателя Красса.

Его движения запальчивы, как жесты агрессивной марионетки. Его стихия — опьянение властью, возможность унижать, разрушать, уничтожать. Но это не Красс Лиопы, который придал своему тирану некую законченность, провинциальность — фанфарную чванливость, наигранное позерство, постоянный взгляд на себя со стороны: прекрасен, прекрасен... Красс Акимов не столько деспотичен, сколько своенволен. Вот он, идя впереди войска, капризно оттопырив губы... Да это же ребенок! Недозревший, неустоявшийся характер, он и себя-то не разгадал — не умеет пуст. Красс не страшен. Он жалок и смешон. Акимов с самого начала снимает со знаменитого героя ореол величия: брагурило-деревянные, петушьи движения сменяет он неожиданно ползучими, трусливо-размазанными. Так понимаешь, почему пощадил его Спартак, не уничтожил во время поединка: презрение свое показал, унизиться не захотел.

Но в то же время, если приглядеться к этому «завоевателю» повнимательнее, увидишь в нем словно вероятность другого поворота характера: он мог бы быть другим, в нем словно бы заложена крупная неуверенности. Да, Красс Акимов стремится подавить, но за этой агрессивностью проглядывает сомнение, какая-то внутренняя шаткость.

Суждения актера не бесспорны, он словно постоянно составляет возможность еще что-то предположить в своем герое...

Есть одна комната в Большом театре, которая дорога Борису, как никому другому. Трельяж, кушетка — гримерная солистов. Здесь два года проходила почти полностью вся балетная жизнь Бориса.

...Это случилось в 1970 году, после его первой гастрольной поездки за границу, в Италию. Внезапно опухли ноги, произошло нестерпимой болью. Он еще пытался заниматься, упражнениями заглушить болезнь. Стало хуже. Никакие домашние средства не помогали. А однажды на спектакле один из исполнителей вывихнул ногу. Не задумываясь, едва успев заgrimироваться, не остановив действия, Акимов вышел на сцену, на замену. Танцевал с болью, а на следующий день уже не смог встать. И тогда, обратившись к врачу, он услышал нечто обескураживающее: семь(!) внутренних переломов. Перетанцевал. Полная невозможность выступать. Врачи предложили инвалидность. Говорили о перемене профессии.

Профессия?

Балет — это профессия.

Балет — это судьба.

Он и был его судьбой с самого начала, когда Борю пришел в Московское балетное училище сам, тайком от домашних — в шестом классе. Его приняли в дополнительную группу для запоздавших. Борис еще увлекался тогда всем сразу: пел, рисовал, учился в музыкальной школе, был чемпионом Москвы по фигурному катанию среди мальчиков. Пришлось от всего отказаться. Это была не только школа балета, но и установление жизненного тона.

И теперь молодой солист черпал силы в том опыте стойкости. Он не мог танцевать, но он приходил в театр каждый день, в свою гримерную. Завел себе копирку, и, пока другие занимались в классе, он до-

жилась за пол и делал сложнейшую, им самим изобретенную гимнастику.

Так прошел год — время, достаточное, чтоб любой балетный актер полностью потерял форму. А Акимов усложнял свою «лежачую программу», наблюдал за собой, тонко фиксируя изменения. И, когда подобные внутренние переломы от перенапряжения случались у другого молодого танцора (мастера буйфондады и протекса В. Ворохибо), Боря помог ему, заставив заниматься рядом с собой.

И через два года сказал себе: «Все, пора».

За полтора месяца подготовки-восстановил сложнейшую партию — принца в «Лебедином озере» Чайковского. На спектакль пришла вся группа. В первом ряду сидели врачи. В успех просто не верилось... А он ступал. Наверное, тогда-то особенно сильно прозвучали полные, волевые и острые неканонические тоны в его пении.

А Акимов сразу стал готовить новую партию.

АЛЕКСАНДР ВОРОШИЛО

Пение — это отдача избытка сил, — так говорил великий Карузо.

Оперного исполнителя всегда представляешь себе волевым, могучим. Есть что-то монументальное в оперности. В оперу и приходит позже, чем в балет: начало — 25—28 лет (а бывает и позже: Нежданова пришла в профессиональное пение в 30!). Здесь привносит на сцену юную молодость, чем в балете — не возрастную, а артистическую, молодость поиска, критики, пафос новизны.

Таков и Александр Ворошило. В нем заключено и ощущение силы, устойчивости, возникающее от крепкой, плотной фигуры, и то излучирующее, просветленное и сосредоточенное обаяние, которое профессионально называется «певческое состояние».

Его сценическая манера соединяет два начала: порывы к экспрессивности, к открытому чувству и сдержанность — благородную, чуть замкнутую. Причем одно не противоречит другому, а как бы подчеркивает его. Ворошило строит партии так, чтоб в них звучали контрасты и переходы.

Ария Роберта из «Иоланты» Чайковского — «Кто может сравниться с Матильдой моею — одна из самых ошеломительных в мировом репертуаре. Герцог Роберт, жених Иоланты, вошел в общее сознание именно этой арией — ликующей, полетной. Его роль в опере невыигрышная — ведь он едет отказаться от невесты, которую представляет монашеской холодной и бесчувственной, во имя другой, и тормозит действие, ворчит, препятствует другу (Водемон — прекрасная работа З. Соткилава), главному герою, который и должен быть самым ярким и привлекательным. Но Ворошило трактует образ неожиданно: его Роберт словно разливает образ Водемона, кажется даже, что это один характер, только продленный во времени сопоставленный разным состояниям: Водемон стремится вперед в поиске чувства, Роберт оберегает чувство, уже обретенное. В обоих ясная романтическая чистота и поклонение любви, но один свободен, другой нет, один события гонит, а другой останавливает. Ворошило играет героя-скептика, для которого злоба — только защитная маска.

Петь Ворошило начал поздно: ведь в школе совхоза Майёвка Днепропетровской области, где он рос, не было учителя пения, и он увлекся музыкой только после армии. Поступил в музыкальное училище, но со второго курса его исключили — не было начального музыкального образования.

Он поехал поступать в Одесскую консерваторию и хотя на вступительных экзаменах по соффеждю не смог записать ни одного знака, но в приемной комиссии решил, что ноты знают многие, а голос такой, как у него — бархатный, пластичный баритон, — решил.

И он начал учиться, переживая огромные психологические трудности: неудачи на внутривузовских конкурсах, постоянное ощущение того, что другие подогнали лучше. Но решил не перегружать себя занятиями, а отбирать то, что казалось творческой необходимостью, было созвучно. Воспитывал себя: не озлоблялся, не замыкался, причины неудач искал только в себе. И к Александру пришел, наконец, успех: он победил на конкурсе имени Глинка, еще будучи студентом четвертого курса начал петь в Одесском оперном театре, затем стал лауреатом конкурса имени Марии Каналес в Испании...

— Иногда слушаешь классическую оперу, — говорит Ворошило, — и если отвлечься от слов и музыки, а воспринимать только голос и поведение певца, то не поймешь, в чем там дело. Пение такое безстрастное, жесты одинаковые, заученные, словно человек вышел просто отбыть на сцене. Кого я готов слушать бесконечно и учиться — это Елену Образцову и Владимира Атлантова. У них настоящее оперное искусство, они поют всем своим существом: самоотрешенно. Я считаю, что главное в пении — мысль, точное воображение того, что именно переживает и видит твой герой, способность переступить порог примерной — и совсем забыть о себе, полностью войти в другого человека. Тогда на сцене появятся и дышащий и хороний звук, само раскроется то, что есть «высший полетаж» в пении, в опере.

Духотворный сезон Большого театра был первым сезоном Александра Ворошило в Москве. Исполненные им партии Еленки в «Пиковой даме», Моралея в «Кармене», Илюши в «Октябре», ди Пола в «Дон-Карлосе» — каждая была проникнута собственным стилем. Однако он не спешит «захватывать» все новые и новые партии, избегая столь свойственной дебютанту «репертуарной жадности».

— Огнетна я петь еще не готов, — говорит он, — пожалуй, мы его представляем слишком простым сегодя, и этот образ нуждается в переосмыслении.

Теперь он готовится к работе экспериментальной — роли Чичикова в «Мертвых душах» Р. Щедрина, одной из наиболее сложных в этой опере-метафоре.

Наталья Астафьева



✱

Смеркается,
и розоватый
с раствором слабым купороса
свод неба побелен, как хата,
известкой, по старинке, просто.
Неощущаемый прибой
космического океана
вокальной крышей над землей
синеет матово-стеклянно.
Давно пропорот он насквозь
ракетами,

заснят на пленку,
но, как грозой груженый воз,
еще мерещится ребенку.

✱

Могла б давно я провалиться в ад,
в тартарары, сквозь землю,
в неизвестность,
когда б не сердца золотая песня,
когда б не твой, меня держащий взгляд.
Меня неудержимо тянет вниз
или возносит выхрем смертоносным,
но я держусь за нежность, как за остров,
как держится лунатик за карниз.
А если покачет меня недуг,
чтоб удержаться так немного надо:
кусты орешника или людского взгляда
восторженный и жалобный испуг.

✱

Вновь на дворе оживают
тысячи мет предвесенних:
ночью сквозь тонкие ели
в снег осыпаются звезды.
И невысокие тучи,
и невесомые тени,
чуть истончавшие сучья
да отсыревшие гнезда...
Вижу твой взгляд соколиный,
словно здесь синее поле,
словно вдвоем мы с тобою
в сене степном на покосе
или
над речкой летящей,
крепко держась за перила...
Пусть нас с тобою качает,
пусть нас с тобою уносит,
пусть далеко увлекает
необоримая сила!

✱

Ты огромным серым камнем
показался мне сегодня,
мне тебя хотелось сдвинуть,
окружить большой водою,
чтобы в ней сверкало солнце,
в брызги мелкие кололось,
чтобы в ней мелькали тени,
птиц рассветные зигзаги.
Воды сдвинули запруды,
льдины двинулись по водам,
глухо рухнули с обрывов
почерневшие снега...
Мы теперь вдвоем с тобою,
мы теперь с одной судьбою,
в нас теперь один прибор
ходят с ног до головы.

✱

На привычном бездорожье,
сердце в холодок закутав,
трудно различить в проходе,
кто прохожий, кто попутный.
Но, повери в невозможность,
лишь похожего замечу,
смело и неосторожно
я шагну ему навстречу!

✱

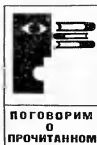
Я оживаю медленно и робко —
после дождя затоптанная тропка,
пока ее однажды не разроет
живучею железною травой.
Не думаю, тебя не вспоминая,
а просто очень трудно засыпаю,
и просыпаюсь медленно, часами,
и говорю невежливо с гостями.

✱

Любовь, как зонтик, надо мной раскрыта,
дождь скучных будней для меня
не страшен.
Безденежья глубокий снег, забот болото
пусть засосут, пока дышу — дышу любовью.
Над лесом — утренних лучей благословенье,
над полем — птицы, над тобой —
мое волнение.
Гнездятся птицы по любви
и пчелы в ульях.
Нет смысла людям без любви
в столах и стульях.
Над птицей — небо, надо мной —
твое внимание,
твое лицо, твои глаза, твоё дыханье.
Был страшный год, была война
и Хиросима
а я живу, а я люблю, а я любима.

✱

Дорога еще далека
нелегка,
пусть будет тебе легка
любовь моя.
Пусть будет песней в пути,
пусть будет сказкою,
пусть будет тебе цвести,
как солнце красное.



Борис
янчук

ПЕПЕЛ СТУЧИТ В СЕРДЦЕ



Копище... Село на Житомирщине, затерявшееся в глубоких, кажущихся непроходимыми, лесах на границе с братской Белоруссией.

Село это, как и многие другие села, ничем не отличающиеся друг от друга, растут достойную смену, пахнет, свет, собирает хлеб и голубоглазых лев.

Село как село, а присмотреться, вспомнить... На окраине от ветра колышется седая поляна. В зарослях нивняка и полыни замороз позадравтые глыбы со следами гари.

Здесь на рассвете 13 июля 1943 года головорезы гитлеровской карательной экспедиции расстреляли и сожгли живьем 2887 мирных жителей, из них 1347 детей.

Каратели «чисто» выполнили эту ужасную операцию: село исчезло с пламенем и дымом за несколько часов.

Фашисты были спокойны, они аккуратно придерживались приказа немецкого командования полиции города Житомира от 26 августа 1942 года, который требовал:

« (...) Пункт 8.

Запрещается фотографировать акты истребления в пределах немецкого рейха и за ними.

Запрещается также давать рас-

поряжения с целью фотографирования актов истребления лицам, не служащим в полиции охраны порядка.

Разрешения фотографировать в служебных целях могут давать только начальники государственной полиции.

Все ранее сделанные снимки забрать и уничтожить (...)»

Келле».

Но как ни старались фашисты замести следы кровавого злодеяния, они все же остались...

Житомирский писатель Алексей Опанасюк, с которым несколько лет мы вместе работали в редакции областной молодежной газеты, как-то показал старую фотографию, на которой запечатлена группа детей, оборванных, полуголых и босых, испуганно глядящих в объектив. Это они чудом уцелели, вырвались из огня и смерти, когда фашисты сжигали Копище. Где они сейчас? Как сложилась их судьба? Наконец, кто автор фото?

На эти и ряд других вопросов более десяти лет искал ответа молодой писатель. Письма-запросы, кропотливая работа в архивах на первых порах не приводила к успеху. И Опанасюк было прекратил поиски, ведь живых свиде-

телей в селе, по существу, не осталось.

Непредвиденная встреча с жителями Копища Ульяной Таргонской помогла развязать, казалось бы, навсегда завязанный узел...

Со всех уголков нашей Родины посылались письма от рано потерявших свидетелей, чья детская память навечно зафиксировала тот страшный июльский день, когда фашистские изверги загоняли их отцов и матерей, братьев и сестер в сарай и амбары, обливали бензином, жгли, расстреливали из автоматов, а бегущих и прятчущихся добивали в спелой ржи.

Так родилось правдивое повествование об одной из самых кровавых расправ фашистов над непокорными жителями, которые оказывали сопротивление оккупантам.

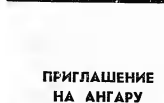
В одной только Житомирской области гитлеровцы расстреляли, повесили, сожгли и замучили 322 тысячи человек, в том числе большое количество военнопленных. Более 60 тысяч граждан увезли в Германию. Судьба Копища — судьба белорусской Хатыни и литовского Пирчюписа, чехословацкого Лидице и французского Ораура.

Трагедия украинского Копища и трагедия далекого вьетнамского села Сонгми, сирийского городка Эль-Кунейтра! Как они разительно похожи между собой, эти трагедии! Ибо и здесь и там действовала беспощадная и жестокая рука завоевателя, «почерк» которой не изменяется ни от места, ни от времени.

Там, где когда-то был центр села, — две березки и памятник... Женщина и старый партизан со знаменем скорбит над могилой. На мраморе три строки: «Вечная память 2887 землякам, зверски замученным немецкими фашистами во время Великой Отечественной войны в июле 1943 г.».

2887... Перед глазами кровавые отблески кошмарного пожара, пепел погибших стучит в наши сердца...

Документальная повесть «Копище» вышла в издательстве ЦК АКСМУ «Молодь». Предисловие написал известный украинский писатель Герой Советского Союза Юрий Збанацкий. Книга адресована молодому читателю, не знавшему ужасов войны.



«**Н**а Ангаре (издание «Советская Россия», 1975) — вторая автобиографическая книга Антонины Приставкина. Первой такой, на мой взгляд, была для него «Лирическая книга»

(1969). Трудно сказать, какая из них для самого автора «главнее», потому что обе они из тех книг, о которых принято говорить, что за ними — вся жизнь писателя. И дело не только и, может, не столько в автобиографичности обеих книг, сколько в характере творческих исканий автора. Отметим, кстати,

что далеко не всегда и не всем литераторам удается так выразить свою тему и себя в ней, чтоб можно было говорить об итогах.

Освоение Ангары для писателя началось без малого двадцать лет назад, когда студентом Литинститута он приехал на строительство Братской ГЭС, обрел здесь профессию гидростроителя, стал непосредственным участником превращения Ангары в реку электрическую, печатал свои «отчеты» на страницах «Литгазеты» (с них, к примеру, началось и мое знакомство с писателем), готовил свою дипломную работу на материале не из вторых рук, а добывая его собственными изысканиями и потом. Дипломные очерки Приставкина курировал Всеволод Иванов, сразу отметивший добросовестность автора, его цепкую наблюдательность. Затем были первые рассказы, опубликованные в «Юности», документальные повести, книжка «Мой современник» (1960). Между прочим, сибирские новеллы вошли и в «Лирическую книгу»...

Но вот когда годы и расстояния не отдаляют, а приближают писателя к истокам его творчества, тогда рождаются такие книги, как «На Ангаре». Широкая география Ангары — от Братска до Усть-Илимга и Богучана, усложнились масштабы и техника строен, обогащались опытом люди, приходили новые поколения строителей, поразному складывались судьбы возмужавших писателей, возникали острые проблемы... На грешное прошедшего десятилетия точнее можно было увидеть победы и поражения, понять, какой ценой оплачен Братск — первенец ангарского каскада...

Она вышла в серии «По земле Российской», но это, повторяю, не путевые очерки в привычном смысле, хотя в книге множество дорогих встреч и во всех ее десяти главах очень многолюдно. Есть в ней воспоминания об исчезнувших и вновь рождающихся пейзажах, рассказы о гибельных таежных пожарах и бесстрашных тушителях этих пожаров, об ученых-ихтиологах, о будущем Ангары... И какой-нибудь случайный разговор с шоферами о «горящих» кузовках, ярославских и ирменчукских шашлыках, о сделанных и тарифе, о диспетчерской службе, об ответственности перед то-

варианцами и прочих производственных «мелочах» оказывается по-настоящему интересным для нас именно потому, что и он исподволь, как бы ненароком, как все в книге, напоминает нам о старой и вечной истине: труд облагораживает человека. Эту истину наполняет главою и кровью не только фактическое богатство книги, где немало даже чисто статистических данных, но главное — нравственная позиция автора и его героев.

Как всякое правдивое свидетельство о времени, книга «На Ангаре» дает обильную пищу историку, экономисту, социологу... Но не это главное в творчестве Приставкина. О чем бы он ни писал, в каждой строке его ощущается атмосфера необычайно проникновенной человечности, которая, собственно, и отличает художественную книгу от любой другой. Не говоря уже о том, что живой диалог занимает едва ли не половину ее текста. Без него книга просто утратила бы свое обаяние. Как и без своих молодых, бесспорных героев.

«Давай, Братск, встретись!» — названа одна из главок. И вся книга это приглашение на Ангару, на великие сибирские стройки...

Виктор
РОМАНЕНКО

«ПОДЗЕМНЫЕ РЕКИ»

Наверное, не случайно латвийский поэт Алгимантас Балтанис назвал так свою новую книгу стихов на русском языке («Подземные реки», «Художественная литература», 1975). Подземные реки — это постоянно меняющиеся, подспудные течения поэтической мысли, подчас — ищущие причудливые пути, это — глубинное в духовной жизни самого поэта, что книга еще не выплеснула на поверхность, но вот-вот выплеснет, сверкнув данной новизной и глубиной.

Прошло шесть лет со времени выхода предыдущей книги поэта на русском языке. («Пешая птица», «Вага», 1969).

Кредо его поэзии звучит так: «20-е в реальный верит хлеб, в стракции руками проверяя». «Первое поколение

Анатолий
АЛЕКСИН

Как хорошо,
когда ты, ученица
идеям!



Здравствуйте, друзья из «Юности»! Я знаю, что молодые люди самых разных специальностей пишут вам о своих проблемах и иногда даже просят помочь им. Ваш журнал часто публикует очерки о выборе молодыми жизненного пути, в которых речь идет и об отношении к скромным профессиям людей, работающих в сфере обслуживания. Поэтому я обращаюсь к вам, надеясь, что и мое письмо покажется редакции заслуживающим внимания.

Пять лет назад приехала из с подругой держать экзамены в Московский университет. Обыкновенная история — не прошла по конкурсу. Но из Москвы решила пока не уезжать, а устроиться на работу и поступить на подготовительные курсы. Так через некоторое время пришла я работать в бюро добрых услуг московской фирмы «Заря».

В чем она заключалась, первая в моей жизни работа? Комплексы бытовых услуг: легкая уборка квартир, или досадная чистка и подкраска, или помощь престарелым и больным людям, или уход за ребенком. Моя должность называлась длинно: агент по бытовому обслуживанию населения. Мне повезло: с самого начала мастер поручила мне уход за маленьким ребенком. Я боготворю детей, и эта работа была для меня самой подходящей. Семья оказалась прекрасной. За три года моей работы в этой семье мы с ребенком так привязались друг к другу, что его родная мать стала меня ревновать: он звал меня «тетя-мама», и бежала я к этому Сашке, как к родному сыну. До сих пор мы не забываем друг друга. Родители мальчика зовут меня, приглашают в гости, даже выручают, когда тяжело бывает, словом, настоящие друзья.

Были у меня и старички-пенсионеры, с которыми надо было погулять на улице, сваришь обед, почитать книгу, даже просто поговорить. Магазины, аптека, уборка — уставала неимоверно, но чувство, что в тебе нуждается кто-то, и благодарное отношение людей окупали все. А как приятно приносить людям цветы, неожиданные подарки! Особенно, когда свадьба.

Но иногда приходится иметь дело с недоброжелательными людьми, капризными. И отношение к нашей работе разное, часто пренебрежительное, барское. Бывали случаи, когда наши девочки чувствовали себя униженными. Приходишь с намерением помочь людям (заказана уборка квартиры), а хозяйка, молодая и зловредная женщина, лежит на диване, делает замечания, сама же и пальцем о палец не ударит. На лице такая ухмылка, что пропадает всякое желание помогать ей.

Я приехала в Москву совсем девочкой: восемнадцать лет, масса иллюзий — «все люди хорошие», мечта — университет. Конечно, когда встречаешь разных людей, общаешься с ними, взрослеешь, начинаешь многое отчетливо видеть и понимать; я довольна, что у меня именно так сложилась жизнь, несмотря на трудности, — без них не поумнел бы. Но ведь можно и ожесточиться...

Иные спрашивают: «Без образования, наверное? Хотя все-то классов кончила?» Когда узнают, что учишься в институте, то скорее неприятно, чем радостно, удивлены. Обращаются исключительно на «ты»... Да это ведь у них, а не у меня отсутствие культуры!..

Вот случай. Одна семья попросила через нашу фирму помощи по хозяйству на полгода. Поручили этот заказ двадцатилетней девушке, очень милой. После знакомства с этим домом девочка пришла бедная, расстроенная, у нее был сердечный приступ. Оказавшись, там был собран семейный совет, на котором заказчики возмущались вслух: «вдому горе-мама? А иначе зачем ей было уезжать из родного дома? Если не сорвет, значит, имеет какие-нибудь пороки. А бедняжка пришла к нам с открытым сердцем — с искренним желанием просто помочь этим людям.

Или когда дюжий мужчина ходит по квартире в нижнем белье при тебе. И чувствуешь, что для таких ты не существуешь как человек.

Часто приходится сдерживать слезы. Хочется, чтобы изменилось у людей отношение к службе быта. Ведь именно поэтому у некоторых девушек нашей профессии вырабатывается комплекс неполноценности и они скрывают от знакомых и родных места работы. И я не могу примириться с этим: разве мы, непосредственно приносящие своей работой людям радость, заслуживаем меньшего уважения, чем другие молодые люди, не попавшие в вуз и с помощью родителей отыскивающие теплое, не слишком хлопотливое место? Разве наша работа менее почетная?

Ведь службу быта называют службой улыбки. Улыбнитесь и вы нам, пожалуйста.

Светлана АФЛИЯН

ОТ РЕДАКЦИИ:

Очень важные нравственные проблемы затронула Светлана в своем письме. И хотя все мы с самого детства знаем слова: «Ничье всякий труд почет», — попадаются еще некие личности, которые делят профессии на «чистые» и «нечистые». Со временем их, конечно же, не будет, но пока они еще портят жизнь и Светлане и ее коллегам в очень нужном, очень важном и очень благородном деле — в оказании людям столь необходимых им бытовых услуг. Недаром Леонид Ильич Брежнев, обращаясь к работникам сферы обслуживания с высокой трибуны XXV съезда, сказал: «Товарищи, от вас, от вашего труда во многом зависит и благосостояние, и настроение советских людей».

Мы надеемся, что и работники сферы обслуживания и вообще читатели «Юности» напишут нам о том, какие мысли и чувства вызвало у них письмо Светланы Афлиян.

Владимир Леонovich



Буксирчик,
отрывисто воя,
взбирается вверх по реке.
Пыхтенье его паровое
в ночной тишине,
вдалеке.

И барку
и долгую сплотку
на плёс он выводит,
вздыхнув.

Его обошла самоходка,
как стерлядь,
бортом полыхнув.

Натягивается —
провисает —
как в прорыв
уходит канат...
Костер на откосе
мерцает,
светила над Волгой
горят.

Невидимо,
бремя какое,
невидимое самому
он тянет,
буксуя и воя,
приветствуя Кострому.



Сердце падает и бьется.
Постою возле болотца,
где зимуют камыши.

Легкая трава сухая
шелестит, не утихая,
еле-еле, без души.

Небо ясно, поле чисто,
солнечно и леденисто —
слепнешь — выйдешь из леса.

Там угор, а там деревня,
там живет моя царевна —
столь пригожа — тонь баска¹.

Семь домов, да лес, да полс.
Это кто!
Она ли, что ли!

Тропочка — не разойтись.
Ближе,
ближе,
ближе,
ближе —
— Здравствуй... Ничего не вижу.
— Здравствуй, милый.
— Здравствуй, жизнь...

Сентиментальные стихи

Фотографический портрет
в просторной северной избе,
где встречен ты и обогрет
и рады угодить тебе.

Простые мягкие черты.
В глазах — печаль судьбы чужой.
— Ты кто! И где была! — А ты! —
И говорит душа с душой.

А где я, правда, был тогда,
когда я молод был
и слеп и глух... Забыл! Ах, да,
ведь я — одну любил.

Боялся счастья — не беды,
боялся счастья своего —
такого ясного... — А ты!
— Я не любила никого.



Сквозь дождь
и дерево нагое
свет фонаря едва прошел —
и ломкой золотой дугой
широкий
вспыхнул ореол.

И поэтическое зреньё
подобную
имеет власть —
и жизнь
вокруг стихотворенья
сомкнулась
и переплелась.

Я вижу свет
перед собою
и жизнь кругом —
и вся она
и каждая черта —
любовь
осмыслена,
озарена.

¹ Так хороша (диалектно).



Александр
ШВИРИКАС

ТАЕЖНАЯ ДРУЖИНА

Рисунок
В. БЫЛИНКИНА

Сургут встретил его густой машинной армдой, рвущейся к промыслам и буровым. Надменно фыркали оранжевые «Татры», лязгали трубопроводы, нервно обходили игрушечную машину Соловьева вахтовцы «Уралы». Все торопилось работать, и прогулочный вид серых «Жигулей» раздражал водителей. Соловьев сосредоточил все внимание на управлении машиной. Это позволяло хоть на время выкинуть из головы вопрос, который не давал ему покоя всю длинную дорогу: почему его так неожиданно отозвали из отпуска? Чем объяснить спешный вызов к начинающему нефтеразведочной экспедиции?

Миновал Сургутский речной порт, «жигуденок» подъехал к двухэтажному, обшитою досками «в елочку» зданию конторы. Соловьев еле нашел место для стоянки среди дежурных «газиков» и вахтовок. Наконец определился рядом с точно такой же «Жигулей», узнав по номеру машину бурильщика из своей бригады Эдуарда Чернышева. Зацепив ручку, Соловьев ловко выскочил из машины. Ладный, в спортивного крой курточке, коротким кинком отвечая на приветствия, он пропел в контору.

Эдуард Чернышев стоял в коридоре в клетчатом ярком пиджаке. Разделся, видимо, в кабинете Жоры Полторака — бывшего своего помощника, который работал теперь в конторе. Сам Полторака тут же, выскочив, поджарый — идеальное сложение для верхового. Отчаянно жестикулируя, он что-то объяснял Эдуарду. Издали заметив мастера, Чернышев вдруг придержал собеседника за рукава, как обычно делают люди, желая замаять разговор при свидетеле.

— Привет отпускникам! — протянул он Соловьеву руку.

Мастер не почувствовал в его веселом возгласе удивления. Значит, этот спешный вызов не был для Чернышева неожиданностью.

— Всего недельку и погулял, — сказал Соловьев как можно беззаботней. — Не дали отдохнуть как положено.

Эдуард улыбнулся, по ничему не сказал. Мялся и Полторака, всегда щеголявший своей осведомленностью.

Вдруг он неловко пригнулся к Соловьеву. — Не выходит из меня кабинетного работника, я обратно в бригаду надумал. Возьмете?

Вот так-так! С чего это вдруг?.. Обнадеживать Жору Соловьев не мог, бригада была укомплектована полностью, пожалуй, впервые за три года.

— С удовольствием бы взял, да некуда, — тебе ж это известно, — испытующе посмотрел он на обоих. От мастера не укрылось, как перегибались Полторака и Чернышев, словно и впрямь знали что-то неизвестное ему.

— Известно, известно, — поспешил успокоить его Полторака. — Я так...

Но Соловьева было трудно провести, и, шагая по коридору к кабинету начальника, он думал, что неспроста затеял Жора этот разговор.

Начальник Сургутской нефтеразведочной экспедиции Николай Михайлович Морозов сидел за столом в кожанке, делающей его похожим то ли на легчика, то ли на комиссара, седой, плотный, басовитый.

— Ну вот и Соловьев! — обрадованно протянул он. — Догулять не дал. Покорно прошу прощения... Но свидеться нам есть нужда. Иначе ты, мастер, будешь поставлен перед фактом. А у тебя самолечение, с которым мы договорились считаться.

Владимир понял, что имеет в виду Николай Ми-

хайлович. В прошлом году без согласования с ним в бригаду направили двух буровиков. Соловьев так решительно начал бороться против вмешательства в кадровую политику молодежной бригады, что Морозов тогда же заключил с ним джентльменское соглашение, которое старался выполнять.

— На днях мы получили из Главка план на будущий год! — сказал Морозов. — Понятно, мы ожидали достаточно высокого задания. Это можно было предвидеть. «Лучшая экспедиция министерства», «передовые бригады страны» — все эти титулы нам дали не для любования собой...

Николай Михайлович откланился и сказал неожиданно тихо:

— Но такого подарочка мы не могли предвидеть. Еще раз блестяще подтвердился парадокс: ходить в передовиках крайне невыгодно. Нам надо будет бурить на тридцать тысяч метров больше, чем предполагали. На тридцать! — Он замолчал.

— Тридцать тысяч — план целой бригады! — влез в паузу Соловьев.

— И хорошей бригады, заметь, — привинулся к нему Морозов. — Короче, надо создавать дополнительную бригаду, быстро, с первых дней бросить ее в дело. Мне предлагают перевести к нам неплохой коллектив из одной расформированной экспедиции. Но это значит надо срочно искать сорок квартир для новеньких. Сорок! А у нас... Сколько в твоей бригаде заявлений на квартиру?

— Восемь остронуждающихся, — быстро ответил Владимир.

— И в других не меньше, я знаю. — Морозов вздохнул. — Мало еще строить, плохо строить для первооткрывателей. Но не об этом сейчас разговор. Бригаду все равно создавать надо. Мы решили собрать ее из своих резервов.

Морозов выключил крикунный было селектор. — Каждая из бригад экспедиции передаст новенькой пять человек. Такая же разрывка на твою бригаду. Маневр спасет нас. Ну как?

Мастер молчал. Слишком неожиданно свалилось на него это известие. Пять человек — легко сказать! С таким трудом удалось сколотить свою «сборную», вывести ее в число лучших бригад Главного геологического управления. И вдруг на взлете потерял чуть ли не четверть состава!

— Пять человек! — жестко повторил начальник экспедиции. — Ты должен представить мне завтра список. И пойми одно: вы отрываете от себя людей не в штрафную роту, а для выполнения очень серьезного задания.

Впрочем, Морозов сейчас же пожалел, что произнес обязательное в общем-то предупреждение. Ему очень захотелось сказать что-нибудь ободряющее растерянному, как мальчишка, мастеру. Но он не имел права на это. Он и так позволил Соловьеву самому принять решение, хотя в его власти было просто отобрать у него пяток лучших буровиков. И все же Морозов избрал хлопотный путь. Думая о новой бригаде, ветеран нефтеразведки не забывал, что надо еще и сохранить единственную в Сургуте комсомольско-молодежную бригаду геологов.

— Николай Михайлович! — оторвал взгляд от пола Соловьев. — Мне нужно вылететь на буровую. Разрешите!

Морозов сделал вид, что очень удивился просьбе.

— Пожалуйста, пожалуйста. К тебе в бригаду завтра направляем Зверева. Можешь лететь с ним. Впрочем, это совсем не обязательно. Передай список и спокойно догуливай очередной. Больше уж не потревожим. — Он пробасил эти фразы торопливо,

словно не перил в реальность своего предложения: кто-то, а он хорошо знал молодого мастера.

В коридоре Соловьев встретил еще одного бурильщика. В руках Василия карточка на получение зарплаты, глаза весело поблескивают. Сульдин потряс узкую, совсем мальчишескую ладошку мастера. Он доволен. Хорошо «закрыли» месяц.

— Мотор присмотрел... «Москву». Деньги как раз кисти, — повертел он в руках бумажку. — Советуете?

Соловьев утвердительно кивнул. Если человек покупает здесь лодочный мотор, значит, надо его прибить к берегу. Примета верная. Он рассказал Сульдину о разговоре с начальником экспедиции.

Василий смотрел на мастера с видом человека, который только из учтивости вынужден слушать анекдот с бородой. Владимир понял: Сульдин, как и Жора, уже в курсе.

Но почему он так спокоен? Соловьев еще не успел прикинуть варианты, еще сам не знал, что предпринять, а Сульдин, похоже, уже решил, что все предстоящие перемены его не коснутся.

Василий небрежно спрятал карточку в карман пиджака, словно дипломат «визитку». Мастер проводил взглядом бумажку и тут же сообразил, чем объясняется эта уверенность бурильщика. Что ни говори, определить ценность работника очень просто: достаточно заглянуть в его расчетную ведомость. Победителей не судят, тем более не отдадут их в другие бригады.

У мастера к Сульдину претензий не было. Буровик грозненский закалки, оп. оказавшись в Сургуте, круто взялся за свою вахту и в погода вывел ее в лидеры. Хорошая вышла вахта. Такую нельзя раздирать. Сульдин, конечно, понимает это.

— Мастер, у меня Ненашев приболел. Промерз в своей «лодке». Его бы не надо... Он замылся было, но быстро нашелся: ...Не надо от меня отлучать. Верховой из него цепкий получился.

— Где он? В больнице? — забеспокоился Соловьев. — Да нет... Бойтся в больницу идти. Хворает пока в счет выходных. Не хочет пропускать перевахтовку.

— Передай ему, чтоб не мудрил. Пусть оформляет бюллетень и спокойно болеет. Останется он в твоей вахте, я обещаю, — сказал Соловьев и, наскоро прощавшись, зашагал в кабинет заместителя главного инженера Дмитрия Степановича Зверева.

— Чем обязан? — спросил Зверев, когда Владимир вошел. Спросил сухохотом, но выпятные глазки его были хитры.

Соловьев объяснил, что ему надо лететь на буровую. Зверев ничем не выказал своего удивления. Только сейчас он заметил, что мастер расстроен. У них с Соловьевым давно сложились близкие отношения. Строгость Дмитрия Степановича лишь прикрывала его привязь к мастеру. Было в характере Соловьева то, что с лживой искуполю недостатком опытного: он не боялся нового, сложности. Но, презирая сложности, он не боялся и осложнений, а этому противилась осторожная натура Зверева. Потому так безжалостен бывал он иногда: «остуживал» слишком горячего, по его мнению, мастера.

Узнав, что Соловьев только что от Морозова, Дмитрий Степанович сразу понял и причину подавленного настроения Владимира. Ему самому не раз приходилось раньше бывать в подобных ситуациях. Сколько «спелых» буровиков взяли из его, известной на Севере в прежние годы, бригады. И каждая потеря всегда казалась невосполнимой.

— Ты вот что, — сказал Зверев мягко, — носа-то не вешай, я в твоей шкуре не один годок похода. Ког-



да у меня Нажмитдена забрали, думал, рассыпалась моя бригада! А что вышло! И моя, слава богу, еще погрела, и Жумажанов стал мастеровать не хуже. Теперь вот Герой, мой Нажмитден! Вся страна к нему за опытом ездит.

Соловьев нахмурился. Гордость мастера страдала, когда ему ставили в пример Жумажанова, бригада которого была основной соперницей его бригады. Слишком часто двум мастерам приходилось вспоминать друг о друге. На очередной рекорд бригады Жумажанова Соловьев отвечал своим. А Нажмитден Уаклаевич снова готовил скорпиз. Не будь этого пристального интереса друг к другу у соперников, этой истовой «демонстрации силы», вряд ли бы обе бригады двигались так ходо. Часто приходилось им довольствоваться ничьей, но это была всегда не примирительная, а подхлестывающая обоих ничья.

— Надоело в бригаду собираться? — спросил Зверев.

— Дела надо повернуть...

— Ясно, не для прогулки летишь в самом разгаре отпуска. Тогда уж заодно и новую точку посмотри. Она там рядышком. Место хорошее — глухаринное...

— Как рядышком? — вскинулся мастер, и Зверев почувствовал, что решение руководства экспедиции застало отпускника врасплох. Слишком много новостей для одного дня.

— Мне же обещали совсем другой номер, здесь, недалеко от Сургута, — горько сказал Соловьев.

— Не прошел номер, — Дмитрий Степанович снова напустил на себя строгость. — Вы остаетесь на Севере, а вашу скважину будет бурить новая бригада. И тебе меньше переезжать, и новичкам полегче. У них — первый блин, войди в положение.

Он прищурился.

— Или твоим рекордсменам подарить легкие метры, а новая бригада пусть ковырнется на глубокой северной скважине? Так, что ли?

Зверев был обдуманно безжалостен. Ему хотелось, чтобы Соловьев наконец понял: бригаде, названной в прошлом году вместе с бригадой Жумажанова лучшей по министерству геологии, надо защищать титул не в тепличных условиях. Требовать снисхождения, поблажек Владимиру не к лицу. Обязан он осознавать, что интересы его бригады должны быть подчинены политике экспедиции. Сейчас лидеры-одиночки не делают погоды на крупнейшем нефтеразведочном предприятии страны. Только общий рынок гарантирует им успех. Для этого необходимо поставить бригады в условия, соответствующие их силе. И место Соловьева — на самом краю карты, на глубоких скважинах, где каждый метр дается трудно.

— Выедем завтра с утра, — сказал Зверев, пряча фотоаппарат в футляр. — Если, конечно, погода не задержит. Впрочем, тебе виднее, у меня дома своей метеостанции нет.

Намек был достаточно прозрачный. Жена Соловьева работала синоптиком, и ему часто приходилось выслушивать подобные колкости.

— За погодой дело не станет. — В первый раз за сегодняшний день Владимир улыбнулся.

И Зверев подумала, что этот парень все же недостаточно молод для такой солидной должности — буровой мастер.

Пропрошавшись, Соловьев забежал на радио предупредить ребят, чтобы задержали вахты, собирающиеся на выходной. Он решил провести на буровой общее собрание. У аппарата дежурил старший дизелист Капустин. Капустин слушал голос мастера, далеко отставив трубку, досадливо морщась от сильного фона. В трескоте и гуле половину слов было

не разобрать, несмотря на то, что Соловьев, по правилам, несколько раз повторял фразы. Капустин только изредка нажимал кнопку приема, подтверждая, что понял своего собеседника. Надо быть недоуной, чтобы не сообразить, о чем шла речь. Питеро человек должен вылететь из бригады. Что тут непонятного?

Капустин взял ведерко, чтобы принести воды, и пошел, поскрипывая снежком, к берегу протоки. Он шел беззаботно, насвистывая что-то из репертуара любимого певца, сам не сознавая еще, что же у него получается.

А выставлялось вот что: «Третий должен уйти». Ситуация и впрямь смахивала на песенную.

Капустин разделил с мастером самый сложный период его буровой биографии. Владимир и сейчас молод мастеровать, а застал его дизелист и вовсе начинающим. Незаметно Капустин стал другом и первой опорой мастера. И хотя раньше в штатном описании не числилась должность помощника мастера, он, по существу, взвалил на себя эту несласкую ношу. Так продолжалось до недавнего времени, когда выбили штатную единицу для официального помощника и с Капустина эти полномочия сняли. Ему бы радоваться — можно наконец вздохнуть свободнее, но Капустин не испытывал облегчения. Помощником назначен Анатолий Смирнов, давний приятель обоих, бывший бурильщик. Он, понятно, лучше разбирается в самом бурении.

Капустин шел по узенькой тропке. Снег в неясном свете фонарей казался серым, как застывший цемент. Идти по легкому морозу приятно. Колочий декабрь присмирел, перед тем как зызнться норовистым рождественским морозам. Полукругом обступили буровую крепенький кедрач. Пар от котельной, подсвеченный фонарями, перетягивался через переплеты стальных ферм, казался зеленоватым.

Капустин заметил на льду протоки дизелиста Певцова, своего помощника, и одного из Шигаповых — Рената. Парни пробовали сдвинуть установленный на салазках центробежный насос.

Этот насос не числился в хозяйстве старшего дизелиста. Ему бы зачерпнуть водички да идти обратно, чай кипятить. Да и Певцову нечего было делать возле «чужого» насоса. Мало ли на буровой своих забот? Но Капустин уже не мог думать о чае.

— Эй, слесари-одиночки! — крикнул он весело. — Где вапша малая механизация?

— Нет у нас лома, — узнал его Певцов. — Не думай, что понадобится.

— Перекурите пока! — великодушно разрешила Капустин. — Сейчас принесу.

Он принес лом и, тюкая им, как посохом, пошел по льду, уверенно ступая в своих огромных валенках с головами, склеенными из автомобильной камеры.

— Ну, тятя, ты как Дед Мороз! — приснул от смеха Певцов.

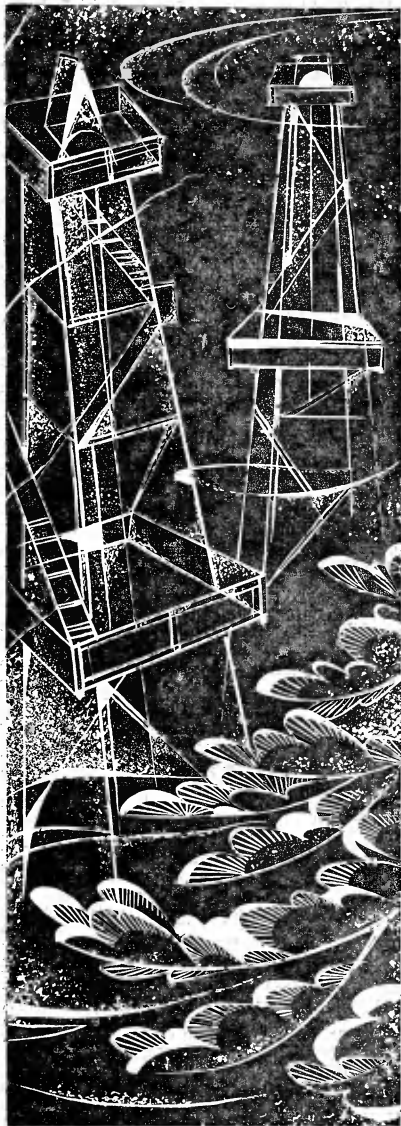
Это привычное обращение помощника сейчас было не по душе Капустину.

— Какой я тебе «тятя»! — пробурчал он, отдавая лом. — Я сюда не за пенсией, а по комсомольской путевке прибыл.

Капустин предусмотрительно умоалчал, что это была уже вторая с его жизни комсомольская путевка. Первую он отменил на алтайской целине. Хотел и братьев в Сибирь сманить из Курска. Тогда не удалось. А вот на нефтяную целину перетянул обоих, да еще и батьку захватил.

Втроем взялись за насос. Ренат впереди, Певцов сбоку.

— Раз, два, три, — скомандовал Капустин. Они рванули. Салазки заскользили неожиданно легко, так



что Ренату пришлось быстро перебирать погами, чтобы не упасть. Под тяжестью скользящего насоса лед рассыпался треснул, и Ренат почувствовал, что теряет опору. Когда вода охватила ноги выше колен, судорожно уцепился за выступ насоса. Капустин первый сообразил, что произошло, с удивительной быстротой наклонил салазки, чтобы переместить центр тяжести, крикнув Певцову:

— Давай назад!

Тот сорвался вперед быстро. Они откатили насос с выси на нем Ренатом на безопасное расстояние. Смутное лицо Шиганова бледнело на глазах. Шерсть на утах висела сосульками.

— Шаманского со льдом захотел под Новый год? — буркнул Капустин, огляывая парня. — Марш в вагончик! Там в шкафу мои ватные брюки и меховые носки. Чаю покрепче завари. И — спать!

— Мне нельзя, — стараясь выглядеть беззаботным, сказал Ренат. — У меня вахта.

— Бурлишка я предупрежу, — отрезал Капустин. — Найду тебе замену.

— Я его подменю, — быстро вставил Певцов. — Дело не новое.

— И то ладно, — смерил его оценивающим взглядом Капустин.

Занимался насосом. Буровая ждать не будет: у нее жажда измеряться не ведрками... Они возлизили добрые поалчас. Когда снова подседелодин фланец к укатанной стекловатой трубе и насосик затархтел, Капустин повернулся к Певцову.

— Знаешь, комсорг, Соловьев завтра здесь будет. Собрание надо проводить.

У нас только-только собрание прошло, — насторожился Певцов. — Чего вдруг такая спешка?

Он внимательно оглядел Капустина раскосыми степными глазами. «Тяжка» — мастак на розыгрыши. Но, похоже, Капустин не шутил.

— Ну, ладно, хватит прохлаждаться, пора и своим делом заняться, — сказал старший, грея задувшиеся руки в рукавах полушубка. — Пошли.

По дороге на буровую он рассказал комсору все, что знал.

На буровой слякотно, шипит пар в трубопроводах. Проекторы высвечивают площадку, словно сцену. Около бурлишки Василия Трунова, чуть сзади, чтобы не помешать ему, стоит помощник мастера Анатолий Смирнов. Несмотря на глубокую каску, похожую на солдатскую, вид у него совсем не военный. Капустин решил сразу же доложить о недавнем разговоре с мастером. Ему пришлось говорить довольно громко — мешал шум работающих дизелей. Трунов, рука которого лежала на отполированной многим ладонями рукоятки рычага, наверняка тоже услышал старшего дизелиста. Он так нажал на рычаг, что стрелка индикатора сразу плеснула вправо, показывая, что нагрузка увеличилась. Трунов явно перестрадался. Смирнов сдвинул брови, но ничего не сказал бурлишке. Капустин старался говорить как можно беззаботней, обычным шутливым тоном. Но это удавалось плохо. А Анатолий молча переводил взгляд с прибора на чуть сутулую спину бурлишки, старательно избегая встретиться глазами с давним товарищем. Он, конечно, сразу понял тревогу Капустина. Один из них, по всей вероятности, может оказаться «третьим лишним». Никак не предполагал Смирнов, что придется ему когда-нибудь стоять на площадке под перекрестным светом прожекторов и так неуклюже уклоняться от взгляда друга.

Любой вариант оказывался для помощника мастера проигрышным. Самое скверное, если из бригады попросит его. Встретит в новый коллектив, где сорок незнакомых людей, сорок характеров, к которым надо привыкнуть! Смирнов всегда завидовал уме-

нию Соловьева незаметно и просто сходиться с людьми, требовать, не попуская, примирять, оставаясь непримиримым. Этой гибкости так не хватало пока ему самому, и он знал, что еще не готов сам принять бригаду. Никакие курсы мастеров не могли бы его выучить так, как ненавязчивая и требовательная помощь Соловьева... Неожиданно Капустин поморщился, слыша музыку, уловивший фальшь. Смирнов тоже вслушался, пока не поняла причину странного поведения друга. Честно, со сбоями, выпела насос — видно, под клапан попал посторонний предмет. Теперь уже никакие ухищрения бурлишка не могли поддать давление промывочной жидкости, которая вращала турбобур на двухкилометровой глубине.

Трунов, раздраженный тем, что его усилия оказываются напрасными — еще полчасца назад долото плао, как в репу, — давил на рычаг, но стрелка упорно клонилась влево. Разгоряченный бурением и странно беспокойный после появления Капустина, Василий Иванович не знал, что делать. Он еще надавал рычаг, что было совсем уж неосмотрительно.

Надо было что-то предпринимать. Капустин решительно сделал шаг к бурлишке и прокричал ему в ухо, перекрывая гул буровой:

— Останавливай бурение — насос отказал!

Трунов повернулся к советчику. На лице его было недоумение. Почему тот командует, когда на площадке есть помощник мастера, приказу которого только и должен подчиняться бурлишка? Василий Иванович отсыскал взглядом Смирнова. Может, он пресечет это явное нарушение субординации? Не в том ранге сейчас Капустин, чтобы отдавать распоряжения руководителю вахты. Но, к удивлению Трунова, Смирнов спокойно выдержал этот взгляд. Капустин рассудил верно. Если они станут продолжать бурение, того и гляди затянет турбину. Пытаться выгнать лишний метр прохода, они могут оказаться в ловушке. Странно, что бывалый бурлишка не понимал или не хотел понять этого. Осторожному Трунову такая нерассудительность несвойственна. Что-то произошло.

Трунов ждал команды.

Надо играть подьем, Василий Иванович, — Смирнов сказал это спокойно, словно решение пришло к нему не сейчас, а гораздо раньше.

Капустин уже бранил себя за отсутствие выдержки. Но то, что Анатолий поддерживал его, не расценил его порыв как подкол под свой авторитет, разом успокоило бывшего помощника.

— Пока вы будете поднимать трубы, мы тут посмострим насос, — сказала он чуткому выномоту.

Впервые за всю их беседу Смирнов посмотрел ему в глаза озорно и свободно.

Он узнавал Капустина. Этот несносный, по-крестьянски прижимистый куряний перестроится со всеми, а не даст загонять и без того дряхлое оборудование. Он даже позволит ради сегодняшних рискованных метров забыть о завтрашнем дне. И он тысячу раз прав!

— Давай, — сказал Смирнов, — действуй.

Ничего, кажется, не изменилось. Но только сейчас помощник мастера понял, что самый несезельный вариант — если уйдет Капустин. Он был пухлей тайге промывающей тайге буровой, любой звук которой улавливал абсолютным слухом музыканта.

Вахта начала подъем. Ловко, как матрос по вантам, взлезает по гулкой железной лесенке на двадцатиметровую высоту верховой Михаил Сарваров. Подъем с былой глубины операции длительная. Сто спаренных труб — сто «свечей» — предстояло извлечь из скважины, и каждую Михаил, крепко при-

тороченный к выше монтажным поясам, должен поимать.

Автоматический ключ отвинчивал первую свечу. Пока канива держал коловну, помощники крючками отводили поднятую свечу, а Сарваров наверх по-могал им.

Трунов дыгал рычажками пульта, направляя авто-мат. Уйдя в работу, он на время отлекался от своих несведель дум. То, что он нисколько подслушала, не было для него большой неожиданностью. В комсо-мольских бригадах всегда остро стоит проблема омоложения коллектива. Люди в его возрасте не должны обольщаться. Похоже, Трунов противился естественному ходу событий: решил доказать осталь-ным — не растратил еще запас уместости, несмотря на критический возраст и надоедливые радикалы!

Известие, которое принес Капустин, лишь подстег-нуло его. Трунову очень нужны были метры, потому он и не хотел начинать подъем. Метры позволили бы смеже Трунова «достать» наконец смену Василия Сульдина. Но теперь по распоряжению Смирнова пришлось извлекать инструментом. Трунов сразу подумал, о том, что благодаря незапланированному подъе-му его сопернику достается чистое бурение и, знач-ит, незначительный пока отрыв станет еще замет-нее. Оставалось одно: четко провести эту самую сложную для буровиков операцию, чтобы хоть как-то занять о себе. Пусть знают, что Трунов еще не выдохся и может снискать с со своими вчераш-ними учениками. Так получалось, что через заступу Трунова прошла чуть ли не половина ребят, которые составили теперь ударный костяк бригады. У Труно-ва набирался хвастки и опыта, а потом переходили в другие смены. А Василию Ивановичу прислали но-вых помощников, и он так же основательно готовил их, пока и они не получили повышение.

Трунов созвонял: решение, которое избрали Капу-стин и Смирнов, было единственно верным. Кому, как не Трунову, прошедшему хорошую школу глубо-кого бурения на Северном Кавказе, знать послед-ствия неосторожности в обращении со скважиной. Он был всегда самым предусмотрительным буриль-щиком бригады и этому же учил других. Миша Сар-варов, горячий, но еще мало знающий тонкости бу-рения хлопцев, иногда считал это перестраховочкой.

Сейчас, глядя с двадцатиметровой высоты, через сужающиеся к низу тросы талевой системы, Михаил с удивлением наблюдал, как подгоняемые вастны-ми, словно у судьи на ринге, жемами, помощники крутились у пятачка ротора. Двужильному Сарваро-ву тоже приходилось несладко — он еле успевал принимать трубы и отправлял их за специальным выступ. Заструсила смоляной канат, и Михаил уви-дел, как железные челюсти ключа уже развинчивали для него следующую трубу. Темп был рекордный, но не очень нравился верховому этот слишком уж от-чаянный рекорд. Трунов резко отвел автомат.

До сегодняшнего дня у него была надежда, что «спускание на берег» еще не так скоро. Капустин на-звал точный час — завтра на собрании. Что ж, он все понимает. Молодежная — для молодых. Если рассу-ждать здраво, особых благ он здесь не имел. Условия спартанские, вагончики — сборно-целевые». Все го-то и привлекало у бригады — искать нефть на самых северных, самых отдаленных, самых болотистых площадях. Другой бы с радостью ушел. Но он доро-жил дружбой двадцатилетних, привязанностью, ко-торой ему платили недавние ученики. Почему-то чаще всего Трунов вспоминал один день. Тогда уста-новилась стойкая нелетная погода. Вертолеты не за-глядывали на таежную буровую вторую неделю. В столовой вышел вначале хлеб, а потом и мука, из ко-торой пекли оладьи. Без хлеба какая еда. Василий

Иванович поехотно хлебал борщ из надоевших кон-центратов, сидя на «своем» месте в столовой-ваго-ничке в окружении ребят. И вдруг повар случайно обнаружил... сухарик и передала им эту драгоцен-ную находку, чтобы хоть как-то утешить парней. Су-харик оказался у Миши Наврузова, кареглазого лезгина. Миша пощипал в раздумье пышный ус и по-додвинул «слакомство» сидящему рядом Володе Ури-ну. Тот вначале захотел раздавать его, но кусочек хлеба был так мал, что он, подумав, передал его Борису Мартинирову, полному, рослому армянину. Борис тоже чутко поколебался, слишком велик был соблазн, но, решившись, торжественно преподнес сухарик от всех присутствующих Василию Ивано-вичу. С шутками и остротами ребята заставили бу-рильщика принять «подарок».

Пустяшное, казалось бы, простешное, но сухарик этот все чаще вспоминался Трунову...

К утру Соловьев еще ничего не решил. Просидев весь вечер над списком бригады, открывавшим по-рядком потерял блокнотик, он так и не мог обвести кружком ни одной фамилии. С горечью думал о том, что «привилегия» обернулась мучительным для него испытанием. Решать самому оказалось сложнее, чем подчиниться приказу. До сих пор Владимиру еще не приходилось ломать голову над такими вопро-сами. Наоборот, все время был озабочен приемом по-полнения: отчислять доводилось лишь тех, кто все равно долго бы не продержался на Севере. Самой ошутимой потерей стал только перевод в контору Полторака. Владимир вспомнил их последнюю встре-чу в коридоре. Как он не понял сразу, что кроется за неожиданным порым Жоры! Бывший комсорг бригады, Полтораков по-рыщарски предложил свою по-мощь в трудное для молодежной времечко. Никогда не ожидал Соловьев, что Жора так вот сразу смелит свой кабинет на продаваемую северными ветрами «алюбку» верхового рабочего.

Значит, на место одного из «пяти неизвестных» вернется Полтораков. Задача упрощается. Но Морозов сказал ясно: попонять поредевшие бригады будут только «своими». Выходит, к нему направят четырех выпускников «буровой академии» (так называют школу подготовки кадров при экспедиции). Явно все они несмышляныши, изучившие буровую лишь по картинкам. Кому-то надо делать их буровиками. Соловьев ценя всех своих руководителей вахт — азартного Чернышева, рассудительного Николая Ке-да, прирожденного бурильщика Василия Сульдина. И все же он сознавал, что один Трунов сможет сно-ва звать на себя обязанности, с которой остальные бурильщики справились лишь однажды. Только ему одному сможет правильно оставить новичков, угадать их склонности и терпение, не особо печал-ясь о потерянных с юнцами метрах, формирующих еще одну вахту. Соловьев сам был бурильщиком и знал, как трудно приходилось Василию Ивановичу все эти годы.

Мысли сплели Трунова из молодежной «по воз-расту» показавшейся Владимиру прелестью. У бу-рильщика сложилась устойчивая репутация «серед-нячка», а с такой славой они не должны отступать его из бригады. По сути дела, он сам не давал име умиляться наверх. С новичками какие рекорды..

Передавать Смирнова было неразумно. И вовсе не потому, что помощник переложила на себя часть за-бот самого мастера... Соловьев меньше всего думал о своем спокойствии. Слишком болезненным был для Анатолия перепад командных высот: от руководи-теля вахты до помощника мастера. Пусть вначале об-ретет уверенность, вместе легче избежать малых

ошибок, которые горяча наделал бы сам. У Соловьева тоже честолобие, и оно не позволяло ему оставлять сейчас Смирноза на подороге к главному посту буровой.

Мастер остро почувствовал, как необходимо ему сейчас появиться на буровой. И сыграть общий сбор. Вместе они найдут выход из этой нерадостной ситуации. Но бригадные интересы, которые будут отстаивать собрание, должны совпасть с интересами всей экспедиции. Об этом напоминал ему Морозов, об этом же говорил Зверев. Трудно будет вести собрание, занимая эти две крайние позиции, еще труднее примирить их, сомкнуть воедино.

Владимир пришел на вертодром раньше остальных. Механики уже готовили машину к полету. Обычные снабженческие хлопоты вытеснили на время все остальные заботы. И только когда они со Зверевым уже стояли в ожидании посадки, Владимир снова замкнулся в себе, односложно отвечая Дмитрию Степановичу на его вопросы. Соловохотливый Зверев тоже умолк, понимая состояние мастера. Он с удовольствием изложил бы ему свое мнение. Но подсказка хороша для тех, кто не может решить дело сам. А молодых она только балует, отучая думать.

Рубиновый сегмент вращался под брызгом заиндевевшего вертолета. Экипаж прогревал двигатели. Скоро легеть. Ждали вахту Сульдина, которая возвращалась на буровую после выходов.

Зверев раздраженно поглядывал на часы, но волновался он зря. Буровики минута в минуту вышли из неугостого леса, который вплотную подступил к площадке. Было их пятеро, как и полагается вахте. Сульдин, как обычно, бочком, шел в окружении своих четырех помощников. Среди них Соловьев сразу приметил Ненашева, который, по сообщению Василия, должен еще болеть.

Ребята шатали несленно: за плечами тяжелые рюкзаки. Разгорячены ходьбой, лица собраны, как у людей, которым предстоит дальняя дорога. Даже в многолюдье эти пятеро не затерялись бы, так бросающиеся в глаза их похороше, свойственная лишь работающим долгое время бок о бок людям. Зверев откровенно любовался ребятами.

— Ераво идут,— одобрительно склонился он к Соловьеву,— одно слово — вахта. Знаешь, какая потворка у Жумажанова еще с юности есть?

Не обращая внимания на настороженность Владимира при упоминании имени соперника, он почти пропел, подражая южному выговору Нажмитдена Уакнаевича.

— Вахта — это монолитный кулак. Монолитный кулак, вот так вот.— Он для наглядности сжал сухонькую ладонь и тут же разжал ее.

Зверев хотел еще что-то сказать, но тут подошли ребята. Сульдин приветствовал Соловьева спокойным, уверенным кивком, скидывая на землю тщательно упакованный рюкзак. Он всегда был предусмотрителен и наверняка захватил все на случай долгой задержки. Ненашев, закутанный шарфом, робко поздоровался с мастером, видимо, опасаясь, что тот начнет расспрашивать о здоровье. Сейчас эта светская тема была опасной для него. Сульдин сам завел разговор о молодом верхомене.

Наотрез отказался дома остаться, говорит, ни за что не пойду в чужую вахту. Вы уж, пожалуйте, ста...

— Я же обещал, он будет в твоей вахте,— сказал Владимир.— И ни к чему эта пародия на героизм. Выход найдем.

Сульдин отошел, успокоенный: Ненашев остается у него, а за остальных ему волноваться нечего. Все

складывалось как нельзя лучше. Если достанется чистое бурение, они в эти дни «равнут» на рекорд. Самая крепкая вахта, самая удачная.

Винты вертолета кромсали воздух. Снежная пыль окутала площадку. Перед тем как взлететь, бортмеханик напоминал Соловьеву, что надо, по инструкции, составить список пассажиров. Мастер понималше кивнул головой, достал ручку и на листке из своего блокнота начал выводить столбик фамилий. Кроме него, со Зверевым летела только вахта Сульдина. Владимир писал их первыми и, прежде чем вырвать лист из блокнота, рассеянно просмотрел написанное. Что-то сразу задержало его внимание. И вдруг Соловьев понял. Так долго преследовавшая его бумажка с пятью фамилиями неизвестно написалась здесь, в гудящей машине, словно сама собой.

Бортмеханик жестом потребовал список, но Соловьев даже не заметил этого. Неожиданная мысль захватила мастера. Это была простая и ясная мысль. Как раньше она не приходила в голову? Хитроватый Зверев не зря вспомнил о любимом присловье их соперника. Жумажанов прав. Вахта — монолитный кулак. Заменить в пятерке любого, и она надолго выбьет из ритма. Нельзя, нельзя ни раздраживать притерпевшие, собранные в кулак смены. Выход только один: передать в новую бригаду одну из своих вахт целиком, не нарушая состава остальных.

От такого решения вытравывает прежде всего новый мастер. Ему достанется не случайная компания, которой необходимо время, чтобы притерпеться, свыкнуться друг с другом, а готовый, уже вполне боеспособный коллектив. Да и собственные потери окажутся не так велики. Прежний пульс молодежной будет проще восстановить, если ослабить не все смены, а лишь одну. Ей они помогут, закрепив за каждым новичком персонального инструктора.

Соловьев передал список бортмеханику. И, пряча блокнот в карман, посмотрел на складки против него робит. Тени от мелькавших за иллюминатором лопастей скользили по их лицам. Утомленные, притихшие, законные в неказистые кожанки, они были похожи на хоккеистов, отдыхающих на скамейке в ожидании выхода. Соловьев виновато отел глаза. «Великолепная пятерка» не подзревала, что скоро ей предстоит «покинуть площадку».

Мастер подумал, каким неожиданным станет это решение для Сульдина, да и для всей бригады. Разве найдется хоть один тренер, который бы настаивал на передаче самой результативной пятерки в команду соперников? Но геологоразведка не азартная игра. У нее совсем другие законы.

Соловьев повернулся. Зверев дремал, уткнувшись в воротник тулупа. А Владимир так хотелось услышать слова поддержки. Впереди его ждало самое сложное: сделать так, чтобы его выбор стал выбором всей тяжелой дружины.

Я хочу рассказать о людях, которые живут в машинах. Горды живут в горах, таежники — в тайге, тундровики — в тундре, а как назвать людей, которые живут в гораздо более специфичной среде, в среде искусственного климата, света, ландшафта, звуков, а именно: в замкнутом скоплении механизмов, агрегатов, аппаратов, приборов, систем? Всю эту надприродную среду можно было бы обозначить словом «машинерия», таким же емким, как название любой географической зоны. Всякий, кто спускался в многоэтажные недра корабельных машин, согласится с правоммерностью этой аналогии.

«Гомеровская Троя», — заметил один из исследователей машинерии, — со всеми героями пути уместилась бы в цехе заготовок среднего по размеру машиностроительного завода. Конвейеры автозаводов близки длиной к Невскому проспекту. Во внутренние дворцы тракторных заводов можно вставить по три афинских Акрополя бок о бок. Размеры объясняют, и архитектор, как Саваоф, взирющий сверху на аккурратнейший макет производственного комплекса, не в состоянии увидеть ту картину, которая открывается глазами рабочего у станка, мастера в проходке между станков.

Но как изобразить ту многосложную картину технического «хаоса», какая открывается несведущему человеку, спустившемуся в многоярусный лабиринт машинного отделения океанского корабля? Из всех сфер машинерии эта самая, может быть, жестокая, ибо ее внутреннее строение, ее среда созданы отнюдь не для гармонизации отношений человека и машины. Втиснутая в прокрустово ложе корабельного корпуса, она подчинена одной главной цели — обеспечить ход корабля.

Именно в них, во внедренных глубоко в воду многоярусных стальных лабиринтах, пролегли,



Николай
ЧЕРКАШИН

ЧЕЛОВЕК ИЗ МАШИНЫ

на мой взгляд, наиболее трудные пути людей среди машин.

Но самые мощные враждебные силы (сами только мысль о них становится еще одной тяготой) могут противостоять большинству машинером — военных кораблей. Этим людям приходится жить в избежанных в бою поврежденных всего, что их как-то защищает от преступных стихий, а значит, и пожаров, взрывов, затоплений. Им вступать в смертельную схватку с разбушевавшимся огнем, паром, водой, сталью, в темноте, духоте и на ускользающих из-под ног настилах. Бороться за живучесть корабля и жизнь экипажа. Совершать подвиги, высочайшие по степени благородства и тяжести.

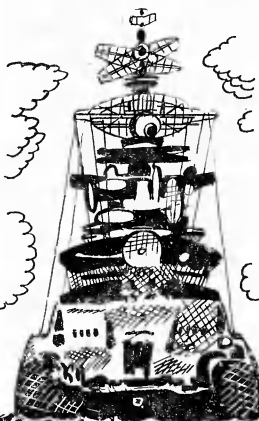
На современных военных кораблях многое сделано для того, чтобы облегчить условия жизни в энергетических отделениях и отсеках, и, естественно, они несравнимы с машинно-котельным адом стародавних многотрубных броненосцев. И все-таки служба в электромеханических боевых частях остается самой трауной из всех корабельных служб. Она почтена, ибо жизненно важна для всего экипажа корабля.

1. СОЛЬ НА ПОГОНАХ

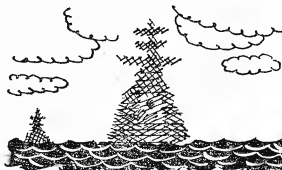
Корабли стояли у африканского побережья, облитые солнцем до стекающих блестящих. Сигнальщики провозжали биноклями верблужий караван. На крейсере была объявлена форма одежды: «Шорты, пилотки, без обуви». В кают-компании голосили цыгане — это транслационный узел пробовал новую пластинку трио «Ромэн». В котельном отделении нового эшелона шел планово-предупредительный осмотр: в топках работали люди. Голос вахтенного офицера оборвал романс на полуслове:

— Корабль к походу и бою экстренно приготовитесь!

Командир котельной группы старший лейтенант-инженер Ато-



Рисунки Ю. ЦИШЕВСКОГО



яни пехота вылез из узкого лаза топки. Он еще не верил, что к ним, котельным машинистам, этот приказ относится всерьез, и ждал, что динамики вот-вот добавят обычное: «Условно, безопас не подавать». Но стрелка котельного телеграфа уже перескочила с сектора «товся» на цифру «2». Это знало, что пар надо было поднимать не пидая огнеупорной топки — сразу под двумя форсунками без предварительного разогрева. Из топки вылетали молотки, зубила, рукавицы; выном выскочила последний матрос с точным толком воздел на болты крышку лаза.

Подгонять людей было излпнне: раз уж экстренно, раз уж под двумя форсунками — заведомо пазнос, — значит, там, наверху, в дальнем квадрате моря или у самого борта, что-то стряслося, случилось, произошло. Что именно, машинисты узнают об этом последними, а пока надо хоть свалиться у котлов, но дать пар на марку, невзирая ни на катие осмотры.

Чтобы разжечь форсунки, надо под струю распыленного в воздухе мазута подставить факел — клук пакли на длинном, как рапира, пруте. Чтобы поджечь факел, нужно зачех спичку. А в спешке спички имеют обыкновение ломаться независимо от того, что и с какой срочностью нужно поджечь — сигарету ли, бикфордов шнур, свечу или форсунки главных котлов крейсера. Атоня вырвал коробок у горь-кожегара, чиркнул, спрятал хилый огонек в ладошках. Желтый язычок высветил этикетку: «Оберегайте мурьевей».

Вывали воздушные насосы, и ракетными дузами заревели первые две форсунки. Очень скоро к ним подключили еще две и еще две... Атоня борбул с зажжвом телефонную трубку-гагтелло, придавив свободное ухо вторым таким же увесистым наушником — иначе ничего не слышно:

— Питый котел, как у вас?
— Тяжко...

Он выбрался по шахте экстренного выхода и бросился по жилым коридорам к люку пытого котла. Работы в пятом зашли слишком далеко...

Рослый и потому в машинной тесноте сутулый, старший лейтенант Левон Атоня мало похож на армянина: квадратный подбородок, чуть вздернутый нос, вазе что намекут на национальность сроспнеше брови, карие глаза да кавказский обичай гордиться своим родом. А род у него такой: дед по отцу — пастух с горы Арапат. В восемьдесят семь лет еще кла-

дет вилка на лопатки. Дед по матери — старорусец Тальнов — был первым советским командантом Петропавловской крепости. Отец — бывший артиллерист — сержантом закончил войну в Берлине.

...Ссе котлы носового и кормового шзелонов были пущены в сроки, предусмотренные нормативом. Как это удалось, могут рассказать лишь Атоня, его машинисты да командант дивизиона движения. Однако их об этом никто не расспрашивал. На то они и механики, чтобы обеспечить ход корабля. Тем более по тревоге. Но я-то видел, чего это стоило...

Я столкнулся в Левоню, когда он направлялся в корму — к люку 7-го котла. Крмовая рубашка испятнана нефтью, синий козырек пилотки в белых солевых разводах, щека в мазуте.

— Давай с нами! — махнул Атоня. Он был похож в эту секунду на комбата со знаменитого фотоснимка. Справное дело! Чем может быть похож армянин в морской тропической форме на украинца в пехотной гимнастерке сорковых годов? И все-таки похож! Их роднит этот неустойчивый командирский взмах, зовущий в атаку. И пусть за Атоном саделова сейчас один лишь мичман Соса. Все равно они шлв в бой — в бой, пылавший им на двоих. Где-то в районе 12-й донной топливной цистерны прорвало магистраль системы парогенерации. Красный «гусак» аварийного вывода шпарил палубу крутым паром. Грелась расположенная вблизи мазутная цистерна. Температура ее угрожающе росла. То, что предстояло сделать Атоню и мичману Сосе, напоминало эпизод из старого фильма «Тайна двух океанов», где в недрах подводной лодки искали мину с тикающим часовым механизмом. Напа мина была налицо — в ней колыхалась тонкая мазута. Надо было найти лишь «часовой механизм» — допнувший трубопровод, перекрыть его, исправить, не снижая полной боевой скорости крейсера ни на один оборот.

Мы останвлились у люка шахты в 5-е котельное отделение. Не дожидаясь, когда инжний на скобренде достигнет дна, мы ринулись вниз все втроем — друг над дружкой.

Чем ниже, тем сильнее пынут жаром стенки стального колодца. К тому же шахта засыпается воздухом, и вся одежда плотно прилипает к телу. Пальцы цепляются в скобы; кажется, еще усилие чьих-то могучих легких, и тебя засосет, словно муху в позорю.

Только спустившись на самое дно, замечаешь боковую дверь. Она ведет в тамбур, тесный, как телефонная будка. Тамбур — своего рода шахловая камера; она необходима для выравнивания воздушного перепада: в котельном отделении из-за поддува и точки давление несколько выше атмосферного. Дергаю перепусковой клапан и выныраю в тустой и зыбкий, как желе, жар.

Рев форсунок, слитый с воем вращающихся механизмов, достигал здесь самых пронзительных, истеричных нот — с таким надрывом голосит только сирень или дисксовые шпы перед тем, как разлететься вдребезги. Я свалил уши, но стальные пластины настали испускали вой, словно гигантские мембраны, и он убравался в пятки, проникал по костям, заставлял сжиматься. Хотелось немедленно броситься вон — опротею.

К Атоню подскобка мокрый, полуголый человек — старшина когудой команды. Беззвучно шевеля губами, он стал докладывать.

В конце обманных потом плеч старшина тусклыми пятнами отражался плафоны — зареженные банки из толстого стекла с упрятанными внутри лампочками. По голой груди пахали багровые отметины форсуночных факелов. Втроем — Атоня, мичман и старшина — принимали обсуждать план поиска. Я же пошел навстречу струе воздуха чуть менее жаркого и очутился под гофрированной мягкой трубой, отведенной кочегарами от вентилятора. В хаос жаркого вьющего железа просунулся добрый, мяткий хобот специально для того, чтобы обдувать людей. Я припал к нему доверчиво: это была единственная понятная мне машина — машина неопасная, предназначенная явно для человека. Правда, воздух из трубы не столько освежал, сколько просто трепал волосы, но и это было приятно.

Сквозь нагромождение конструкций и в переплетении вспомогательных трубопроводов я наконец разглядел сам котел. Его передняя стенка выдвигалась высоко вверх и была глухой, плоской, словно фасад паровозного депо. Вся эта громада уходила еще и в сумрачную даль котельного отделения, так что в целом сооружение напоминало часть полуукруглого тоннеля с глухими торцами-стенками. Механизмы, подступавшие к проходу вдоль передней стенки котла, теснили людей к самым топкам. Сверху синие стекла над форсуночными амбразура-

ми видно, как бьют в кирпичную кладку белые огненные струи.

Если бы в хвосте боту войны Марсу понадобилось поставить алтарь, то ничто бы так не подошло, как эта стальная стена, дрожавшая от огненного рева.

Турбины по-прежнему выдавали максимальные обороты. От вибрации и жара с котлов хлосыками отлетала серебристая краска.

Атоян, Соса и старшина все еще жестикулировали, из их разговора я понял одно: повреждение нужно искать руками, ощупывая проверяя сплетения труб на тепло и холод. Для этого нужно было оставить благодатный хобот и лезть к донным цистернам по «шхере», где нога человека ступала разве что в дни закладки крейсера.

Атоян первым втиснулся в щель между толстенными магистралями, обитыми крашеной парусиной, и мы оказались в зарослях из труб всевозможной толщины: от неоватных паропроводов до тонких медных змеевиков. Витки и колеи на их, прозванные и огибавшие галбы агрегатов, мсало дрожали от напора мазута, воды, пара, масла, воздуха.

Новичок в джугалых чаще всего хватается за сетки с ядовитыми колочками, и я тоже, пробираясь, протискиваясь, пролезая, то и дело хватался не за те трубы, обжигая пальцы. Жар сушил рот и легкие. Сухие веки мепали мигать, царапали глаза.

На развилке магистралей по нависшим картером рефрижераторной установки мы присели перерыви дух. Рядом трясся центробежный насос. Дырчатые венчики вентиляей торчали на штоках, словно цветы на стебелях. Они обступали нас со всех сторон, как ромашки на скалах. Атоян знал название и назначение каждого из них. Знал эту железную ботанку назизуст, ибо поворот любого венчика мог изменить в трубах токи жидкостей и газов, мог сказаться на мощном стремлении корабля вперед.

Мы сидели, скорчившись, как спелеологи под угрожающие нависшими галбами. Нет большого родства, чем то, которое охватывает людей, переживающих минуты общей опасности. Оно может исчезнуть вместе с опасностью, но след от него останется на долгие годы.

Мог ли я подумать тогда там, в темной, жаркой котельной шхере, в клубке горячих напряженных труб, что однажды мы окажемся с Атояном в просторной, прохладной гостиной его сухумского дома, за старинным резным столом и я увижу то, что, быть

может, малом проносилось перед ним в самые тяжкие минуты нашего пути заветный цементом дворик, мандариновый сад, крутые ступени, ведущие в верхнюю половину дома, стеклянную ручку в медной оправе на входной двери...

Что заставило этого южного пария сменить нежную зелень тропных под вечными снегами горных вершин на железные джугалы котельных систем? В комнате его бабушки висит портрет серьезною мальчика в матроском костюмчике. Из окон отповского дома сквозит жаркий звеканитов виден голубой горизонт. Море? Но здесь, в котельной, под броневой палубой им и не пахнет!

Бабушка, смеясь, рассказывала, как Левон провел в кухню селекционную связь и каждое утро вопрощал из своей комнаты: «Ну, чем ты сегодня меня травить будешь?» Бабушка ужасно пугалась этих всегда неожиданных возгласов из стеньи.

В сухумский эфир Атоян выходил со звучным позывным самодельной радиостанции — «Алабама». Может, любовь к технике заставила спустить его в транс-подию крейсера? Но почему тогда факультет паросилового установок, а не радиоэлектроники?

От бабушки же я узнал, что пропадал Левон не в порту, где пшартовались под пальмами бело-снежные лайнеры, а в депо, где доживали свой век на запасных путях маневровые паровозы.

Паровозы... Кто из нас не замарал в мальчишестве, подходя к их огромным, в рост человека, красным колесам? Не привставал на цыпочки, стараясь заглянуть в будку машиниста, где в таинственном сумраке плясали на медных краниках горячие багровые блики? Кто мог оторвать так просто взгляд от сверкающего шатуна, снующего у самых колес с человеческой ловкостью? А как они умели вздыхать и отгадывать, эти черные теплые мастодонты! Как оживали их протяжные дорожные вопли самые безудольные места! И каким торжественным хоральным гласом предвещали они тогдашние разлуки и встречи...

...Трубы, трубы, трубы — крашенные, обмотанные, обмазанные, горячие, холодные, гулящие от напора и дрожание от вакуума, они издымались торчком, менялись над головами, уходили под ноги, ветвились по сторонам. Трубопроводам каждой из корабельных систем присвоен свой цвет. Я видел атлас маркировки труб в каюте Атояна. Семи цветов спектра явию не хватало, и многие системы

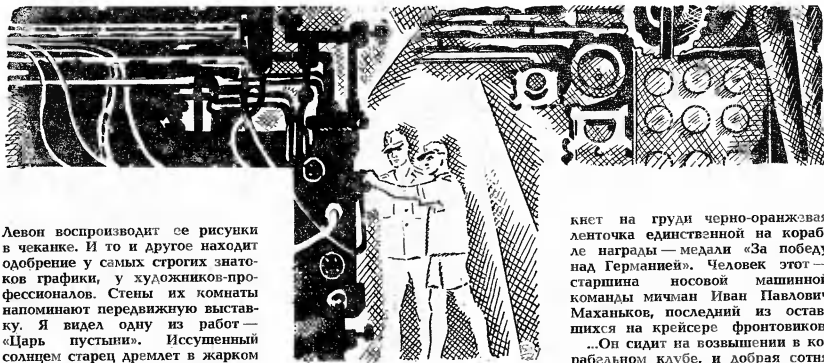
метались двухцветными, а то и трехцветными полосками. Атоян знал назизуст эту трюмную азбуку.

Шхера становилась все теснее и безжизненней. Со ствалов труб исчезли даже ценные метки, не говоря уже о каких-либо поручках или площадках, и это наводило на мысль, что присутствие человека в столь глубинных недрах машины никак не предусматривалось. Сюда не проникал и без того тусклый свет котельных плафонов. Атоян включил фонарик: в прыгающем луче нутры шхеры стало еще более зловещим. Шипящий вой и тряская колотня механизмов отдавались в полупустых цистернах и кофердамах стократно. Зыбкий от жара воздух не выдохся, а проглатывался, как желе. Пот вскипал в порах. При малейшем усилии в глазах палили радужные пешуниные хвосты, заставля собенные спины Атояна и Сосы. Куда они лезут? Да отсюда и без того уже не выбраться! И все же я пробирался вслед за Атояном и Сосой — без них мне просто не выбраться из этих катакомб.

Мы вышли к той самой мазутой цистерне, которая перегревалась. Я отделился от ее стенки Ладон. Атоян хмурился. Пролезли еще немного вперед и вправо. Луч высветил крышку кофердама глухого коридора, раздвояющего цистерны. Оттуда изнутри нужно было прощупать магистраль системы паротурбины, чтобы определить хотя бы район поиска прорыва.

Атоян с Сосой отделили лаз в кофердам. Мичман в термическом костюме влез в него по поясу, затем по груди. Левон, задрал голову, опущивал в полутеме тройной ряд клапанов. Мне вдру захотелось, чтобы Атоян увидела сейчас жена, ибо с перекошенным лицом, с оскаленными от напряжения зубами, истекающий потом, он был красив той редкой мужской красотой, которая нисходит на человека в траунищие минуты противооборства — со стихией ли, с мясью, с врагом — все равно.

Жена Левона Людмила — аспирантка консерватории. Она живет в мире благородных созвучий, куда не прорываешь даже отголоски тех визжащих какофоний, которые ежедневно по многу часов крадья выслушивает ее муж. Мир звучит для них немиссимо разго. Однако в своих отношениях им удалось добиться, как говорят механики, «ровного горения». Тут своего рода компенсация. Раз уж не удается слушать мир одинаково, значит, нужно видеть его одинаки глазами. Людмила рисует.



Леон воспроизводит се рисунки в чеканке. И то и другое находит одобрение у самых строгих знатоков графики, у художников-профессионалов. Стены их комнаты напоминают передвижную выставку. Я видал одну из работ — «Царь пустыни». Искусственный солнцем старец дремлет в жарком мареве. Лик его растрескался, как такыр. При взгляде на этого демона зноя и жажды пересыхает в гортань.

Призрак старца в мареве разогретою железа дрожал сейчас над командиром котельной группы. Атоян вдруг закрыла ладонью нос. Сквозь сжатые пальцы просочились алые капли.

Пройдет время, и я увижу, как Леон еще раз прикроется вот так же ладонью и сквозь пальцы у него брызнут почти такие же красные струйки. Это случится тогда, когда младший брат — эдак Леон отхлебнет вина из турьего рога — смешило сострит и тот прыснет красным вином. За старинным резным столом под ковром во всю стену будут сидеть Леон с Людмилой, мама, бабушка Мария и дедушка Карекен. Чуть позже придет с голубиной охоты отец — Грант Карекенович — такой же рослый и густобровый, как и все в роду Атоянов. Он скинет охотничий плащ, зойдвестку, расстегнет патронташ, не спеша присядет за стол, на котором давно уже лопти сулугуни, воткнутые в горячую мамалыгу, испускают в кашу прозрачные слезы и лаваш с отпырнувшей румяной корочкой давно уже готов хрустнуть в сильных пальцах. И тамада, подвая княжеский, изукрашенный серебром рог, скажет все, что он думает о достославном Гранте, его отце, и прадеде, и двух его сыновьях. И грянет пир! И забрызжет на зубок сочная зелень, и печеная кабанина будет ложиться на язык с одним вкусом, а уходить с другим, меняя оттенки, как звезды — цвета, когда мерцают. И рог наполнится горячим благоуханием абхазских приправ. От аджики и сацхи десны охватит приятный пламень, от которого в

ушах сама собой зазвучит задорная скачущая музыка, а из обожженной терпким ароматами глотки вырвется взбодороженная душа вместе с зажитательной охотничьей песней:

— Хавра-увра-увра-увра-а-а!

Свесится из узких кувшинных гора трепетные красные языки вина. И гости будут опрокидывать роги, упираясь их острыми в расписной потолок. А потом тамада в который раз наполнит свой аршинный в три витка рог и провозгласит: «За тех, кто в море!» А Леон Атоян добавит: «За тех, кто в машинах!»

...Кровь хлынула носом от теплого удара. К бурым пятнам нефти на кремовой офицерской рубашке прибавились ярко-алые.

Командир котельной группы выглядел из шхеры только тогда, когда залоуполучный свист был найден и матросы приступили к ремонту. За это время крейсер не сбавляя хода, прошел всего несколько миль. Но милл котельной ваты смеют особое измерение.

Атоян выла на голову чайник холодного конденсата. Звездочки на погонах, набрякших нефтью и потом, проступали, как кристаллики крупной соли.

Матрос-машинист подал второй чайник. Мы пили холодный конденсат медленно и со вкусом, как пьют на родине Атояна кроветворное красное вино.

2. МАШИННАЯ ПАСТОРАЛЬ

Если пробраться глазами по орденским плямкам, когда весь экипаж североморского крейсера «Александр Невский» застынет в парадном строю, то только у одного человека мель-

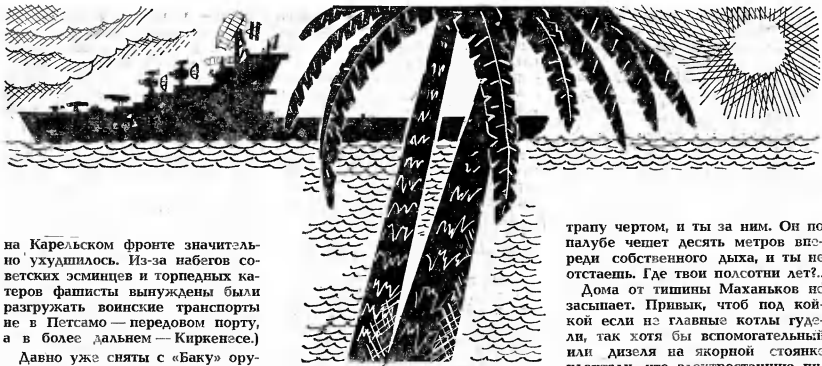
кнет на груди черно-оранжевая ленточка единственной на корабле награды — медали «За победу над Германией». Человек этот — старшина носовой машинной команды мичман Иван Павлович Маханьков, последний из оставшихся на крейсере фронтовиков.

..Он сидит на возвышении в корабельном клубе, и добрая сотня молодых матросов во все глаза изучает его «иконostas». Вот сейчас самый бойкий поднимется и спросит: «Товарищ мичман, а за что вы получили медаль Нахимова?» Так и есть, вон встает из второго ряда черныш матрос с нашивкой командора на рукаве.

— Товарищ мичман, а за что вы получили медаль Нахимова?

В который раз приходится Маханькову начинать эту историю. И каждый раз недоволен он своим рассказом: подолгу думает над фразой, щекает пальцами, высекая нужные слова, и все время получается рапорт вместо рассказа.

— 20 января 1943 года наша разведка обнаружила вражеский конвой в районе мыса Нордкап. (Тут был для тушей важности вернуться, что это почти самая северная точка Европы. Для его уничтожения вышел лидер «Баку» под флагом командира бригады капитана I ранга Колчина и эсминцев «Разумный». (Тут бы к месту сообщить, что он, мичман Маханьков, тогда еще старшина 2-й статьи, всю войну на этом самом знаменитом лидере «Баку» и проходил.) Поиск конвоя осуществлялся при малой видимости. (Тут бы полезно воскликнуть: «Что может быть хуже ночного тумана в норвежском фьорде?») Однако в полночь передразнившие с «Баку» обнаружили силуэты вражеских судов. (Немелкие капитаны, — стоило бы здесь сказать, — трижды запрашивали светом «Кто там!». Вместо ответа лидер громыхнул артиллерийским залпом и выпустил торпеду. Маханьков стоял замком у кормового орудия.) После недолгого боя один транспорт был потоплен, другой сильно поврежден. (А снабжение егерских дивизий



на Карельском фронте значительно ухудшилось. Из-за набегов советских эсминцев и торпедных катеров фашисты вынуждены были разгружать воинские транспорты не в Петсамо — передовом порту, а в более дальнем — Киркенесе.)

Давно уже сняты с «Баку» орудия и торпедные аппараты. А вот Маханьков все еще в строю, хотя если подсчитать его выслугу вместе с фронтовыми и полярными лыжниками, то получится странное дело: на флотскую службу его зачислили сразу, как только Маханьков родился. Но это лишь в старину младенцев августейших фамилий приписывали к гвардейским полкам. А Маханьков родился, во-первых, при Советской власти, во-вторых, в глухой курской деревушке, отдаленной от ближайшего моря на тысячи верст.

Иногда Маханькову и впрямь кажется, что на свет он прожигал не в избе под пенне курских соловьев, а где-нибудь в стальной выгородке за главным турбобучающим агрегатом. Шутка ли, жить в машине с 1939 года? А что? Живут же люди все свои семьдесят лет в лесу, и знают они в нем каждую тропинку, каждый куст, каждого зайца. Главная машина крейсера — тот же лес, только железный, перевитый трубопроводами, как манами. И жарко здесь, как в тропиках, и ветры горячие гуляют. И все эти насосы, вентиляторы, эжекторы, дезараторы, словно разные звери, каждый на свой голос — урчит, рокошет, гудит. Сильнее всех турбины, конечно. Маханьков носит с собой «слушачо» — длинный медный стержень с плоской напилькой. Он приставляет его к кожему какого-либо агрегата, прикладывает ухо к напильке и таким образом из общего машинного хора прослушивает нужный ему голос. Вот буйстерный турбонасос визгливо требует себе масла. Вот масляный сепаратор ровным гудом сообщает, что новый подшипник пришлось ему выор...

Перелезая через обитные парусины трубы паровых магистра-

лей, как через стволы поваленных деревьев, пригибаясь под нависшими картерами дизель-генераторов, мичман пробирается к входу в валопровод, откуда начинается линия главного вала. Вслед за ним, опасливо втягивая голову в плечи, поспевает молодой матрос Неволин. В белой робе, с инструментальной сумкой на боку он похож на подласка, которого старый пастух учит слушать, как бешутся соски в березовых стволах. Но сурово и сложна машинная пастораль, и поясняет Маханьков, что к чему в этом маслянистом мире дрожачего разогретого железа.

Останься Иван Павлович после войны в родной деревне, и точно — водить бы ему сейчас ребят по курским перелескам.

Был он недавно на родине. Встретился с годками — слесарями местного кирпичного завода, с которыми рабочую жизнь начинал. За столами пошли разговоры, то как за столько лет преуспел — у одного подобное хозяйство с племенины хряками, у другого «Жигули» — универсал, а Маханьков нарядную тузурку одернул и стал про главную машину крейсера расспрашивать, какая она огромная, и сколько людей у него в подчинении ходит, и какие страны видел...

— Да, Иван, превзошел ты нас, — от души признали дружки. За это и выпили. И хотя были у Маханькова планы присмотреть подходящую избушку — махнула рукой, ушел на Север и подписал мичманский контракт на новый последний срок.

— Захирею я на берегу, — оправдывался он перед женой. — На корабле, как тревогу сыграют, все бегут, и я со всеми. Матрос по

трапу чертом, и ты за ним. Он по палубе чешет десять метров вперед собственного дыха, и ты не отстаешь. Где твои полсотни лет?..

Дома от тишины Маханьков не засыпает. Привык, чтоб под койкой если не главные котлы гудели, так хотя бы вспомогательный или дизель на якорной стоянке кашатали, чтоб электростанцию питают.

— Давай я тебе пыласос вкалочу, — сердится жена, и не может она в свой бабий ум взять, что на крейсере тишины никогда не бывает: раз все стихло — значит, авария, yine бежать надо.

...Маханьков сейчас человек свободный, вахту только что отстоял, и потому, закутавшись потеплее, он выбирается наверх полюбоваться несчастным зрелищем: самым полным ходом крейсера.

Встречный ветер так силез, что с трапа можно спуститься, наклонясь вперед и не держась за поручни. Он надувает брезентовые чехлы, и от этого все зачехленные предметы на палубе становятся трепетно-скруглными.

Маханьков осторожно пробирается на ют, прихвтавшись в особо сильные порывы за леер. Никогда в жизни он еще не видел, чтобы ленивая, сонная морская вода обтекала борта с быстротой горной стремнины.

При поворотах крейсера море выплывает из-под борта, приглаженное, ровненькое, как асфальт после катка.

Кормя просела, и Маханьков стиснул как бы в подяной котловине: мощный бурн выметывается выше головы, да что головы — выше кормовой орудийной башни! Мичман слыживает запекшуюся в уголках губ соль.

Вот оно, его дело! — заставить задку-то гору кататься нести по океану со скоростью курьерского поезда. Маханьков смеет на дело рук своих долго и не мигая, точь-в-точь, как когда-то баты на вспаханное поле. Да, он оставил землю отцов, ее засекот братья и сын. Ему же выпало опоясывать Север вот этой белой, неприслуп-

ной для врагов бороздой. Ради того, чтобы танговала она за крейсером: беспрерывно, и прожил он большую часть своей жизни в желемом лесу главной корабельной машины.

3. СРОЧНЫЙ РЕМОНТ

Всера на Средиземном море такие, что луна и солнце смотрят друг на друга: битый час, прежде чем оранжевый шар утонет за голубым горизонтом.

Небо спалошь в метеорных прочерках. Падающие звезды того и гляди прожгут экран, вывешенный на вертолетной палубе.

Зрителя нетерпеливы. Фильм начался засветло, и теперь изображен на полотне проступает в сумерках постепенно, как на фотобумаге.

В самом волнуемом месте, когда герой и героиня после долгих недоразумений протинули наконец друг другу руки, на экран легла черная тень рассылного:

— Старшему лейтенанту Пашкину срочно прибыть в машинное отделение!

Коренастый офицер с инженерными эмблемами на погонах тихо попянул чью-то бабушку, нахлобучил тропическую пилотку с огромным козырьком, выбрался из тесных рядов и легкой рысью скрылся за экраном.

Грандиозное машинное отделение не просматриваются ни вниз, ни вверх, ни в одну из сторон, а потому рождается гнетущее чувство лабиринта, простирающегося во всех направлениях. Множество машин втиснуто в стальное ущелье корабельных бортов, соединено между собой валами, тягами, передачами, слетено трубопроводами и кабелями в гигантский организм. Даже глазу специалиста невозможно вычленил из «хаоса» механизмов нечто единое и цельное, ибо связи между агрегатами подчинены той технологической целесообразности, которая не имеет ничего общего с нашим понятием о порядке и гармонии.

Год от года на корабль приходит новая техника. Неизменные объемы машинных и котельных помещений заполняются новыми агрегатами. Их производят трубы новых систем. Однако присутствие человека в технологическом пространстве машин по-прежнему необходимо.

«Производственное пространство», — отмечают психологи, — проектируется сегодня в логике машин, в масштабе рабочей связи машин с машинами. Человек ока-

зывается здесь зрительно лишним. Он может этого не сознавать — приспособляемость велика и спасительна, — но он не может не ощущать утомления, подавленности, раздражения, объединенных в одно слово «стресс».

Если в пещу можно организовать производственное пространство так, чтобы его картина радовала человеческий глаз, то в условиях военного корабля, габариты которого в интересах меньшей уязвимости сведены к минимуму, уютный интерьер машинно-котельных отделений — пока роскошь.

Даже в самой напряженной работе человеческий глаз через каждые полминуты устраивает себе «передышку» — взгляд вовне рабочего поля. Отдых невозможен без смены впечатлений. Но взгляду в машинном или котельном отделении некуда выскользнуть — всюду один и те же трубы, вентили, кожухи, рифленные плиты настила, стеклянные банки плафонов. «Отдых невозможен, если не можешь что-то изменить в окружении: отодвинуть кресло, задернуть занавеску, закрыть дверь...» — утверждают специалисты по инженерной психологии. Здесь же рычаги управления, мениш, которые не рекомендуются, общий свет, который ты не прибавишь, не убавишь, вентилятор в стороне, не ты его регулируешь, спина, плечо соседа, от которых нечем отгородиться на секунду... Сколько бы мы ни знали, что за внешним хаосом скрывается технологическая система, ощущение хаотичности не проходит. Никто сегодня не может сказать, сколько жизненной энергии тратится только на преодоление чувства хаоса, подступающего вилотную к рабочему месту.

В дальнейшем закоулке машинной шахты, там, куда не достигают вентиляционные струи, стояли люди. Подавившись вперед, они наступали на приподнятую на цепях глыбу одного из узлов валопроводного механизма. С гачными ключами в кулаках они были похожи на охотников, встречающих вставшего на дыбы медведя. Потом все трое они падали: ка длинный рычаг ключа, и я увидел светловослый татарский профиль Пашкина, за ним худой лик командира дивизиона движения капитана-лейтенанта Шамшикина и мичмана Дроздожа. Это о них до самого отбоя говорил весь корабль. Это им предстояло исправить поломку.

Они уложили глыбу редуктора на поволоки — так врачи из «неотложки» делают однажды открытый массаж сердца прямо на тро-

туаре — и начали вскрытие при свете зарекомендованной переноски.

С этой минуты все трое и в самом деле стали похожи на хирургов, эдаких добрых старых коновалов, скрутивших и уложивших на бок больного быка. Да и чем сейчас набор гачных ключей не операционный инструментарий? Смазочный шприц тот же иньектор; вместо тампонов — ветошь... Масло — темная машинная кровь — залило рифленный настил, застряло по локтям орудующих во внутренностях механизма рук.

Главная трудность была в том, что никто из них никогда не вскрывал этот механизм. Они совершили накоротке, как долбаче прорваться к поломанной детали и как удобнее ее снять. Но каждую снятые крышка, фланец, кожух открывали новые сочетания туго прилаженных, ласящихся шестерен, червяков, валов, подшипников. Они развязывали этот узел, останавливаясь лишь затем, чтобы наметить новый, кратчайший путь к сломанной детали. Если бы в этот момент засняли их лица крупным планом и показать потом зрителям, то одни бы решили, что это физики, выходящие в новое явление природы, другие увидели бы летчиков-испытателей, выводящих самолет из штопора. Штурман усмотрел бы в их напряженных раздумьях свой труд — проложить кратчайший путь в заданную точку. Все было на эти лица: и риск, и азарт, и сомнение, и торжество малых побед... Мне даже захотелось все бросить и толче открывающей емстве с ними гайки величайшей с благодие, вращать, выбивать, отсоединять, вскрывать, проникать! Проникать — вот оно то слово! Они именно проникали, они шли в незнакомое, и что из того, что «незнакомое» на сей раз было не таежной тропой, не взлетной полосой, а тесным, осклизлым от масла трактом, уходящим в глубь механизма. Попробуй опции Пашкин свои действия, и этот докучает читался бы с не меньшим волнением, чем отчет специалиста, нейрохирурга, водолаза: «...связь... прошел... проник...»

...Тот сломанный латуный зубец, изъятый механиками из-под сепаратора опорного подшипника, хранится теперь в кювете командира дивизиона движения на бархатной подушечке рядом с лакированным актовым зубом. Будет что вспомнить в тихой гавани.

Накануне 250-летия Академии наук СССР ряд крупных ученых был разослан на анкету. В числе многих вопросов содержался в ней и такой: «Какие области науки, по Вашему мнению, будут ведущими в начале третьего тысячелетия?»

Ученые назвали термоядерную энергетику, биологию, кибернетику, гениую инженерию, океанологию... и почти во всех ответах — астрофизику. Энгельгардт, Амбарцумян, Бреховских, Глушков и другие академики считают, что в будущем широкое развитие получат астрофизические исследования, нацеленные на познание законов Вселенной, ее эволюции, ее судеб.

Наверное, в этом есть своя закономерность. Она свидетельствует о новых возможностях, желаниях полнее их реализовать. В ответах подчеркнута значимость одной из наиболее фундаментальных наук, ее огромная роль, ее плодотворное влияние на развитие других областей знания. И это весьма характерно. На XXV съезде КПСС, определившем основные направления всего нашего дальнейшего движения вперед, было прямо сказано, что «полноводный поток научно-технического прогресса иссякнет, если его не будут постоянно питать фундаментальные исследования».

Короткая августовская ночь подходила к концу. В Муллардовской обсерватории, построенной месяц назад студентами Кембриджа, аспирантка профессора А. Хьюиша Жаклин Белл небрежно просматривала записи регистрирующего устройства. Безмятежность ее лица свидетельствовала о желании поскорее завершить дежурство и уйти домой, тем более что завтра начинался отпуск.

Нынешняя ночь показалась ей на редкость длинной. Было холодно. Регистрирующее устройство писало всякую чушь. Ну хотя бы вот эта запись. Разве в космосе могут быть источники радиозлучения с таким быстрым мерцанием? Да еще прерывистым?

Вдруг Жаклин поблдеела. Не может быть! Нет, это просто невозможно! Она торопливо начала просматривать ленты сначала. Запись была четкой истройной. Телескоп принимал ярко выраженный сигнал из глубин Вселенной. Сигнал прерывистый, строго организованный! Его могли послать только... Нет, нет! Ерунда. Приборы записали обычные, земные по-



**Вадим
ГОРЕЛОВ**

ОТЗОВИСЬ, АЭЛИТА!

Рисунки
И. ОФЕНГЕНДЕНА



межи, ничего общего с космосом не имеющие.

Утром шеф твердо сказал соотрудникам: «У Жаклин слишком богатое воображение. Наш радиотелескоп так чувствителен, что ему ничего не стоит записать помехи от замыкания в проходящем мимо автомобиле. Пусть отдыхает спокойно. Но об этом пока не следует рассказывать. Никому».

Жаклин уехала.

Регистрационные ленты лежали на столе Хьюиша. Профессор не прикасался к ним. Он сразу увидел, что они хранят следы какого-то стройного излучения — столь стройного и достаточно похожего на разумную информацию, что об этом было страшно думать.

В сентябре сигнал удалось записать еще шесть раз. Профессор и его аспирантка поняли, что некое небесное тело посылает во Вселенную радиоволны, работая в совершенно, необычном, ни разу до того не наблюдавшемся режиме. Радиотелескоп обсерватории близ Кембриджа регулярно фиксировал «позывные» из одной и той же точки пространства. Причем импульсы чередовались с поразительно точной периодичностью.

Тщательные измерения показали, что сигнал из космоса достигает Земли, переудя всплески через одну и 3373 десятичных секунды. Результат никак не укладывался в рамки существовавших представлений. Жаклин нервничала. Но Хьюиш не торопился с выводами.

Предположение о космическом корабле пришлось отвести: координаты непонятной «радиостанции» оставались все время неизменными. Обнаружить какое-либо осмысленное чередование всплесков и пауз тоже не удалось. Похоже было, что где-то на окраине галактики кем-то оставленный радиомаяк указывал дорогу какому-то неизвестному страннику.

Астрономы уже несколько десятилетий изучают радиоволны, излучаемые многочисленными звездами и звездными системами. Работа эта долгая, сложная и кропотливая. Приходится исписывать сотни километров пленки, на которой кривые, напоминающие монотонность горного рельефа, словно скинсы, хранят космические тайны. И вдруг... космическое тело регулярно посылает сигнал с периодичностью, которой могут позавидовать лучшие земные радиостанции. Есть от чего прийти в недоумение.



Источник с необычными физическими свойствами был назван пульсаром — пульсирующее радиоизлучение. Профессор Хьюиш попросил всех своих сотрудников об открытии никому не говорить.

Начались проверочные наблюдения, затнувшиеся на погоду. Исследование и вся обработка материалов велась в строжайшем секрете. Даже наиболее близкие соседи по старинному университетскому Кембриджу — астрономы и радиопизики — ничего об этом не знали. Под упорным воздействием молодых сотрудников Хьюиш стал считать, что обнаруженные сигналы есть некое нижнее проявление всемирной цивилизации. Ее обитателей окрестили в лаборатории «зелеными человечками».

Наконец, 24 февраля 1968 года в английском журнале «Природа» была опубликована статья. Она вызвала сенсацию, которая мгновенно облетела весь мир. Французские информационные агентства прервали передачи и «молящие» распространили сообщение о сигналах, принимаемых Мулардовской радионавигационной обсерваторией, а также комментарий научного обозревателя. Из комментария следовало, что немедленно необходимо ответить на зов людей иной цивилизации. Вечерний выпуск «Нью-Йорк таймса» украсила аншлаги «Зов братьев по разуму», «Англичане Белл и Хьюиш беседуют с зелеными человечками». «Последние известия» Всесоюзного радио спойкой проинформировали об открытии неизвестного ранее источника пульсирующего радиоизлучения, высказав предположение о его естественном происхождении и возможности получить при тщательном изучении новые сведения о сложных процессах, происходящих во Вселенной.

Разумеется, астрофизики сразу же настроили свои радиотелескопы на обозначенную частоту, нацелив их на загадочную точку звездного неба. Данные англичан подтвердились. Вскоре были обнаружены новые пульсары. Ученые обсерватории Физического института Академии наук СССР в Пушине под Москвой открыли источник радиоизлучения с периодом повторения импульсов в одну и девять сотых секунды.

Сейчас пульсаров известно довольно много. Один из них мигает через каждые 0,25 секунды. Гипотеза о разумных существах, мигущих себе подобных, уступила место более трезвым взглядам, которые уже не оставляют места романтичным «зеленым человечкам». Тем не менее само открытие имело огромное значение, и впоследствии за него Хьюишу была присуждена Нобелевская премия.

Первое обстоятельство, на которое хотелось бы в связи с этим открытием обратить внимание, — повторяемость всплесков пульсара. Монотония, сигналы, достигшие Земли, абсолютно однообразны. Значит, никакой разумной информации они не содержат. Второе, не менее важное, — мощность излучения превосходит любые мыслимые по земным масштабам границы. Во всплеске она во много раз больше мощностей Солнца. И, значит, ни о каком радиомаяке не может быть и речи. Предположение о некоем нижнем проявлении всемирной цивилизации отпадает.

Но тогда что же это?

Предварительные теоретические расчеты дали основание предположить, что пульсирующее радиоизлучение могло бы исходить от так называемых белых карликов. Это небольшие, угасающие звезды, которые стачиваются от других объектов Вселенной очень высокой плотностью. Наперсток вещества с белого карлика весил бы на Земле более десяти тысяч тонн. Гипотетическая модель интересующего нас процесса в упрощенном виде выглядит примерно так: все тело звезды сотрясает колебания, от которых она то сжимается, то расширяется, что и является причиной прерывистых излучений, принимаемых нашими радиотелескопами.

Потом более детальное рассмотрение проблемы породило гипотезу, в основе которой лежало утверждение, что пульсар — это нейтронная звезда с гигантским протуберанцем. Возможность существования космических объектов, состоящих только из нейтронов, была высказана несколько десятилетий назад советским академиком А. Д. Ландау и американским физиком В. Бааде. В чем суть этого явления?

Не вызывает сомнений тот факт, что все сущее во Вселенной образуется по законам физики из материи, которая вечно в пространстве и проявляет себя в самых разнообразных формах. Как сказал Анатоль Франс, «небеса, считавшиеся неизменяемыми, не знают ничего вечного, кроме вечной смены вещей». Видимо, можно зафиксировать три состояния всякой звезды — рождение, жизнь и смерть. Как это происходит, сказать с полной достоверностью сейчас никому не дано. Можно лишь строить предположения, более или менее близкие к истине. Звезда рождается, живет определенное время — сейчас для нас неважно сколько — и умирает. Как бы ни была велика в сравнении с нашей ее жизнь, все равно смерть приходит к ней, где бы в холодных безднах пространства она ни существовала.

Так вот, согласно теории академика Я. Б. Зельдовича и его ближайших помощников, нейтронная звезда — это одна из заключительных стадий жизни космического тела, масса которого в несколько раз больше, чем у нашего Солнца. Расчеты показывают: такие звезды (после того, как в их недрах прогорит «термоядерная топка» и вместе с этим исчезнет сила, противостоящая гигантскому тяготению, создаваемому огромной массой) начинают сжиматься под действием этого самого, теперь ничем не уравновешиваемого тяготения.

Явление назвали «гравитационный коллапс» — катастрофическое сжатие. Иллюстрируя его, академик Зельдович как-то сказал, что при коллапсе наблюдатель на поверхности звезды за несколько секунд провалится до самого центра.

При столь сильном сжатии (словами невозможно выразить то, что там происходит, поскольку человеку негде наблюдать подобные явления) свободные электроны вдавливаются в ядра атомов водорода, превращая их в нейтроны. Вещество мгновенно уплотняется. Оно становится чудовищно тяжким: в каждом кубическом сантиметре до ста миллионов тонн.

Так образуется нейтронная звезда. Она быстро вращается вокруг своей оси: один оборот не более чем за четыре секунды. И если на ее поверхности есть протуберанец, «горячее пятно», то умирающая звезда напоминает, что есть буждающим нас радиоизлучением. Отсюда — от вращения — строга периодичность повторяемости импульсов пульсара. Точность следования сигналов достигает одной десятичной доли секунды. Не исключено, что в будущем астронавигаторы станут сверять по этим радиомаякам ход часов своих звездолетов.

Вообще гипотез по поводу пульсаров хватает. Но пока ни одна из них не объясняет всей совокупности



наблюдаемого явления. В столкновении точек зрения, так сказать, выковырывается истина. И естественно, все теоретические распри ученых лежат в области специфических физических проблем. Для понимания их глубины мало было и университетского физико-математического образования. Ясно одно: мы еще не много знаем о космосе, бесконечные дали которого таит множество страшных по нашим земным меркам, но вполне естественных объектов. Конечно, вполне естественных. Хотя, если по совести, то очень хочется, чтобы и искусственных тоже.

Человек не может поверить в свое одиночество. Мысль о себе подобный в иных мирах давно посещает наши умы. Английский астроном В. Гершель так жаждал этого, что считал обитаемым и Солнце. В обитаемость космоса искренне верили Ломоносов и Вольтер, Кант и Бержекар, Гюйгенс и Лаплас. Да что говорить: легенда о космических пришельцах существует на Земле со времен Адама.

В просторах галактики не менее полумиллиарда планет, по некоторым прогнозам, весьма похожих на нашу. Это не так много. Прогноз достаточно скромный, если учесть, что вокруг большинства звезд существуют системы, аналогичные Солнечной.

Современные методы позволяют подсчитать, что до ближайшей к нам планеты, похожей на Землю, не более пятидцати световых лет. Так измеряют расстояния астрофизики. Световой год — это пространство, преодолеваемое за 365 дней при движении со скоростью света. На понятном всем языке это — 10 000 миллиардов километров.

Ученые используют также единицы измерения, называемой парсек, — 3,26 световых года. Это — расстояние, с которого радиус земной орбиты виден под углом в одну секунду дуги. Ближе, чем на один парсек от Солнечной системы, звезд нет. До самой близкой к нам Проксима Центавры — почти полтора парсека. Это очень далеко. По земным масштабам, конечно. А по космическим — рукой подать.

Если вокруг Земли описать шар радиусом в 50 световых лет, то планет примерно с такими же условиями, в которых живем мы, в нем окажется не менее двадцати. И на каждой из них возможны заводы и телескопы, зоопарки и космодромы. Право на столь оптимистичный прогноз нам дают последние достижения науки.

Уже несколько лет в лабораториях ведутся эксперименты, показывающие, что при определенных условиях превращение неживой материи в живую невозможно. Ученые моделируют процессы, происходившие в Мировом океане сотни миллионов лет назад, и со все большей уверенностью говорят, что реакции, в результате которых получались вещества, необходимые для зарождения жизни, протекали не во поле слепого случая, а исходя из вполне статистически оправданных закономерностей.

Первая попытка смоделировать то, что происходило на Земле в доисторические времена, когда ничего живого на планете не существовало, была предпринята в небольшой кобле с введенными сквозь толстое стекло электродами для имитации грозовых раз-

рядов. Эксперимент, стимулированный работами академика А. И. Опарина, удался. Бескислородную атмосферу из аммиака, водорода и метана, воду океанов, на которые обрушивалось испепеляющее ультрафиолетовое излучение Солнца, небольшие участки суши, заливаемые расплавленной магмой, и молнии бесконечных электрических разрядов — всю эту адскую миману реконструировали в стеклянной колбе диаметром двадцать сантиметров. И в этом немалом для жизни бульоне из бурлящих паров, ядовитых газов и беснующегося электричества «начала возникать нечто желтое». Невероятно. Сверхестественно в своей абсолютной естественности. Это были аминокислоты. Те самые. Натуральные или искусственные, как хотите, — аминокислоты, из которых строится белок.

Опыт повторяли сотни раз в лабораториях многих стран, и всегда «возникало нечто желтое».

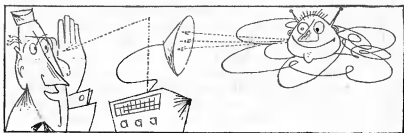
Потом американцы Фокс и Харада углубили эксперимент. Камеру с минералами, нагретыми до тысячи градусов (считается, что такая температура могла быть на Земле два миллиарда лет назад), они наполнили метаном, пропущенным через раствор аммиака. При этом грозовые разряды не имитировались. И опять невероятное. Восемнадцать аминокислот было получено в такой среде. Восемнадцать из двадцати, составляющих набор строительного материала, необходимого для возведения здания белка, который и есть жизнь.

Но исследователи пошли дальше. Они решили проверить модель следующего этапа в истории планеты. Успокоилась большинство вулканов, остыла излившаяся магма, спала жара в атмосфере. Полученными аминокислотами окропляют горячую вулканическую лаву и, моделируя дождь, поливают ее дистиллированной водой. И произошло самое главное — молекулы аминокислот начали сцепляться в вещества, названные протеиноидами, белковоподобными.

И этот опыт повторяли сотни раз. И в лабораториях разных стран. И всякий раз получал один и тот же результат. Значит, при определенных условиях некое сочетание веществ обязательно приводит к той реакции, с которой начинается все живое. Значит, это не исключение, а правило. И такая реакция возможна везде, где есть подходящие условия.

Земной жизни потребовалось около двух миллиардов лет, чтобы пройти путь от первого белковоподобного вещества до питекантропа. Возможно, у наших космических соседей этот путь был иным и уложился в иной срок. Тем не менее если предположить, что мыслящие населяют даже только каждую миллионную из всех планет, похожих на нашу, то и тогда семья разумных существ в доступной нам галактике достаточно велика. Достаточно велика, чтобы делать попытки установить контакты друг с другом.

Вот о чем уже речь. О контактах. И ведь это не отвлеченные фантазии. Радиобиофизики давно прослушивают небо с тайной надеждой наткнуться на чужбидный сигнал. Может быть, и нас разыскивают? Может быть. А может, нет. Ведь считают же некоторые, что космос — бескрайняя пустыня, в которой кардинальные исключения вкрапляются в оазисы жизни. Однако для такого пессимизма сейчас, пожалуй, ос-





новаций уже нет. Хотя всякий раз, принимая какой-то неожиданный, необъяснимый сигнал из Вселенной, надо помнить замечание академика Я. Б. Зельдовича: «...в таких случаях мысль о разумных существах, конечно, приходит первой, но уверенность в том, что мы имеем дело с цивилизацией, обладающей разумом, должна прийти последней — только после того, как исчерпаны и отвергнуты все другие объяснения».

Словом, как ни поворачивай, а мысль о разумных существах приходит первой. Нам жедала эта встреча. Как готовы мы к ней психологически?

Отношение людей к космосу, Вселенной, к астрономии — науке о звездах — всегда имело принципиальное, мировоззренческое значение. Кстати, наука о звездах есть астрология. Очень точный термин, но он умер в своем истинном смысле, поскольку астрологи некогда занимались в основном составлением гороскопов, пытаясь по звездам определять судьбу человека. Деятельность довольно далекая от науки, хотя историки ныне используют гороскопы для уточнения многих важных дат. Например, день рождения Омара Хайяма — 18 мая 1048 года — установлен по его гороскопу. Но термин уже имеет иное значение. Вместо него мы употребляем другой — астрономия. А ведь это наука о наименовании звезд. Причина смещения понятий, наверное, в том, что слишком много шарлатанов занималось астрологией. Правда, и среди них были ученые. Кельер, как известно, числится придворным астрологом императора Рудольфа II в Праге. Но это по форме, а по сути он был великим астрономом.

Так вот об отношении к космосу. Древнегреческий мыслитель Митродор, последователь Эпикура, подлинного, по словам Маркса и Энгельса, радикального просветителя древности, отрицавшего вмешательство богов в дела мира и исходявшего в своей философии из признания вечности материи, возражал противникам: «Считать Землю единственным населенным миром в беспредельном пространстве было бы такой же вопиющей неадекватностью, как утверждать, что на громадном засеянном поле мог бы вырасти только один пшеничный колос». Как точно выражено интуитивное чувство, что мы не должны быть одни.

Но есть и другое отношение к этому. Ньютон, например, был уверен в противном. Он, ученый, которому благодарные потомки подарили, может быть, самый прекрасный памятник в виде надгробных слов: «Да поздравят себя смертные, что существовало такое и столь великое украшение рода человеческого» — нарисовал картину Вселенной, в которой человеку вообще не было места. Открытатель основополагающих законов нашего знания о природе занимался теологией и был значительным авторитетом в этой области — наверное, самой беспристрастной в этой области маялся человеческий мозг. В его полностью соответствующую времени миропорядке «для изъяснения» сочетания планет, спутников и комет» человек был явлением ничтожным и случайным. А современник сэра Исаака француз Блез Паскаль, обесмертивший свое имя благодаря необыкновенной щедрости ума, написал в одном из фрагментов «Мыслей»: «...Я нахожу в порядке вещей, что люди стре-

мятся познать не учение Коперника, а другое: решающее важным для всей жизни является знание того, смертна или бессмертна душа». Вот что тогда занимало человека больше всего. Какой уж тут взвешивать разум!

Проходят два столетия, и фантазия Герберта Уэллса доставляет на Землю, представителей непламенной цивилизации, технически прекрасно оснащенных и почему-то не в меру агрессивных. Конечно, война миров, а не их сотрудничество, полностью на совести автора знаменитого романа, избуко-разжигшего общественное мнение конца прошлого века, но, несомненно, столь безысходный подход к прогнозу в художественной форме первого контакта с космическими пришельцами предопределен системой научных взглядов того времени.

В России происходит Октябрьская революция, и становится возможным совершенно иное отношение к Вселенной. Раскрепощенный дух видит друзей, а не врагов в себе подобных там, в бескрайних просторах неба. Он мечтает о межпланетном равенстве и братстве. Алексей Толстой написал: «Лось растянул дверь — за нею стоял позолотый толстяк, придерживая обеими руками на животе охапку лазоревых, осыпанных росой цветов. — Ану утара Азита, — прошептал он, протягивая цветы».

«Вас приветствует Азита», и в знак глубокого расположения — цветы, а не смертоносные, все испепеляющие лучи. Достойная времена позиция.

Проходит еще четыре десятилетия, и крупный астрофизик, член-корреспондент Академии наук СССР И. С. Шкловский в книге «Вселенная. Жизнь. Разум» говорит уже о сроках встречи: «Вопрос сводится к тому, кто кого найдет? Если они нас, то это, очевидно, может произойти когда угодно — либо через десять лет, либо через тысячелетия. Некоторые оптимисты считают, что такая встреча уже состоялась, причем в историческое время (имеется в виду гипотеза М. М. Агresta о посещении Земли непламенными астронавтами, сформулированная в 1959 году). Если же как «активный фактор» выступит земляне, то срок такой встречи будет зависеть не столько от уровня нашего технологического развития, сколько от удаленности от нас ближайших планетных систем, населенных разумными существами». Это написано после полета Юрия Гагарина, фотографирования обратной стороны Луны, первых попыток исследовать Марс и Венеру с помощью автоматических межпланетных станций.

Как стремительен бег времени! Земляне побывали на Луне, чуткие автоматы работали на Венере и Марсе, сделаны съемки Меркурия и Юпитера, посланец Земли мчится к Урану. И вот мы уже со временными рождения удивительного по своей сути понятия «астроинженерная деятельность». И не только рождения, а и утверждения в научном обиходе. Если несколько лет назад мы пользовались в основном писателями-фантастами, то теперь все чаще оперируют ученые разных областей знания.

В сентябре 1971 года состоялась первая в истории Международная конференция по связи с внеземными



цивилизациями. Уже конференция. Местом встречи ее участники избрали Бюраканскую астрофизическую обсерваторию в Армении. Избрали, конечно, не случайно: достижения бюраканских ученых в изучении загадочных явлений Вселенной весьма значительны.

Многих поразило прежде всего не сам факт организации такой научной встречи, а ее состав. Естественно, никого не удивлял астрофизики, планетологи, математики, астрономы. Но антропологи, лингвисты, социологи, историки, археологи были несколько неожиданным компонентом ожидавшихся дискуссий. Уже одно это свидетельствовало о серьезности намерений. Контакт с тысячелетиями световых лет требует объединения усилий ученых самых разных наук. И конференция в Бюракане продемонстрировала это со всей очевидностью.

Круг вопросов, обсуждению которых уделяли должное внимание собравшиеся, не был ограничен лишь теми, что вытекают из разрешения собственно самой связи. Здесь рассматривались многие проблемы — общие законы развития цивилизаций и способы обнаружения планетных систем, возможные направления астроинженерной деятельности и вероятностные характеристики происхождения жизни, оптимальный план поиска космических сигналов и гипотетические последствия контакта с инопланетным разумом. В общем, весьма обширная программа.

Следует, конечно, заметить, что решение столь сложных и разнородных задач даже в предварительном порядке невозможно силами одной страны или небольшой группы стран. В это дело должны вносить посильный вклад все государства нашей планеты.

Пленарные заседания, академический обмен мнениями, горячие дискуссии проходили днем, а вечером все выходило смотреть на звезды. Здесь они кажутся чуть ближе к Земле. Откуда то появлялась лошадь, гремела металлическая цепью по камням и тихо ржала. Гости загибали палец, ставящий и в печальную. Гости молча слушали, смотрели на звезды и чувствовали, что мир может быть каким угодно большим, но для человека нет ничего прекраснее Земли.

А утром в окна вырывалось солнце, вокруг бушевали сарыновские краски, и лауреат Нобелевской премии американский профессор Таунс говорил: «Лазерная техника вновь открывает перед астрономией совершенно новые возможности, и мне хотелось бы обратить ваше внимание на некоторые их аспекты, как нам представляется, наиболее перспективные».

Потом другой лауреат Нобелевской премии английский профессор Крик замечал: «Необходимо прояснить полную картину возникновения жизни. Это позволит оптимизировать расчет количества звездных систем, которые имеет смысл рассматривать с точки зрения целесообразности изучения их как объект для контакта с внеземной цивилизацией».

Советский радиотехник Н. Петрович делился с коллегами своими сомнениями: «Вполне возможно, что наиболее развитые цивилизации уже нашли способ генерирования коротких импульсов гигантской мощности. Мы же используем приемники, которые могут регистрировать только длинные сигналы. Вот и получается, что мы смотрим в книгу, не зная, на каком языке она написана. Надо создавать широкополосные приемники, способные принимать импульсы предельно короткой длительности».

И так день за днем целую неделю. Главная отличительная черта этой интереснейшей встречи — поразительная конкретность, как будто речь шла о сугубо земных делах, а не о вещах, сопряженных с научной фантастикой. Подавляющее большинство сообщений отличалось точной постановкой задач и



деловым, сугубо профессиональным подходом к их решению. Никакой мановщины, пикажи: «Ах, если бы...» Ясное понимание всей трудности проблемы и соответствующее отношение к ней.

Заслуженное внимание участников конференции вызвали сообщения о наблюдениях за звездами, удаленными от Земли на расстояние ста световых лет, рассказал о них член-корреспондент Академии наук СССР В. С. Троицкий. Но об этом поподробнее.

Черты искусственности, которыми наше воображение наделяло пульсары при первой встрече с ними, несомненно, стали возбудителями профессионального интереса ученых к одной из самых фантастических идей человека — установить контакт с внеземным разумом. Правда, пока нет ни одного объекта наблюдения во Вселенной, который не бессмысленно было бы считать результатом инженерной деятельности инопланетной цивилизации. Однако мы знаем, что не существует границ технического прогресса, выражением какой бы формы разума он был. Достаточно напомнить, что уже сегодня Земля благодаря работе многочисленных электронных устройств стала вторым по мощности в Солнечной системе источником радиополучения. Какое же могущество можно предсказать человечеству через тысячи лет!

Наше Солнце — одна из наиболее молодых звезд в галактике. Если считать, что для некоторых планетных систем звезд старшего поколения характерна разумная жизнь, то каких невиданных высот в научно-техническом развитии достигла она. И, значит, поиск неких проявлений этого развития вполне обоснован. Наверное, это воображение и вдохновляет ученых.

Итак, решили искать. Но что и где? Ведь ситуация не имеет прецедента. Выбор столь велик, а искомое столь неопределенно, что надеяться на Колумбу одачу — не Индия, так Америка — не приходится.

Разумеется, мы можем моделировать их внеземное поведение только на основе нашего, земного опыта. Какой сигнал пришлось бы послать во Вселенную, зададим мы сообщить о своем существовании всем, кто в состоянии такой сигнал принять? Конечно, некое электромагнитное излучение. В каком диапазоне волн, чтобы снизить до минимума вероятность исчезновения его в радиошумах естественных источников? Сантиметровом или дециметровом. И куда направлять? В сторону ближайшей звезды с планетной системой.

Но послать сигнал, который наверняка достиг бы выбранной цели, мы пока не можем. У нас нет необходимой для этого мощности. Все электростанции Земли дают около четырех с половиной миллиардов киловатт — маловато для астроинженерной деятельности. Значит, надо самим искать. И исходя из тех же принципов.

Под руководством профессора Троицкого была создана специальная аппаратура, предназначенная для исследования радиосигналов на сверхвысоких частотах. До того возможность достаточно мощного пере-

гуглярного радиоизлучения из космоса на этих волнах без особого обоснования исключалась. Самое заметное такое излучение идет от Солнца. Что касается галактик, то она излучает регулярно и весьма слабо. Однако в последние годы появилась другая точка зрения на этот счет. Возникла идея возможности существования нерегулярных космических сигналов совершенно иной природы. Сам Тронцини считает: «Можно предполагать, что такие сигналы возникают в результате технической деятельности внеземной цивилизации...»

Были предприняты попытки обнаружить мощные кратковременные импульсы. Для этой цели использовали радиотелескоп с большим полем зрения, благодаря чему излучения можно было фиксировать одновременно со всех направлений. Чтобы отделить помехи земные от космических, наблюдения велись синхронно на радиотелескопах, расположенных на Верхней Волге, Дальнем Востоке, в Арктике и Крыму. Искали на волне от трех до пятидесяти сантиметров. Искали долго. Очень долго. Работы с некоторой модификацией ведутся и сейчас. Но тщательный анализ материалов пока не дает основания воскликнуть: «Эврика!» В этом диапазоне в это время в этом районе Вселенной мощных сигналов, которые можно было бы рассматривать как результат искусственных процессов, не наблюдалось. Поиск продолжается.

Вообще астрономия — наука бесчисленных повторений. Бесчисленных! Чтобы познать, как же на самом деле вращаются планеты вокруг Солнца, по каким орбитам совершают они свое бесконечное движение, чтобы доказать, что великий Коперник ошибался, считая орбиты круговыми, чтобы окончательно сравнить всех безудельных сторонников наивной птолемеевой системы, императорский звездочет Иоганн Кеплер восемь лет корпел над таблицами своего ангела-хранителя Тихо Браге. Восемь лет он искал единственную закономерность, удовлетворяющую всем наблюдениям, всем многочисленным цифрам нескончаемых таблиц, 70 раз повторил каждое вычисление, пока не уверовал окончательно в то, что его смелое утверждение, никем ранее даже в отдаленной форме не предполагаемое, есть истина.

А ведь это орбиты планет, объектов, видимых почти невооруженным глазом. Какими же должны быть труд, настойчивость и вера в успех, когда задача похожа на ту, которую задают буиным молодцам в старинных сказках: «Пойди туда — не знаю куда, найди то — не знаю что».

Итак, искомого обнаружить пока не удалось.

Сашком огорчился по этому поводу, корит себя, винить в неаппетитности, наверное, не следует. Вон американцы тоже полнеба обшарили — и тоже ничего. В микроволновом диапазоне искали, уйму денег на свою систему «Циклон» потратили, а результат нулевой. Руководитель этих работ Оливер докладывал о них на Бюрократской конференции. Многие сочли американскую систему неоптимальной, хотя сама идея поиска в микроволновом диапазоне пока залась достаточно перспективной.

На пресс-конференции один из журналистов напомнил Оливеру замечание академика Андрея Нико-

лаевича Колмогорова о том, что если мы встретим информацию более разумных существ, то она может показаться нам случайной. Американский астрофизик без оговорок согласился с такой опасностью. — Вполне резонно. Если они ушли далеко вперед, то наверняка научились записывать информацию более экономным образом, нежели мы. Скорее всего это так и есть. Значит, для нас она будет загадкой до тех пор, пока мы сами не научимся записывать ее так же.

— Но у Колмогорова есть также замечание о незначительной вероятности обнаружения нами их позывных и о том, что если они более высоко развиты, то должны сами искать нас.

На это Оливер запросто ответил самым решительным образом:

— Что значит должны? Никто никому ничего не должен. Мы их ищем, потому что нам хочется их искать, потому что наш прогресс рождает такую потребность — искать во Вселенной себе подобных. И при чем здесь уровень вероятности? Он лишь определяет количество затрат и степень сложности всего предприятия.

Оливер принадлежит к числу деятельных оптимистов, которые, ставя перед собой дальнюю цель, не ждут, пока она в силу какого-либо благоприятного стечения обстоятельств приблизится, а сами движутся ей навстречу. В современной астрофизике качества очень важные.

На площади Цветов в Риме пасмурным утром 17 февраля 1960 года толпа, густая, как свиные уши, гаднувшаяся издалека вместе с холодным ветром, многоголосо шумела. Люди разного возраста и знания говорили все сразу, и было непонятно, как они относятся к черному каре незнакомцев, застывших в немом ожидании публичной казни.

Никто толком не знал, какую заповедь нарушил приговоренный. Один говорили, что он козлуд, другие — фальшивомонетчик, третьи — прелюбодей.

Вдруг все разом замолчало. В дальнем конце площади послышался гулкий топот тяжелых деревянных башмаков, и все увидели еретика. Он шел медленно, низко опустив голову. Порывы ветра трепали лохмотья его одежды.

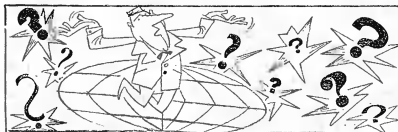
Одиноко всхлинула сердобольная сморщенная старушонка. Человек по имени Джордано Бруно поднял голову, устало оглядел площадь, людей, охрану, палачей и закрыл глаза. Все. Прощай, небо! Прощайте, звезды!

Кто-то крикнул: «Зажигай!» И сейчас же, как по команде, засуетились монахи. И опять тревожно зашумела толпа.

Загулел огель. Распалевшим резким ветром, он уже заглушал нечеловеческий крик отчаяния и боли. Его багровые отсветы металась по щекам святящихся отцов, и хлопая сажи оседала на потные лица незнакомцев.

Люди, пораженные, молчали. Им не дано было понять, понять и простить этому неустоимому человеку его великое богохуство: «...Существуют бесчисленные солнца, бесчисленные земли, которые кружатся вокруг своих солнц, подобно тому, как наши семь планет кружатся вокруг нашего Солнца... На этих мирах обитают живые существа». Он так и стоял, уверенный в истинности своей ереси. Не отрекся.

С тех пор не гаснет огонь на площади Цветов в Риме. И эти мужественные слова освещают нашу неистребимую убежденность в том, что мы не одиноки во Вселенной. Не одиноки.





Евгений
РУБИН

А ЗАВТРА...

Подошли к концу трехмесячные хоккейные каникулы, каникулы, в которых на этот раз не меньше самих игроков нуждалась хоккейная публика, — минувший сезон доставил ей столько треволений! Нервная, изнурительная борьба на чемпионате страны, где за золотую медаль. До последнего дня сражались сразу три команды. Олимпиада, где победа была вырвана тоже в последний день и в матче, в котором наша сборная проигрывала 0:2 и 2:3. Второе — почетное для любой сборной, кроме нашей, — место на первенстве мира. А ЦСКА, не сумевший завоевать ни одного из главных призов сезона — ни Кубка, ни чемпионского звания...

И, наконец, были восемь матчей ЦСКА и «Крыльев Советов» с клубами НХЛ, клубами, чья игра до сих пор для нас, жителей Старого света, была окружена легендами...

И вот — новый хоккейный год. Год, фактически открывающий новую хоккейную эру, поскольку встречи с сильнейшими профессионалами Нового света становятся злобой дня. Уже в сентябре начнется турнир шести сборных, где вместе с нашей, шведской, чехословацкой и финской будут играть команды Канады и США. И те же имена профессионалов в списке участников первенства мира. Оно начнется значительно позже обычного — в конце апреля, специально для того, чтобы профессионалы смогли выставить лучших своих игроков.

Что же сулят хоккею, прежде всего нашему, постоянные контакты и постоянная борьба с профессионалами?

Нам только кажется, что мы теперь близко знаем, что такое канадский профессиональный хоккей на его высшем уровне. На самом деле у нас это знают немногие, человек пятьдесят, не более. Знают те, кто сам выходил на лед катков НХЛ и испытал, что это за штука, на собственных боках.

Вот что мне рассказывал о своих ощущениях Владимир Шадрин — один из самых мужественных хоккеистов нашей сборной за всю ее историю и к тому же человек, не склонный к крайним оценкам и преувеличениям.

— Есть одна сторона их игры, которую мы увидишь ни с трибуны, ни даже со скамьи запасных. Это скальные приемы. Мы сами обучены им с детства. Для нас они — способ выиграть борьбу за шайбу или, как у нас принято говорить, «отделаться противни-

ка от шайбы». Отделка — и все в порядке, дело сделано. У них эта цель тоже есть, но есть и другая — по их игре такая же важная: причинить тебе боль, вогнать в тебя удар всей массы собственного веса, помноженной на ускорение. А масса у него — под центнер, и норвиг он разогнаться получится, когда презаеся в тебя. И кашку для утешения старается держать наперевес на уровне твоих глаз или горла. К такому нелегко привыкнуть. А у них это в крови, они так воспитаны, они на том стоят.

О том, как выиграли две наши команды суперсерии у восьми клубов НХЛ, написано много. И о преимуществах той и другой хоккейных школ — тоже. Писалось, что наши превосходят их в маневренности, а они нас — в искусстве броска, что наши играют более разнообразно, а они лучше действуют при доминировании шайбы. Все это верно, все важно. И тем не менее без того, о чем рассказывал Владимир Шадрин, трудно оценить качество нашей победы по достижению.

По ту сторону океана успех наших команд имел оглушительный резонанс, куда больший, чем удачная игра сборной СССР в двух прошлых сериях матчей с профессионалами — со сборной НХЛ в 1972 году и сборной другой профессиональной лиги — «Всемирной хоккейной ассоциацией» — в 1974 году. И тогда сила европейского хоккея удивила канадских знатоков. Но тогда написали «объективные» причины: во-первых, игры состоялись ранней осенью, когда канадцы обычно лишь начинают готовиться к сезону, а значит, не успевают еще войти в форму, во-вторых, сборная команда — вещь для профессионалов непривычная и малопонятная. Вот если бы играли не сборные, а клубы, тогда...

Теперь все встало на свои места. «Смягчающие вину» обстоятельства отпали. Однако на родине хоккея это лишь усилило жажду реванша. К тому же и в коммерческом отношении контакты с европейцами оказались для НХЛ выгодны: стадионы переполнены, телевидение готово закупить матч онтом и в розницу, не торгуясь.

Помните знаменитую фразу, которую произнес во время серии в 1972 году Николай Озеров и которую долго потом повторяли все, кто шутя, кто всерьез: «Такой хоккей нам не нужен...». Теперь носивший еще недавно теоретический характер вопрос: играть или не играть — разрешился как бы сам собой. Играть — и обретая дурную нет. Сент-Джовинский турнир, венское первенство мира, а затем новые турниры и новые чемпионаты. Хоккейный караван, медленный деструктив проторенным руслом, меняет курс. Курс этот надо прокладывать заново, ибо прошлые, пусть совсем еще свежие в памяти победы, не являются ни малейшей гарантией побед будущих.

Не в счетах и подсчетах тут дело и не о них речь. Лучше припомним сравнительно недавно историю. 22 года назад наш хоккей впервые познакомился с канадским, правда, любительским, но тоже считавшимся в Европе не просто сильным, а непобедимым. И в первом же матче первого для нас чемпионата мира мы выиграли у канадцев и завоевали золотые медали. Две зимы спустя — опять победа и опять золотые медали, на этот раз — олимпийские. Затем... несколько лет неудач в играх с канадцами. Тем неизменно на первенствах мира оставляли нас у себя за спиной. А в шестьдесят третьем успехи вернулись. Тогдашние тренеры нашей сборной трезво взвесили все достоинства и недостатки канадского хоккея и определили, какие из этих достоинств стоит нам позаимствовать, чтобы обогатить свою игру.

А теперь попробуем с этих позиций взглянуть на игры новогодней серии. Попробуем поставить перед

собой два-три таких, например, вопроса. Что было бы, если бы не нашим двум клубам пришлось играть с восемью командами НХЛ, а, наоборот, их двум клубам с восемью нашими? Ну, скажем, «Филадельфия Флайерз» и «Монреаль Канадиенс» играли бы не только с ЦСКА и «Крыльями Советов», но и с горьковским «Торпедо», ленинградским СКА, новосибирской «Сибирью». Или иной вариант: восемь их клубов — против восьми наших? Или, наконец, та же серия, только «Крылья Советов» выступают без спартаковцев В. Шалямова, В. Шадрина, А. Якушева и Ю. Липкина?..

Признаю: профессионалы чаще и сильнее наших бросают шайбу, что доказано цифровыми выкладками. Скажем, во время игры «Монреаль Канадиенс» — ЦСКА по нашим воротам было сделано 38 бросков, по канадским — 13. Признано и другое: мчащегося по льду профессионала труднее сбить силовым приемом с ног, чем нашего игрока. Можно, вероятно, назвать еще какие-то стороны игры, где преимущество на стороне канадцев. Но это в данном случае ни к чему, хватит и перечисленных.

Откуда же эта разница в количестве и качестве бросков? А вот откуда. Искусством броска обязательно владеет каждый профессионал, владеет так же прочно, как постигнутый в математический вуз школьник основами алгебры и геометрии. У нас же даже в самой сильной команде, в нашей сборной, существует тенденция на «умениях бросать» и «не умеющих бросать». Так же обстоит дело и с устойчивостью перед силовыми приемами. В командах НХЛ конькобежная техника поставлена так же, как техника владения голосом у выпускника консерватории. И опыт же у нас даже в сборной хоккеисты делают на хороших, посредственных и плохих конькобежцев.

Мы видели восемь клубов НХЛ — одни были сильнее, другие послабее. У того больше состав, у этого лучше тренер, у того больше «звезд», у этого интересней построена игра. Все команды разные. Но всех роднит одно — школьное воспитание: любовь игрока, от «звезд» до статиста, безупречное. Отсюда парадоксальная ситуация: в канадском хоккее, где «звезды» превознесены до небес, где они в центре всеобщего внимания, где на их именах держится реклама, где эти имена окружены чуть ли не божественным ореолом, разница между самими яркими «звездами» и средними игроками менее заметна и ощутима, чем между «звездами» и хоккеистами средней руки у нас, в хоккее, который во главу угла поставил коллективность и в котором само это понятие «звезда» употребляется нечасто и обязательно в обрамлении кавычек.

Когда-то, начиная состязание за мировое первенство с канадскими любителями, мы тоже отставали от них во многих технических дисциплинах. И сумели догнать их не только потому, что изучили эти дисциплины и ввели их в курс обучения сильнейших хоккеистов. Ни того, ни другого нашим тренерам бы не сделать, если бы в стране не появилась достаточное количество катков и во главе лучших клубов не встали бы образованные специалисты. То был фундамент, на котором позволялось здание будущих успехов. Он оказался прочным. Сегодня по постановке дела наш большой хоккей не уступает и канадскому профессиональному, оттого и соревнование с ним началось успешно.

Но — так уж получилось — этот самый большой хоккей убежал далеко вперед от своих тылов — от хоккея юношеского и детского. Потому и видится нам «школьное образование» канадцев безупречным, что сами мы по постановке «школьного» дела в хоккее от них отстаем.

«Школа» — понятие обширное. Крме всего прочего, оно включает и такие вещи, как хорошие школьные задания и современно оборудованные классы, учебники и наглядные пособия. Здесь и квалификация учителей, и начальный возраст школьников. И еще многое. И какую бы сторону дела мы ни взяли, походу у нас ощущается дефицит. Проблемы искусственного льда для двух десятков лучших команд страны не существует вовсе. А 12—13-летние ребята, носящие форму тех же команд, видят этот лед разве что по телевизору: лед дворцов спорта — на вес золота, его аренда стоит тысячи, а простых открытых искусственных катков нет почти нигде. И возможности ребятам играть и тренироваться целиком зависят от капризов климата, который иногда сводит к двум-трем месяцам зиму в таких хоккейных центрах, как Ленинград или Латвия. Наши фабрики спортивного инвентаря научились делать приличные клюшки, коньки, ботинки, но лишь в том количестве, какого хватает на те же полтора десятка лучших команд. Детям же, скажем, семи-восемью лет просто не в чем выйти на хоккейный лед, нечем вооружиться, выходя на этот лед, ну, а уж о защитном снаряжении, которое детям еще более необходимо, чем взрослым, они не смеют и мечтать.

Вот и начинается «школьное образование» подавляющего большинства наших хоккеистов в том возрасте, когда их сверстники из-за океана уже начали изучать «киску» и «пирекку» морфологию и синтаксис. Кому-то наверстать упущенное помогает природная одаренность, кому-то счастливая встреча с талантливым тренером, кому-то недолжное трудолюбие. Но многие так и остаются недоучками. Потому что научить взрослого труднее, чем ребенка. Еще труднее его переучить, исправив неверно усвоенную во дворе технику броска, неправильно поставленную конькобежную «походку».

...Знаменитый клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» еще несколько лет назад пребывал во мраке неизвестности. Его тренер Фред Шירו охотно рассказывает, что, пока его коллеги на всех перекрестках трубили о превосходстве канадского хоккея над европейским, он изучал наш опыт организации игры и тренировок и многое применял в своей работе. Теперь, поблизе познакомившись с клубами НХЛ, мы смогли убедиться, что у Широ написаны последователи — тренеры команд «Вуффало Сейбрс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Тактические ходы этих команд куда чаще напоминают те, что использовались у нас, чем привычные их близким соседям, тому же «Нью-Йорк Рейнджерс» или «Чикаго Блэк Хоукс».

Понятно, перестроить тактику и методы тренировок — дело менее сложное, чем реорганизовать юношеский и детский хоккей, обеспечить его искусственным льдом, знающими тренерами, хорошими коньками и клюшками. Но что поделаешь — надо. Канадские профессионалы, почти столетие считавшие себя единственными пророками хоккейного бога и пребывавшие в гордой самоизоляции, вышли сейчас на мировую арену, вышли не на год или два, а всерьез и надолго. И победа над ними в последней суперсерии, как она ни приятна, — лишь аванс будущих побед и, как всякий аванс, требует гарантий и обеспечения.

Юрий
ВЛАСОВ

ВЕЛИКИЙ ТАКЖ



Н аклонюсь с пьедестала почета, почти приседаю, но не потому, что мне неловко пожимать протянутую руку. Я хочу ближе увидеть лицо старика. Стараюсь удержать в памяти каждое его слово.

Неужели это возможно: Лондон, мировой рекорд, «Скала-Театра» и мне вручает медаль Георг Гаккеншмидт? Не свожу глаз с него и когда он поздравляет второго и третьего призеров соревнований в тяжелом весе финна Эйно Мякинена и американца Дика Зорка.

Поздно вечером, когда, наконец, остаюсь один в своем номере гостиницы «Ройял», я достаю и разглядываю фотографию молодого Гаккеншмидта. На ней энергичная, отнюдь не старческая скоропись: «Юрий Власову от Г. Г. Гаккеншмидт. Лондон. 29-ого Юля 1961». И этот коренастый, по-эстонски белый даже цветом кожи старик действительно Георг Гаккеншмидт! Грамматические ошибки в дарственной надписи... Он уже успел подзабыть русский язык — с 1914 года живет за границей.

Его имя связывается в моем сознании с именами Морро-Дмитриева, Крылова, Луриха, Моор-Знаменского¹, Александровича, Копьева, Кнутаарева, Заикина, Краузе... И вспоминая одного из них, я невольно вспоминаю остальных. И вспоминаю фотографию: зима, все в пальто, кражистый человек, расставив ноги, держит на руках двух мужчин — один из них, что с бородкой клинышком и сонным взглядом, Александр Иванович Куприна, а тот, у кого он на руках, Иван Заикин.

Вспоминаю другую фотографию: Заикин с ласковой бережностью обнял рукой плечи Куприна, чуть притянул его к себе. Заикин вдвое шире Куприна, на круглом лице с усами стрелкой крепкая мужицкая уверенность, сознание своей силы и хватки. У Куприна утомленный, пристальный взгляд из-под тяжёлых, набрякших век. Заикин говорил: «Каждому свое: сильному — кротость, юному — любовь, а старцу — глубокий сон...»

Заикин был на два года моложе Гаккеншмидта и на десять — Куприна. И в ту пору им всем еще было далеко до старости...

Забываю, что я в Лондоне — в крошечном, наподобие пенеала

¹ Дмитриев, Знаменский — русские. Приставки Морро и Моор — всего лишь дань дурной моде.

гостиничном номерке. Я снова воспитанник Суворовского училища. Я в классе на вечернем приговорении уроков. Выучены они или нет, но передо мной раскрасы Куприна. Что за часы! Когда я не могу совладать со своими чувствами, откидываюсь к спинке парты и смотрю в окно. Там ночь, сиротский подмененный лепюшкой лампочек вдоль трамвайных путей. Всего несколько лет как закончилась война, однако это тыловой город еще не ожил по-настоящему. Гаузи и черны его улицы... Но я в Москве Куприна, на Знаменке,—усаживаюсь с юнкером Александром в раздолбанный...

Английская речь в коридоре?... Ах да, я в Лондоне. И сегодня закончился турнир, посвященный семидесятилетилетию Британской ассоциации тяжелой атлетики. За тонкими стенами номера слышны голоса постояльцев, шаги. На ночном столике воскресный выпуск газеты «Обсервер» и перевод отчета о турнире. Вот строки обо мне:

«...Перед вчерашним выступлением Власов был пессимистически настроен относительно возможности нового рекорда... «Не хватает пищи», говорил он.— Нет массажиста...» Ни одного признака того, что его выступление в Лондоне может стать историческим событием...» Далее следует описание моих мышц, похожих на «отполированные уличные булыжники», моих движений, «напоминающих движения робота»...

Автор отчета — Дауди Хэй.

Тот самый мистер Хэй?!

...Мы вернулись с приема в полночь. В вестибюле гостиницы меня ожидали репортеры. По-московски шел уже третий час ночи. Чувствовал себя я неважно. Мой номерок, в котором можно находиться только с открытой форточкой — иначе задохнешься, крайне скудное питание, утомление от последних разминок, необходимость присутствия на различных официальных приемах — все это противопоказано силе, а я рассчитывал на рекорд.

Я извинился и попросил репортеров задать свои вопросы утром: ведь завтра, а точнее сегодня мне предстоит выступить, я обязан подниматься к режиму. Среди репортеров стоял человек на костылях, с болезненно-худым лицом. В отвороте пиджака алела нашивка боевого ордена.

Я прошел за лестницу, откуда меня не было видно, и попросил переводчика вернуть того человека на костылях: для него я готов сделать исключение. «В конце концов», решил я, «какие-нибудь десять минут не изменят мою спортивную форму». К тому же я здесь и не мог выдержать режим. Все пошло комом сразу. Меньше всего организаторов турнира волновали результаты. Зато на рекламу сил не жалели. Все это изрядно смахивало на шоу.

На вопрос мистера Хэя о рекордах я действительно ответил, что ничего определенного обещать не могу. Рекорд есть рекорд. Кроме того, условия для него складываются явно неблагоприятные... Я не жаловался мистру Хэю. Я старался объяснить свое положение.

Я чувствую, как заливаюсь краской, перечитывая первую половину отчета. Осрамил меня! Ведь я здесь как животное!..

На турнире я оказался в незавидном положении. В Москве посчитали: раз соревнования личные и очки не будут насчитываться — участник обойдется без тренера. Переводчик поехал, а Богдасаров нет. И я должен был следить за подходами соперников, то есть поминутно спрашивать о количестве оставшихся подходах, рассчитывать время разминок. Нельзя опоздать с разминкой — тогда оштрафуют за вызова к ресу и вынужден выполнять новые разминочные

подходы, дабы не терять ощущения «железа», а это дополнительный расход энергии, весьма нежелательный, если подводишь себя к рекорду.

Между попытками я находился за кулисами среди чужих. Мне необходимо было присесть, расслабить мышцы, слегка взбодрить их, сбросить усталость. Забыться на несколько мгновений. Простые операции, но весьма существенные для восстановления и концентрации силы...

Я покрутился, но стула не нашел. Пауза между подходами строго ограничена тремя минутами. И вот тогда я потянул репортеров. Я сел на пыльный дощатый пол среди декораций, тросов, чьих-то ног. Сразу же в глаза ударили фотовспышки. До улыбок мне было! Меня о чем-то спрашивали, я молчал. Но да мистера Хэя я вновь сделала исключение. Не ругаюсь, что с довольным выражением лица, но ответил. На разминке питанга была очень тяжелой...

С улиц доносится голоса и шаги прохожих. Перевожу переключатель программ радиоприемника, встроенного в стену, на цифру «1»: не просплю, разбудит пораньше. С утра в аэропорту Хитроу — домой! А Лондон так и не увидел. Разве можно увидеть его из окна автомобиля за несколько коротких поездок? Не побоялся даже в Британском музее, его стены за чудушной оградой всякий раз видел, разминаясь ходьбой, недалеко от гостиницы. Ожидание соревнований, затем выступление и тут же возвращение домой — вот неизменный порядок любой поездки за границу. Увидеть нечто большее значит рисковать результатом. Оберегать силу — закон дней и часов накануне выступления. Лишь один раз я выдержал однообразия ожидания и сбежал из своего номерка. Я запомнила названия улиц, потому что боялась забыть — я вышла на Саутхэмpton, которая перешла в улицу с названием Кингсвей, пересек Странд и вышла на набережную Темзы — к цепочке скверов с вереницами фонарей. Справа в дождливой дымке висел над рекой мост Ватерлоо...

Смотрю на свою фотографию в газете. Перемотаю себя и принимаюсь за вторую часть перевода репортажа мистера Хэя.

«...Но вот начинается последнее упражнение — толчок. Власова не узнать! Какое преображение в течение часа! Вразвалку, уверенно выходит он на помост. Переставляет ноги, напрягает массивные бедра, руки, строго подгоняя себя под то единственно правильное стартовое положение. Первый же попыткой он наносит поражение своим финскому и американскому соперникам.

И вот последний раунд — незабываемые мгновения! Власов прижигается к рекордной штанге!..

Георг Гаккеншмидт в своей ложе затанов дыханье. А потом бормочет: «Изумительно, непостижимо!» И торопливо направляется через заднюю дверь, чтобы приветствовать нового льва... Это — событие, и я его никогда не забуду! Гаккеншмидт, все еще сильный и проворный, несмотря на свои годы, пожимал руку Власова и высказывал свое восхищение. Власов был заметно тронут неожиданной встречей с легендарным, могучим человеком из России, чье имя до сих пор невероятно уважается там, в стране его происхождения. На моих глазах происходит странное, потрясающее преображение. С гигантской высоты своего положения Власов незаметно соскальзывает. И вдруг я вижу одинаковую схожесть осанки, жестов, казую-то органическую общность — замечательные мгновения! Я была сражена! Власов спокойно, естественно и искренне вошел в роль молодого поклонника старого Гаккеншмидта».

Я лишь смутно сохранил в памяти, что было, когда после установления рекорда я спустился со сцены. И вот сейчас я вдруг все вижу. И уже нет обиды на Додди Хэя! Наоборот, я благодарен ему! Он помог увидеть те мгновения, вернул их мне...

И опять с именем Гаккеншмидта в моем сознании обживают имена старых русских атлетов.

В прошлом году мы праздновали девяностолетие русской тяжелой атлетики. Этому юбилею были посвящены и соревнования в Подольске.

Рядом со мной за столом апелляционного жюри — первый советский чемпион мира Григорий Новак. Не только по тяжелой атлетике, а первый вообще в советском спорте.

Шепотком переговариваясь с ним. Нам нравится, как организованы соревнования, что говорить, у Михаила Алтекера, директора подольской спортивной школы «Геркулес», любые соревнования — настоящий праздник! Алтекера отличает не только бескорыстная любовь к тяжелой атлетике, но и doskonaльное знание ее истории. Знание единственное в своем роде, признанное специалистами по всем мире. Здесь, в Подольске, у Алтекера, редчайшие фотографии, протоколы соревнований вековой давности, письма сильнейших атлетов, сотни страниц исследований по истории тяжелой атлетики в различных странах и чего еще только нет!

Слушаю рассказ Новака о праздновании юбилея тяжелой атлетики в 1945 году. Юбилей отмечали в ленинградском цирке. Среди приглашенных был Иван Михайлович Заикин. Встречали его на улице все атлеты и гости. Каково же было общее изумление, когда к цирку подкатила... пролетка, а в ней сидел и сам старик богатырь!

— Пролетка, понимаешь? Ума не приложу, где в Ленинграде тогда он разыскал извозчика? А разыскал ведь! И пролетка — на дутых пинах, лакированных! Я думаю, сидит... мне...

Руки Новака в рубках, мозолях, ссадинах. Тяжелые руки рабочего человека. А мои за пишущей машинкой стали изнеженными, в тот момент они мне даже казались неприлично изнеженными.

После соревнований отдаю Алтекеру давно обещанную репродукцию портрета Заикина, написанного Давидом Бурлюком во Владивостоке летом 1920 года. В сопроводительном тексте к репродукции сообщается, что портрет был исполнен к сорокалетию Ивана Заикина — русского атлета с мировым именем, одного из первых наряду с Уточкиным и поэтом Каменским среди шестнадцати авиаторов, получивших образование под Парижем у знаменитого Анри Фармана.

Да, я зачитывался в юности Куприным, который дружил с Заикиным. Но мою судьбу определил Гаккеншмидт! И это не превеличье. Тогда в лондонском «Скала-Театре» мне посчастливилось встретиться с человеком, который помог мне понять себя и свою силу...

Спрятать что-либо поважнее можно лишь под матрасом, это единственный тайник, о котором, конечно же, знают офицеры-воспитатели, но другого не существует. В стенах этого старинного здания за многие годы учения все всем известно, вплоть до количества ступенек просторных чужуных лестниц, из узоров которых к праздникам нас заставляют выскребывать грязь. Для этого дела нет сподручнеего инструмента, чем трехгранный штык дзевального...



Репродукцию портрета Ивана Заикина работы Давида Бурлюка мне подарил тамбовский коллекционер Николай Алексеевич Никифоров, который был близко знаком с Бурлюком и у которого хранится этот портрет, написанный маслом. Никифоров поведал мне любопытную историю про Бурлюка и Заикина: «Бурлюк был в большой дружбе с Иваном Заикиным, и Давид Давидович рассказывал мне такой эпизод. На одном из выступлений Бурлюка в первом ряду сидел Заикин... Молодчини морячическо-белогвардейского толка попытались сорвать выступление криками и свистом. Тогда встал Иван Заикин, поднял над головой свой стул и начал его крошить руками. Зал притих, и он отчетливо произнес: «Это сотворю с каждым, кто будет мне мешать слушать Бурлюка». В гробовом молчании продолжилось выступление Давида Давидовича...»

Прятать нам в общем-то нечего кроме пачек хлеба для приятелей, отпущенных в увольнение. Но мой одноклассник Толя прячет под матрасом нечто необыкновенное. Знаю об этом несколько человек, среди доверенных и я. Однако упомянуть о книге, запрятанной под матрас не в изголовье, а в ногах — там реже проверяют при непосвященных, — нельзя: я побоялся в любом случае молчать. Книга у Толи с воскресенья до следующей субботы — очередного увольнения. Он читает ее на уроках, но так, чтобы, кроме соседа, никто не видел. И вот, наконец, я получаю книгу на полчаса. Я пробирался в актовый зал, где нам обычно запрещено быть. Со стен на меня взирает генералиссимус Суворов. Огромный портрет в рост: Суворов положил руку на лист бумаги, надо полагать, диспозицию предстоящего сражения. На другой картине Суворов гарцует на сапасах лошадей возле ушек, а вниз, выхватив от ужаса глаза, скатываются его чудо-богатыри. Это известное полотно Сурикова. И вообще Суриков и Верещагин богато представлены в нашем актовом зале. Там, где я устраиваюсь читать, на меня с картины взирают мужики с топорами: жалут, когда по зинзивку поуют наполеоновские фуражки. Я пролежу уютнейшей полчас с генералиссимусом и мужиками, я забываю о времени и, если бы не стук Толи в дверь, читал бы книгу до отбоя.

Книга издака еще до революции. Я читаю ее, вложив в толстенный том Горького (тогда почему-то классики печатались в одном здоровенном томе, при чтении его во время урока с парты все вздрагивало!). Надо сказать, нашим офицерам-воспитателям вменялось в обязанность проверять, какие книги мы читаем. А я держал в руках книгу Георгия Гаккеншмидта «Путь к силе и здоровью». Каковое название! Что мне еще нужно, как не этот путь к силе?!

Я с детских лет страшно неравнодушен к силе и сильным людям. Правда, я не слышал, кто такой Гаккеншмидт. Об Иване Поддубном писался про каждого подходящем и неподходящем случае. Поминать Запкин, но уж как-то всколых. В журналах и газетах уже давно расписаны все титулы, названы все богатыри, которых мы должны знать, а тут Георгий Гаккеншмидт — «Русский легион». Подо старшим секретом Толя сообщил, что Гаккеншмидт живет за границей. Но до чего же увлекательна эта книга! И я забываю, что к автору следует относиться с подозрением. Я переворачиваю страницы, запоминая страницы. Я начинаю понимать, как, в сущности, мало и много нужно для того, чтобы стать сильным. И самое первое условие — режим: не пить, не курить, закаляться обливаниями. Потом непрерывность занятий. Ни в коем случае не пропускать тренировки. Силу вымывает постепенность наращивания нагрузок и непрерывность этих нагрузок. Оказывается, я могу ограничиваться даже сорока минутами в день или через день, но этих сорока минут тренировки достаточно, чтобы воспитать большую силу. Я запоминаю упражнения. Запоминая накрепко.

Я узнаю о существовании некоего доктора Краевского, которому автор «обязан всем, чего добился»...

Я уже тогда упражнялся на брусьях, перекладине или, как мы выражались, «качал мышцы». Преподаватели физкультуры выколачивали из нас неукротимость, слабость, и безуспешно. Меня покорила сила, совершенство форм моего тела. Но быть сильным — достижение ли это, не удел ли избранных, не жалок ли я? Гаккеншмидт властно заявил: нет, не жалок, сила награждает любого, кто предан ей!

Я искал силу в кустарных упражнениях; а эта книга столько рассказывала о силе, о порядке упражнений, перечисляла упражнения! Но главное не в этом. Каждое ее слово дышало любовью к силе, но любовью одухотворенной, освещенной поклонением прекрасному. Книга вдохновенно убеждала: прекрасное в человеке — это гармония, а гармония невозможна без физического и духовного совершенства. И это гармония неизбежна, ее порождает жизнь. Надо лишь следовать зову жизни...

Я старательно вглядывался в подаренную мне фотографию. Юный, могучий Гакк! Я долго смотрю на фотографию, я научен чить мышцы. И я угадываю, какие упражнения формируют те или иные группы мышц. Огромное дарование и работа в этих мышцах!

И вот новое свидание с Гакком — так называли современники Гаккеншмидта — этой весной. Теперь уже в библиотеке имени Ленина в Москве. Оказывается, несмотря мой училышний товарищ так берег ее, ту книгу. Даже в библиотеке имени Ленина она относится к разряду редких и выдается не в обычном порядке.

Сверху на розовой бумажной обложке поясной портрет обаянного Гакка. Под портретом надпись: «Георгий Гаккеншмидт «Путь к силе и здоровью». Под редакцией С. Морро-Дмитриева. Вместо предисловия «Воспоминания о Гаккеншмидте» профессора

атлетики И. В. Лебедева, Москва. 1911 г. Издание братьев Поповых.

Я читаю:

«...Оскудение сел и деревень за счет чудовищного прироста городов; увеличение числа прикованных к конторскому стулу и ведающих сядячий образ жизни и лишь слабые попытки урегулировать неправильную жизнь этих последних путем единственно правильного метода — именно рациональной гимнастики...»

А вот и те слова, которые стали девизом моей спортивной жизни:

«...На вопрос, может ли всякий сделаться сильным, я отвечаю утвердительно... Все дело в том, чтобы быть господином своего тела... Если хотите сделаться сильным и здоровым, то необходимо найти досуг на это, точно так же, как всякому приходится находить время для еды...»

Гаккеншмидт рассказывает свою историю. Он родился в 1878 году в Дерпте. Окончив реальное училище, поступил в Ревеле на машиностроительную фабрику. Собираясь стать инженером. Физическими упражнениями увлекался с детства, а в ревельском атлетическом и велосипедном клубе, продолжая развивать свою силу, стал поднимать тяжелые гири. Случайное знакомство с доктором Краевским — основателем атлетического и велосипедного клуба в Петербурге — определило дальнейшую судьбу Гаккеншмидта. Краевский сказал, что у него есть все данные, чтобы стать самым сильным человеком в мире. И в конце 1897 года вопреки воле родителей Гаккеншмидт отправился в Петербург.

«Доктор Краевский, холостяк, жил в большом доме на Михайловской площади в Санкт-Петербурге», вспоминает Гакк.— Я был принят весьма гостеприимно в доме этого покровителя атлетики. Доктор относился ко мне, как к родному сыну, и в течение моего тренировок представлял в мое распоряжение все то, что он знал в деле атлетики. Одна комната в его доме была украшена портретами лучших атлетов и борцов всего света... Доктор Краевский был, кроме того, основателем частного клуба, в котором ежедневно происходили упражнения с тяжелым весом, гантелями и другими гимнастическими аппаратами и где также усердно боролись. В гимнастической зале у доктора Краевского находились в громадном выборе многочисленные штанги, гантели, гири, а также всякого рода аппараты для развития силы...»

Признаться, я думаю, что «отцом русской тяжелой атлетики» Краевского нарекали мои современники. Но так, оказывается, его называют уже Гаккеншмидт. В одной из глав своей книги — эта глава специально посвящена Краевскому — он пишет:

«Доктор Краевский, у которого была громадная практика, был в высшей степени отзывчивым человеком и дельно безвозмездно бесчисленное множество пациентов из беднейших классов населения. Его приемная была всегда наполнена ищущими помощи...»

Он начал свои физические упражнения на сорок первом году жизни и доселе выглядел гораздо свежее и здоровее, чем когда ему было сорок лет.

Все профессионалы и борцы, приезжавшие в Санкт-Петербург, являлись к доктору Краевскому и экспонировали свое искусство в том гимнастическом зале; при этом они подвергались тут же тщательному измерению, взвешиванию и исследованию. Благодаря этому доктор Краевский приобрел превосходный материал и выдающиеся познания относительно способностей к физическому развитию и различных систем тренировки...»

Тренируясь у Краевского, Гакк быстро приобрел значительную силу (он ел при этом все, что хотел, но пил только молоко) и в том же 1898 году, состязаясь в поднимании тяжестей на звание чемпиона России, получил первый приз — вытолкнул обеими руками 114 килограммов...

А вскоре, регулярно тренируясь и в борьбе, он победил в Петербурге знаменитого французского борца Поля Полеа.

Летом девятно восьмого года Гакк отправляется в Вену, где самые сильные люди Европы состязались в поднытии тяжестей. С этих состязаний ведется счет европейским чемпионам по тяжелой атлетике среди любителей. На том первом чемпионате побеждает австриец Вильгельм Тюрк. Гакк довольствуется третьим местом. Еще не существует деления по весовым категориям — все соревнуется в одной группе. Собственный вес Тюрка 120 килограммов, Гакка — 89. Разница, но нашим представлениям, чудовищная. Впрочем, в снисхождении Гакк не нуждается. Его уже жгут и мировые рекорды и славные победы на ковре.

После одного из самых представительных борцовских турниров в Париже, в сентябре 1899 года, публика стала называть Гаккеншмидта «Русским львом». А в 1902 году в Англии он уже с трудом находит противников, которые бы решились с ним бороться.

Американец Каррик — очень сильный боец — начал свои гастроли в лондонском Альгамбер-театре, лишь прослышав об отъезде Гакка. Каррик, как водилось в те времена, вызывал на арену всех, готовых помериться с ним силой. Однако Гакк еще не уехал и как обычный зритель, купив билет, отправился со своим товарищем на выступление Каррика. Когда американец бросил вызов публике, Гакк стремительно выбежал на арену, а его товарищ вышел за ним в пакете 25 фунтов необходимого залога. Каррик, узнав Гакка, наотрез отказался бороться. В Альгамбер-театре поднялся шум: ведь американец сам вызывал любого на поединок. Каррик «победил» Гакка... с помощью полиции, которая под рев зала увела Гакка...

Равных на континенте «Русскому льву», как продолжали величать Гакка, не было никого. И в 1904 году он отправляется в Австралию, где тоже, несмотря на болезнь, всех побеждает. В 1905 году в громадном нью-йоркском «Мэдисон сквер-гардене» Гакк добивается победы над чемпионом США Томом Джекинсом.

«Я бы положил его гораздо скорее», — пишет Гакк, — но несколько раз, когда я его крепко схватывал, он становился бледным, как полотно, и так как я боялся повредить что-нибудь у него, я его снова выпускал...»

В этом турне по США и Канаде Гакк укладывает на лопатки и всех других знаменитых борцов...

Я закрываю книгу Георга Гаккеншмидта. На обложке в прямоугольничке ее цена: 1 рубль.

Внезапно с удивительной ясностью вижу себя в лондонском «Скала-Театре». Операторы «Би-Би-Си» свернули кабели и увезли аппаратуру, но в воздухе еще стоял запах подгоревшей краски. Он смешивается с запахами расторок, табачного дыма и пива. Уже разбрелись репортеры и знатоки, от которых всегда тесно за кулисами. Торжествуют в автобус спортсмены и тренеры. Вразвалку, громко хохоча, прохаживает финн Калайярв-младший — рекордсмен мира, отчаянный и из турнирных рубак. Медленно выплывает высоченного роста господин с застывшим продолговатым лицом — это «патриарх» американской тяжелой атлетики Роберт Гофман...

Рядом с Гаккеншмидтом — его жена, малосбесная, изящная. А Гаккеншмидт действительно застенчив в своем черном строгом костюме.

— Вас очень помнят у нас, — бормочу я. — Я не преувеличиваю — это так! Вас помнят...

Гаккеншмидт напряженно вслушивается. Он не сразу схватывает смысла моих слов. И вдруг, улыбаясь, закрывает голову — это его характерный жест! — Давно, как это было давно! — И, расклавившись, говорит: — Надеюсь, увидимся вечером. — Он произносит слова с большим акцентом...

Смотрю ему вслед. У старика очень мощный костяк, шея по-борцовски широко и крепко держит голову, но особенно впечатляет его грудь, когда он поворачивается и еще раз расклавившись. Она раздвинута и выгнута чисто по-гаккеншмидтовски (теперь, наглядившись на фотографии молодого Гакка, я прежде всего отмечаю в своем сознании эту подробность).

А вечером перед банкетным залом одного из лондонских ресторанов Гаккеншмидт дарит мне ту свою фотографию и копию телеграммы Краевского.

«Его Высочородно Георгию Георгиевичу Господину Гаккеншмидту, Всемирному Атлету Любительному. Москва. Тверская, Пассажа Постниковой, Атлетическая арена баронессы Кистер.

Санкт-Петербург. 4.П.1898. Георгий Георгиевич! Поздравляю Вас с Вашим Новым Всемирным рекордом. Вы выжали одной рукой двести восемьдесят два и 3/4 фунта, как я вчера узнал. Вас вдохновила Москва. Да здравствует победитель Всемирного Сафлора. Честь и слава России! Ваш обожатель доктор Краевский!»

В тот день, 4 февраля 1898 года, в Москве Георгом Гаккеншмидтом был установлен первый — и не только в тяжелой атлетике, а вообще первый! — мировой рекорд в истории русского спорта.

Рассказываю Антекарию, что написал в «Юность» о Гаккеншмидте.

— А знаешь, он ответил на мое письмо, — говорит Миша.

— У тебя есть письмо Гакка?

— Я списал его адрес с визитной карточки у тебя на столе после твоего возвращения из Лондона. — Он подходит к шкафу, достает папку. — Вот оно, это письмо.

«...Я был в Юрьеве, когда Доктор умер, — разбираю я мелкий неровный почерк Гаккеншмидта. — Мне послали телеграмму, и я немедленно возвратился в Петербург...»

Этот он пишет о Краевском. В начале зимы 1900 года Краевский сломал ногу на Литинском мосту и, проболев около шести месяцев, 1 марта 1901 года умер.

Уже нет в живых и Георга Гаккеншмидта, прозванного «Русским львом». Он скончался в Лондоне 19 февраля 1968 года на девяностом году жизни.

Поклон тебе, Великий Гакк!



Шумел, бурлил, хохотал город... Катились по улицам раскрашенные старые автомобили: окунались в первоапрельское Черное море «моржи», одному из которых исполнилось восемьдесят четыре года (!); дети терзали цветными мелками асфальт вокруг Воронцовского дворца, соревнуясь на звание лучшего художника одесских панелей; одесский таксист-ас Ефим Выдомский спускался по знаменитой Потемкинской лестнице на новом для этой лестницы средстве передвижения — своем перионе «Запорожце», удушав рекорд Сергея Уточкина (мотоцикл, 1903 г.) и Ярослава Харченко (лыжи, 1975 г.); и даже в зоопарке проводился веселый праздник — день открытых зверей. Первого апреля вся Одесса пре-

ТЕАТР В ПОДВОРОТНЕ



вращается в огромную сцену, на которой разыгрывается веселое представление с песнями, плясками и автопробегами. В этом году представление носило название «Юморина-76». Декорации спектакля шикарные: море — как настоящее, дома — будто взлетающие, деревья — от подлинных не отличишь... Собственно, все это действительно настоящее, взлетающее и подлинное, но в дни праздников и на море, и на дома, и на деревья мы смотрим по-новому. В будние дни все это со страшной силой несется мимо нас, потому что мы несемся мимо — кто в школу, кто в институт, кто на работу, кто в магазин, кто к

Фото Ю. РОСТА.

портному... Городские достопримечательности мелькают как ориентир, указатели, путевые знаки, обозначая наш ступенчатый путь куда-то кай отсюда-то. И вдруг в один прекрасный день все остановилось, замерло, и мы зачарованно и не спеша рассматриваем это, как в театре рассматривают декорацию в тот чудный миг, когда за занавес уже раскрывается, а действие на сцене еще не началось.

И вот началось...

Мальчик, проезжая на велосипеде по одесской улице Спуск Жанны Аязбур, завернул в подворотню дома № 6 и въехал во двор. То ли к знакомой девочке он приехал, то ли мама прислала позвать у жилища первого этажа постного мама взымай... Не знаем. Но факт, что мальчик, спешившись со своего велосипеда, остановился посреди двора и в течение часа так и стоял, не двинулся с места. То, что он увидел перед собой, загипнотизировало его.

Посреди двора на бетонном возвышении, которое является частью кофрфорса, подпирającego откос, стоял сминный человечек в шляпе и растегнутой жилетке, под ногами у него перелетал тонконогий собачонка-шниц, по левую руку от него стояла девушка, по правую — точно такая же, так что казалось, в глазах двоится, а третья девушка, в роскошной пироклопной шляпе с цветами, кормила того человека манной кашей с блюдечка! При этом человечек болтал: «Говорят, в Англии выплывала рыба, которая сказала два слова на таком странном языке, что ученые уже три года стараются определить и еще до сих пор ничего не открыли». С одной стороны, вроде бы обычный городской сумасшедший в обычном одесском дворе, а с другой — стоят вокруг люди и благоговейно смотрят на бетонное возвышение, как на сцену в театре... А вся штука в том, что и то и другое имело место — в одесском дворе среди беда дядя давали «Записки сумасшедшего» Николая Васильевича Гоголя, между прочим, именно в день рождения последнего. В главной роли — актер Одесского театра миниатюр Игорь Киеллер, в ролях — актриса того же театра Людмила Сафонова, а также сестры-близнецы Елена и Дина Шойб. Постановка спектакля был режиссером Евгением Ланским.

Ах, какое это чудо — театр! И как легко он сочетается с жизнью, движется рядом, втекает в нее, выпускает жизнь в себя.

На галерею второго этажа вышла погулять девочка лет шести и, облокотившись о перила, стала

смотреть, что происходит внизу во дворе. Актер сразу почувствовал благодарного зрителя и стал девочке — ей и только ей — рассказывать историю петербургского чиновника. «...чтобы я стал перед ним — никогда! Какой он директор. Пробка обыкновенная, простая пробка, больше ничего. Вот которую закупоривают бутылки. Девочка на галерее засмеялась.

Во время другого монолога из одной квартиры выбежала собачка и стала лаять на титулярного советника Поприщина. Он — слово, она — гав! Он — еще слово, она опять — гав!.. Так и переругивались, кто кого. Победило искусство: собака поняла, что соперника не дождет, и убежала обратно в свое жилище.

Из подвала вышли две женщины, с хозяйственными сумками, пересекли двор и направились к арке, ведущей на улицу. «Постойте!», — позвала себе вольность в тексте Гоголя Игорь Киеллер. Та, что шла слева, обернулась и крикнула той, что шла впереди: «Наташа, тебя зовут!» Наташа остановилась. «Завтра в семь часов совершится странное явление: земля сидят на луну», — таинственно поведала ей Поприщина. «А ну вас!» — добродушно отмахнулась Наташа и двинулась дальше. «Об этом и знаменитый английский химик Веллингтон пишет!..» — в отчаянии закричал ей титулярный советник. Но Наташа и ее спутница и слушать не стали, ушли.

Из одних дверей в другие по галерее мать-старуха и ее великовозрастный сын переносили какой-то предмет мебели. У них были свои дела. На то, что происходило внизу, они не обращали никакого внимания. «Заноси его углом вперед... Углом, говорю! А теперь на попа, на попу...» И опять Гоголь ничуть не пострадал. Напротив, реплики, подаваемые с галереи, лишь добавили реальности театральному действию во дворе, отнеся здоровым бытом печальный гоголевский текст...

И еще — сближение великой литературы с жизнью происходит так безоблачно, потому что великая литература тоже есть жизнь, самая настоящая жизнь, несмотря на то, что события, в ней описанные, происходят порой «Мартурба 86 числа. Между днем и ночью»...

Когда журналисты, аккредитованные на «Юморине-76», разъезжались по домам, корреспонденты «Антилопы-Гну», сатирического отдела газеты «Вечерняя Одесса», спрашивали каждого, как он представляет себе «Юморину-77». Я ответил, что считаю в корне непра-

вильным приглашать на праздники смеха и веселья смешливых и веселых людей. Какой смысл? Им и так хорошо в любом городе. А вот если собрать в Одессу утрюх, мрачных и пусть пожмут несколько дней в гуще веселья, среди жизнерадостных людей, пусть как сасует зарыться и разведутся по домам поздоравливающимся, со счастливыми улыбками на разгладившихся лицах!

А если серьезно — хотелось бы, чтобы «Юморина» будущий сезон превратилась, кроме всего прочего, в событие театральное. Город Одесса в день смеха — идеальное место и время для весеннего фестиваля комедийных спектаклей. Собственно, в этом году мини-комедийный фестиваль уже состоялся. В рамках «Юморины» выступал Одесский театр миниатюр, в котором блистали писатель-юморист М. Жванецкий, актеры Р. Карцев и В. Ильченко; экстрадные артисты Москвы, Ленинграда, Киева оккупировали две главные площадки города — Дворец спорта и зал филармонии; очень интересные спектакли показывал Театр Веселых и Находчивых по «Голубой книге» Михаила Зощенко, поставленный режиссером Олегом Штакеншнейдером. В общем, если уж в Одесском зоопарке устроен «Зооюморину», то «Театроюморина» в Одессу просто просится.

В. СЛАВКИН



КЛОУН КУКЛАЧЕВ И ЕГО КОШКИ

Фото
Г. ПИНХАСОВА



В начале века знаменитый Анатолий Дуров выезжал на цирковую арену верхом на свинье. Молодого клоуна Юрия Куклачева вывозят на легкой тележке... кошки.

А ведь кошка, как до сих пор считалось, не поддается дрессировке. Однако кошки Куклачева не только выполняют различные трюки — салято-мортале, колесо, стойка на передних и на задних лапках,—но и участвуют в сюжетных аттракционах.

На арену полого московского цирка, что на проспекте Вернадского, выбегает наш клоун в зеленом с цветочками пиджаке и в поварском колпаке. Он несет дымящийся чугунок со щами. За по-

ясом у него большая деревянная ложка. Но когда Куклачев, обжигая пальцы, сбрасывает с чугуна крышку, то обнаруживает в нем... котя, который довольно облизывается и мяукает. А где же щи? Когда же незадачливый повар наконец выдворяет котя из чугунка, тот начинает с яростью тигра гоняться за ним по арене.

Клоун Куклачев умеет не только дрессировать кошек, он хороший мим, акробат, мастерски жонглирует шестью предметами, ходит по проволоке. Но сами понимаете, что говорим мы прежде всего о кошках. Я спрашиваю, как пришла ему в голову эта идея — дрессировать кошек?

— Случайно,—говорит Юрий.—

В семьдесят втором году в Черкассах после представления я решил немного прогуляться. Иду по скверу и вдруг слышу, как кто-то жалобно попискивает в кустах. Раздвинув ветви, я увидел ободранного, мокрого и голодного котенка. Я подобрал его, принес в номер, накормил и высушил, как рукавицу, на батарее. Наутро жалкий котенок оказался вполне симпатичной кошечкой, которую я назвал Стрелкой. Она провела меня, когда я уходил из дома, и встречала, когда возвращался. Она испрыгивала ко мне на плечо и терлась о мое большое ухо. Мы частенько играли: я, Стрелка и собачка Паплет. Когда собачка крутила салято-мортале, кошечка с

иптересно наблюдала за ней. Скуки ради я решил научить разным трюкам и Стрелку, чтобы было чем при случае развлечь гостей. Копка оказалась на удивление покладистой. Работала она не за падачки, а играючи. Она научилась салить-морталить, стойко на задних лапах. Я стал показывать Стрелку трюки, и безуспешно. Тогда-то и родилась идея вывести умную кошку на арену. Остальные кошки, которых я вскоре набрал, стали работать под ее руководством.

— С кошками все ясно. А как ты сам пришел на арену?

— Как я добрался до клоуновской жизни, ты хочешь сказать? Еще в школе у нас в классе сложилась компания веселых ребят. Острили по всякому поводу и сами смеялись первыми. Я веселил класс по-иному: отвечая у доски уроки, невольно помогал себе мимикой и жестикуляцией. Что-то в моем лице было такое, что не только ребята, но и учителя просто покетывались со смеху. Поначалу я замесил, что меня тоже принимают за хохмака, а потом привык к этому и даже стал подумывать о своей необходимости. А после четвертого класса я впервые попал в цирк. В старший московский цирк — на Цетном бульваре. Какой-то дядька предложил мне дешевый билет, я на ошупь подкачал в кармане свои копейки и взял билет. Этот случай решил мою судьбу. Год за годом пытался

я попасть в цирковые училище, но мне отказывали. То комиссия не устраивала мои мышцы, то я не казался смешным.

— Но ты все же попал в цирковые училище...

Да, но сначала, не зная, куда себя деть, я поступила в полиграфический техникум. Там у меня появились друзья, с которыми мы не раз сбегали с последних лекций в кино. Но однажды он отклонил мое традиционное предложение, сказав, что спешит на репетицию в цирк. «В какой цирк?» — обабдел я. «В народный. В клуб «Красный Октябрь». Сердце у меня так и подпрыгнуло: «А мне можно на репетицию?» «Валей, там всех принимают». К этому времени я самостоятельно научился жонглировать зонтиками и стоять на одной руке. Я сбегал за зонтиками, и мы отправились в клуб. Михаил Михайлович Зингер, руководитель народного цирка, посмотрел мои «номера», потолкавал со мной и велел приходить каждый день. Я обязан Зингеру хорошей школой. Он научил меня ходить по проволоке, балансировать на пяти катушках, летать на трапеции, крутить салить-морталить, взбираться на альпинистскую лестницу, жонглировать шестью предметами. В 1967 году я стал лауреатом Всесоюзного слота народных цирков. И в том же году меня наконец приняли в цирковые училище на отделение клоу-

нады. Однако кто знает, как бы сложилась сегодня моя артистическая судьба, если бы я не повстречался со Стрелкой.

— Расскажи историю появления «Кот и повар».

— Когда от трюков мне захотелось перейти к сюжетному номеру, Стрелка сама подсказала, как это сделать. Однажды я пришел домой довольно поздно и был удивлен, что Стрелка не встречает меня, как обычно, у порога. Не раздеваясь, я стал ее искать, звать. Заглянул в темные углы под кровать, но кошки нигде не было. Наконец, я нашел Стрелку на кухне — в чистой эмалированной кастрюле, которая стояла на плите. Стрелка спала там, свернувшись в клубок. Я взял ее за шиворот и опустил на пол. Но на лице у меня, по-видимому, была такая улыбка, что кошка повела себя, как проказливый ребенок, который знает, что ему все сойдет. Она вспрыгнула на табуретку, потом на плиту и вновь забралась в кастрюлю. Так что мне осталось лишь доработать, отшлифовать этот номер. Сейчас я отыскал новые номера с кошками. Придумал несколько самостоятельных аттракционов. Думаю, что руководство Госцирка меня поддержит. В конце концов я ведь не кот в мешке предлагаю...

Александр ЮДАХИН

Весной прошлого года неожиданно-негаданно попал я на праздник медведя в далекую хантыйскую деревню. Медведя еще осенью добыл хозяин дома Алексей Стпанович Молданов и берег голову зверя вместе со шкурой до весны. До возвращения охотников из тайги. И вот я избе собрался гести — веселящим, пели народные песни, танцевали. Небольшие воспоминания слова хантыйского поэта Миккула Шульгина:

Громче, друг!
Шире круг!

Посмотри.
В рубаше красной

Вышел парень —

Сокол ясный!

На лице у парня маска.

Вот он топнул, как медведь,

Это ж вам медвежья пляска!

Надо топать и ренеть.

На все это все время смотрел медведь. Он присутствовал на празднике, его голова и шкура лежали в самом центре, где и положено быть виновнику торжества.

Для всех это было не просто веселье. По старым преданиям, при-

ПРАЗДНИК МЕДВЕДЯ

существующие на празднике становятся для медведя близкими знакомыми, а это придает смелости при встрече с топыльным в тайге. Потому что убегающий чело-

век жалок. И таких медведей презирают. Будь смея при встрече, чувствуй себя хозяином, и медведь уступит тебе дорогу, а если уж он намерен напасть на человека, то прими бой, ибо в тайге от косялового не убежишь. Так считают старики ханты, а они таежники опытные...

В самый разгар праздника ко мне подсел старый охотник Андрей Тимофеевич Вагатов:

— В старину все не так выглядело. Праздник медведя должен быть похожим на маскарад, а здесь — ни одной маски. И наряды самые обычные. Где орнаменты? Их нет. Некому делать, — с горечью констатировал он. — Молодые за современной модой гонятся. Старые, стыдись, прячутся платья по сундукам. А ведь это наше, национальное...

Я вспомнил праздник медведя в приобском поселке Питляг. Из темноты сених на меня смотрели маски с удлиненными лицами, с раскосыми глазами, серьезные в своей неподвижной торжественности. Они были вывешены на стень-



ке у входа, а рядом, на пролке, валился небрежно сваленные в кучу грубо обработанные топором заготовки, не доделанные еще, мелкие деревянные скульптуры. Они пылались, ожидая свой черед, а хозяин дома «кодовал» стамеской над огромным куском киша (нарос на сосне), и под его инструментом провалилась новая маска.

Порой художник отрывал свой взгляд от работы и заглядывал вдали. Там несла свои мутные воды Обь, Большая Обь, где не рискуют плавать быстходные «Метеоры»: в шторм разгуляется волна, как на море. Для мелких судов предпочтительней фарватер Малой Оби. И для того, чтобы попасть к молодому хантыйскому художнику-любителю Геннадью Хартганову, мне пришлось три дня ждать теплохода в Салехарде, потом пересаживаться в лодку (у берега мелко, и суда не пристают), затем разуваться и брести по колено в воде к крутому песчаному яру, где стоит поселок Питяяр.

Поселок этот делится маленькой речушкой на две части. Одна обычная — с детским садом и магазином, с клубом и вновь строящимися домами, скотный двором и огородами. Вторая... Стоит перейти деревянный мостик, и впечатление, что не в деревню попал, а в музей — заповедник хантый-

ского поселения. Аккуратно срубленные домишки разбежались по зеленому косогору, рядом «избушки на курьих ножках» — амбары на стойках. Тишина, чистота, и улица покрыта совсем невытоптанным свежесрезанным ковром травы-муравы. О чистоте и музейной радости подумали сами селяне: на поселковом Совете постановили запретить тракторам заезжать в хантыйское поселение и уберечь улицу от грязи...

У околицы деревни, при выходе в лес, стоит вырубленный из дерева идола, но не обычный безжизненный идола, казие иногда встречаются в северных лесах Приобья, а обобщенный образ старика-леса, который простер к небу руки, сучья, и его искаженное от боли лицо молит о пощаде.

Скульптуру эту вырезал Хартганов, национальный художник, который работает у себя в поселке плотником, а в свободное время занимается резьбой по дереву. Его работы: маски, идола, мелкие, похожие на амулеты подделки из дерева — все это традиционный жанр для народов Северного Приобья. Но... традиционная национальная скульптура статична, а Хартганов вводит в свои произведения движение, пластику, создает сюжетную композицию.

— Как-то на творческом семинаре в Салехарде, — вспоминает Хартганов, — сделал я работу, назвал «Строганина». Сильно накалила фигурку человека, чтобы чувствовалось напряжение. Участники семинара возмущались: дескать, в жизни так не бывает. Но именно она попала в Москву на выставку. Сейчас эта скульптура находится во Всесоюзном доме народного творчества в Суздале.

Службу в армии Хартганов проходил под Ленинградом. После армии работал на строительстве нефтепровода Усть-Балык — Омск, вначале плотником, потом бетонщиком в комсомольско-молодежной бригаде. Вернулся домой и открыл цех по ремонту судов. Здесь черпал темы для скульптурных композиций, и прообразами ему служат земляки.

Геннадий выстраивал в стариков, как раньше с рогатой на медведя ходили. И создал композицию «Охота на медведя». Я видел ее у Хартганова. Перед охотником стоял не плюшевый мишка и не зоопарковский, стиснутый клеткой, а мешковатая глыба, из которой выпирает чудовищная сила. Именно таким и предстает перед человеком медведь, если его



не ведут на ошеники, а встречаются в тайге с глазу на глаз. Может, анатомически он выглядит и не таким мощным, но попробуй-ка встретиться с ним в лесу один на один, и воображение вам дорисует именно такую глыбу...

— Как-то передали мне кусок липовой доски, — вспоминает Хартганов. — Первый раз я с таким мягким материалом встретился, у нас липа не растет, и за три часа вырезал скульптуру «Эдзика танцует».

«Эдзика» — герой книги ненецкого поэта Леонида Липуца. Эта работа потом попала в Москву в Манеж на выставку «Сила труда». После этого скульптуры «Эдзика танцует», «На охоту» и «Старик» побывали на международных выставках в Польше, Чехословакии и ГДР.

Наверное, не многим художникам сопутствует такая удача: всего четвертый год занимается резьбой по дереву Хартганов, а его работы уже побывали на международных выставках и приобретены многими музеями.

Анатолий ПАШУК

Фото автора



Анатолий
ЭЙРАМДЖАН

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИС

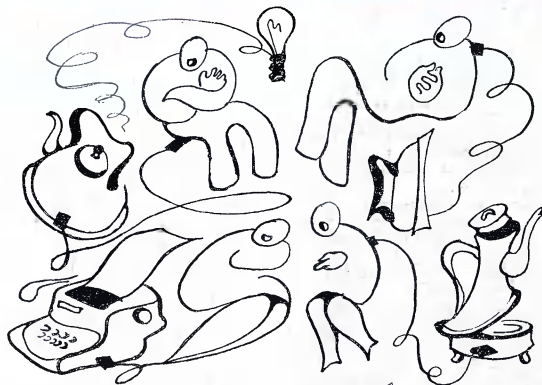


Рисунок Е. КОРНИЛОВИЧ

Мы, как обычно, болтали с утра о том, о сем, а профгруппорг наш Слава Михайлов читал газету и вдруг как вскрикнет:

— Товарищи! Слышали, что сейчас творится в мире? Мир переживает, оказывается, энергетический кризис! А в это самое время мы в нашем отделе сидим, треплемся, вот так, впусую, растрачиваем нашу энергию, разбазариваем ее, можно сказать...

— Да, — охотно согласились мы. — А что делать?

— А вот как было бы хорошо, — мечтательно сказал Юрий Газанчан, — вот сидим мы, говорим о том, о сем, а какой-нибудь приборчик эту нашу энергию в полезную преобразовывает...

— Все же совестно иногда, ребята, ей-богу! — вздохнула Клавдия Матвеевна. — Зарплату ведь получаем...

А Степан Евгеньевич, который нет-нет, а что-то все же делает, сказал:

— Но ведь я нет-нет, а что-то делаю!?

— Правильно! — согласились мы. — Но в тот момент, когда вы нет-нет, да ничего не делаете, тоже не помешает, чтобы от вас польза была...

А Слава уже достал из ящика лабораторическую линейку и принялся что-то высчитывать, вычерчивать...

— Заработал! — усмехнулся мы. — Заело!

Слава проработал весь день как проклятый и еще две недели после этого: возился с какими-то проводами, диодами, триодами... И в один прекрасный день приходим мы на работу и он нам объявляет:

— Друзья! Теперь нас не будет мучить совесть за бесцельно потраченное время — несложное устройство, изобретенное мною, позволит всю энергию, затрачиваемую нами на утомительное сидение в отделе, преобразовывать в полезную... Пока что в электрическую... Поэтому не удивляйтесь, обнаружив на своих местах датчики. Я отключил вашу комнату от электросети, и с сегодняшнего дня мы целиком переходим на самообслуживание. За Клавдией Матвеевной закрепляется электролампочка! Виноградова подключена к потолочному вентилятору, Пипчиков — к вытяжному! Я изнял на себя автомат газированной воды, что на нашем этаже, а все остальные подключены к мажбюро — будут обслуживать электрические машины «Оптим!» Степан же Евгеньевич, поскольку цикл его не изучен, подключен пока к контрольной лампочке...

Сели мы на свои места, стали рассказывать, как обычно, новости, просмотрели газеты — и все у нас нормально: вентилятор потолочный кружится, вытяжка работает, в коридоре газировочный автомат подбывает, за стеной стучат «Оптимы»...

Клавдия Матвеевна поставила чайник на плиту и не успела до

конца рассказать про скандал с соседкой, как чайник уже вскипел. Намного быстрее, чем обычно.

А у Степана Евгеньевича контрольная лампа то засветится, то потухнет, а то дрожит тихонечко волосок, и не поймешь, накаляется он или нет...

В конце дня похвалили мы Славу:

— Молодец! Выручил нас... Теперь хоть совесть чиста: ведь как-никак энергию государственную экономим, пользу, значит, приносим!

А на следующий день забежал к нам Оскин, инженер-конструктор из соседнего отдела. Увидел, как моментально у нас чайник вскипел, и говорит:

— Нужно подключиться к вашей линии, а то у нас целый день приходится ждать, пока чайник вскипит!

— Нет уж! — расступилась вдруг Клавдия Матвеевна. — Буду я еще чужие комнаты обслуживать, как же! Да вапа Татьяна Голенищева не то что чайник — ведро за секунду вскипятит! Да и ты, Оскин, если на то пошло — иди садь на мое место и на стаканчик крутого киятку запроси себе наговорись!

Оскин, ничего не поняв, выскочил из отдела, а Слава Михайлов прилягнул втокновать Клавдию Матвеевну:

— Поймите, если другие отделы будут киятничать воду на нашей энергии — это опять же большая экономия! Я уже все подсчитал: 1 киловатт-час электроэнергии, по-

многочисленный на сотрудников нашего института,—это 120 кг хлеба, 2 т цемента, 20 пар обуви... Представляете?!

— Ладно,—согласилась Клавдия Матвеевна,—только пусть здесь кипятят, а подключаться на стороне я ни за что не позволю!

А через несколько дней, когда Славы не было в отделе, Клавдия Матвеевна пожаловалась вам:

— Устаю я, ребята! Шутка ли—до 30 чайников в день кипятить! Как вижу, до какого кадения плитка разогревается—у меня на нервной почве крапивница высыпает...

— Раньше трещали эти «Оптимы»,—поддержала ее Юрий Газанчик,—я и не слышал их, честное слово... А теперь—как по сердцу, как по сердцу! Ведь на нашей энергии работают...

— А такой пропеллер крутить, думаете, просто?—кинула на потолочный вентилятор Виноградова.—А после работы еще дома дела полно, дочка—школьница...

— Вот Степану Евгеньевичу хорошо,—сказал я.—После-туть чуть-чуть своей лампочкой и—все, шабаш!

— Да и светит-то как!—сказочно добавила Пиндикова.—Волосок у лампы еле краснеет, душень—потухнет! Разве это работа?!

— Слушай, Славушка!—вздыхала Клавдия Матвеевна.—Отключи ты меня от этой плитки... Не могу я—сила большая нет... Я уж лучше работать буду, честное слово!

Да и мы все ее поддержали:

— В самом деле—нет ведь у нас в стране энергетического кризиса, чего же мы надеемся! Лучше уж будем вкалывать, согласно штатному расписанию, согласно специально-стям!

Уговорили, короче, нашего профоргупора. Отключая он нас от своей системы. Только у Степана Евгеньевича попросили мы оставить контрольную лампочку, чтобы можно было изучить его загадочный цикл. На всякий случай... В самом деле, как у человека так получается: то засветится лампочка, то потухнет, а то дрожит тихонечко волосок, и не поймешь, горит он или нет...

Виталий БАБЕНКО

ДУЭЛЬ



Скалоуты метро шли вверх и вниз. На том, что ехал вниз, стоя человек по имени Кузьмич и смотрел прямо перед собой.

Он молчал, потому что надо было смотреть прямо перед собой, а если бы он стал смотреть по сторонам и разговаривать, то мог бы упасть.

Впереди монументального Кузьмича стояла женщина, которая, катротив, могла свободно смотреть по сторонам и разговаривать, но не делала этого, поэтому имени ее никто не знал.

Теперь так. Внутренний Кузьмич, опять же молча и не смотря по сторонам, нагнулся вперед и звучно поцеловал женщину в затылок. От этого он сызнова мог упасть, потому что женщина стояла на две ступеньки ниже, но Кузьмич обхватил женщину руками и не упал.

Он сделал так потому, что женщина оказалась ему не просто женщиной, а женой, которую нужно было пригласить и облакать, чтобы она не подумала плохо.

От неожиданности женщина настолько обомлела, что забыла дать

Кузьмичу пощечину, которой тот явно заслуживал.

В это время по ступенькам, крутя ногами, поднимался человек по имени Петюшину. Он крутил ногами по той же причине, по каковой Кузьмич молчал и не смотрел по сторонам, то есть боялся упасть. А поднимался он по эскалатору потому, что перепутал его с дружи-тем, который поднимается вверх сам.

Стало быть, означенный Петюшину достиг Кузьмича и внимательно посмотрел на него. Петюшину тоже показалось, что женщина, которую все еще целовал Кузьмич, стоявший на две ступеньки выше, не просто женщина, а его жена и ее нужно защитить. По этой причине он остановился, но не упал, потому что ухватился за женщину.

Петюшину сделал это с полным правом, так как считал ее своей женой, и сказал Кузьмичу несколько слов, отчего тот перестал целовать женщину и тоже сказал Петюшину несколько слов, потому что упасть уже не боялся.



Рисунки
И. ОФФЕНГЕНДЕНА.

Женщина смутилась и покраснела: понятно, слабому полу всегда льстит, когда за его достоинства вступаются мужчины.

— Не думаете ли вы, милорд, — в общих чертах сказал Петюшина Кузьмич, — что благородный человек может пребывать в стороне, лицедея, как незнакомец лобзает его супругу на глазах у достойного собрания? Если вы убеждены в том, что происходящее остается в рамках законности и морали, я готов доказать вам сию минуту и на деле, как глубоко вы заблуждаетесь.

Вокруг Петюшина в Кузьмича образовалось свободное пространство, так как публика раступилась, полагая, что в поединке за честь дамы должны участвовать только двое.

— Прекрасный сир! — уславно говори, сказал Кузьмич Петюшину. — К чему такие рапсы? Уж коли вам не хватает учтиности и деликатности, дабы диспетриятно изложить свои претензии человеку высокого звания, возмите на себя труд быть менее многословным.

Теперь, так. Женщина, которая не была ни женой Петюшина, ни женой Кузьмича, решала, что для разгнания спора она больше не нужна, и поспешила высвободиться из объятий. Кузьмич, который давно уже разговаривал и потому мог упасть, действительно упал, но к ногам Петюшина. Петюшин, который от разговора забыл крутить ногами и тоже мог упасть, опять же действительно упал, но на Кузьмича.

— Презренный таты! — примерно в таком духе вскричал Петюшин. — Слыхано ли, чтобы среда бела дня кавалер вел себя столь неподобающим образом? Я требую немедленной сатисфакции. — Он попытался стянуть с руки перчатку, но за неимением последней и вообще по ошибке стянул туфлю и ударил ею по лицу Кузьмича.

— Гнусный смерд! — выражаясь фигурально, возопил Кузьмич. — Навесенное вами оскорбление можно смыть только кровью. Я принимаю вызов. Будем драться без секундантов, на шести шагах и через платок. — Он полез за платком, но спутал свой карман с петюшинским и отодрал тому полу штаника.

Да не буду я сыном своей престарелой матери и братом своей непорочной сестры, если не иду супостата жизни и не посылаю себя тем присно и во веки веков! — так можно передать смысл слов Петюшина. Он схватился за оружие, а не найдя такового и об-



рета под рукой авоську Кузьмича, что есть силы хватил его по голове противника. Голова разлетелась на мелкие осколки, потому что авоська была не пустая, а с бутылками. Оказалось, однако, то была не голова, а светильник эскалатора, медленно упавший вверх.

— Как?! — иносказательно изумился Кузьмич, задыхаясь под Петюшиным. — Моим же доспехом и мне же по чьей? — Он тоже подумал, что разлетелась его голова. — Нет, милостивый государь, истинно: не быть живыми нам обидно! — и нырнул врата кинжалом в живот.

Даьше вот что. Кинжал случился расческой, выпавшей из разорванного кармана Петюшина, а по причине тесноты угодила его Кузьмич в живот не Петюшина, а свой, и подумал, что убит. Поэтому закричал он, если дауамтиса, следующее:

— Не взыщите, христиане! По-неже кончаюсь я от руки отребья низкого и честь мою почитаю долгом передать высшему суду, да падут стены храма сего на обидчика! — Здесь Кузьмич извернулся и крутанул адскую машинку, которая оказалась непонятного ему назначения ручкой, и эскалатор остановился.

Публика привычно заропала, а некоторые неосторожные даже повалились на враждующих. Тут Петюшину с Кузьмичом привиделось, что стены и впрямь рухнули на них, и оба испустили дух.

Они испустили дух до утра, потому что утром между ними произошел такой разговор.

— Эта... — грустно поделился Кузьмич с Петюшиным, обозревая скучное помещение, которое никак не могло оказаться его квартирой. — Вчера-то... тово... а?

— Тоисе, опять же... — уныло вздохнул Петюшин, разглядывая дверь, которая тоже не была дверью его комнаты, потому что он свою никогда не обивал железом. — Эвоного... Не то, стало быть, знаешь как?.. То-то...

— Ну, ты скажешь!.. — печально изумился Кузьмич. — Прямо вроде это... здорово-живешь.

— Еще был! — горестно вскрикнул Петюшин. — Раз — и готово. Вот, мол, каково... И все дела...

— Ну, значит, так тому и быть, — тоскливо подвел итог Кузьмич.

МЕЖДУ НАМИ, ХОЛОСТЯ- КАМИ

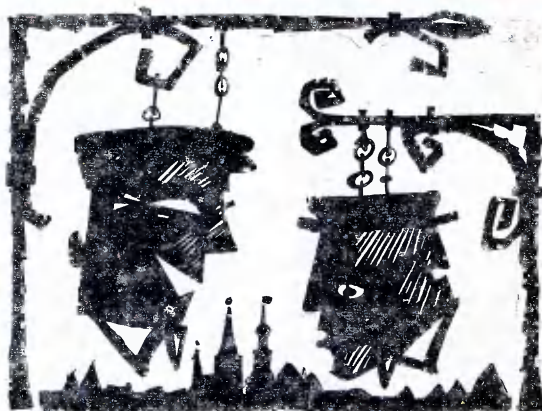


Рисунок О. КОКИНА

— Ты знаешь Магдалену? — спросил Теодор.

— Эту тихоню? Знаю...

— А что ты о ней знаешь?

— Ну, что конспекты у нее замечательные. Однажды перед экзаменами зашел к ней одолжить конспект...

— И получил конспект? — ехидно заинтересовался Теодор.

— Получил.

— А что было дальше?

— Дальше!

— Ну давай, давай, рассказывай!

— Отдал конспект.

— И это все!

— А что же еще?

— Идиот!

И Теодор, понизив голос, рассказал мне волнующую историю. О себе и Магдалене...

— А Катрин ты знаешь? — спросил затем Теодор.

— Как же мне ее не знать! На предпоследнем курсе она жила в нашем общежитии и несколько раз приглашала меня к себе.

— Не может быть!

— Почему не может быть? В общежитии я считался специалистом по пробкам.

— Ну и как же ты их вышибал?

— Не вышибал, а чинил. Речь идет об электрических пробках.

— Ага, значит, полный интим — темно и страшно.

— Когда же приходил, было именно так.

— Ну, а ты?..

— Ну, я залезал на стул, починая пробки, и становилось светло.

— Идиот!

И Теодор вздохнул поведал мне головокружительную историю. О себе и Катрин...

— Ну, а Женни тебе знакома? — обратился ко мне Теодор после некоторой паузы.

— Ты имеешь в виду Женни Рамлан? С ней мы почти год работали вместе да и в одном ансамбле пели.

— Ну, и спелись? — хихикнул Теодор.

— Да как-то не успели... Однажды я заменяя ударника и вывихнул руку, пришлось оставить самодеятельность...

— И тогда Женни тебя оставила тоже?

— В том-то и дело, что нет! Женни сама пришла ко мне домой, спросила, что принести из магазина?

— Ну, а ты, весь такой мужественный, лежишь в повязках и говоришь: «Коньяка и сыру». Да? Ну, еще разве что пачку сигарет «Филипп Морис»...

— Ты что?!

— Значит, пили водку и курили «ТУ-104»?

— Ничего мы не пили и не курили! Вообще неловко как-то получилось с ее визитом. Я лежал в постели, в пижаме...

— Ну, а дальше, дальше-то что было? Не трюм!

— Извинился перед девушкой, что у меня только одна комната и что негде переодеться, ну, и вообще... поблагодарил и попрощался.

— Что?!

— Поблагодарил. И попрощался.

— Держите меня!.. И ты что, вот так прямо сказал: «Спасибо» — и она ушла?..

— Ну да. Разве вежливый человек может не поблагодарить? — Идиот!

И Теодор с горящими глазами рассказал мне сумасшедшую историю. О себе и Женни...

Отдышавшись, он еще что-то вспомнил:

— Слушай, Лиа просила тебя навесить ее сегодня. Ты ей какую-то книгу дать обещал.

— А, да...

— Между прочим, Лиа просила тебе передать, чтобы ты пришел пораньше, потому что она боится темноты. Поди, мол, узнай, что на уме у этих холостяков. Так что, если ты утром опоздаешь на работу, я чего-нибудь придумаю для нашего шефа. Час!

И вот тут я, открывенно говоря, испугался. Как пить дать этот Теодор что-то насочинил про меня Лиа! Иначе с чего бы ей меня бояться?..

— Лиа, — сказал я на всякий случай, когда явился к ней, — ты только не бойся. Я сейчас отдам тебе книгу и сразу же уйду.

— Знаешь, кто ты? — сказала мне Лиа. — Ты такой же идиот, как и твой дружок Теодор!

Перевел с эстонского
Григорий ЯБЛОНСКИЙ

г. Таллин.

Трещал звонок. Тревожно замигала лампочка. Петелкин вздрогнул и проснулся. Нажал на кнопки: «Загрузка», «Пуск», «Выход». Зевнул. Посмотрел на часы и снова задремал.

Через некоторое время его опять разбудил звонок. В том же порядке он нажал кнопки и так же уснул.

Ровно без пяти шесть он отключил систему автоматического управления своим агрегатом—рабочий день кончился.

По пути домой завернул в пивную-автомат—освежиться после рабочего дня. Бросил Петелкин двуривенный в автомат с надписью «Свежее пиво», тот хрюкнул и выплюнул пены на полкружки. Петелкин изо всей силы, накопленной за трудовой день, трахнул кулаком по железному корпусу.

Автомат захрюкал и замигал разноцветными лампочками. И вдруг табло слабо засветилось, там кривыми буквами было написано: «Треба доплатить!»

— Ах ты, спекулянт! — И Петелкин ударил его сильнее.

Табличка загорелась ярче. Петелкин оглянулся — пожаловаться некому. Кругом одни автоматы. Доплачивать принципиально не стал и огорченный вышел на улицу без пива. Видит — на углу стоит такси. Вместо шофера в машине сидит электронное устройство и мигает зеленой лампочкой, мол, «свободен». Петелкин сел в машину, набрал код своего района, заплатил по тарифу стоимость проезда. Мотор чихнул, и машина поехала.

«Хорошо,— думает Петелкин,— а то б сидел какой-нибудь тип и цену себе набивал. Туда не поеду, туда далеко... Тыфу!»

Едут они так, едут, и вдруг машина затормозила и стала как вкопанная. Ни взад, ни вперед... А электронное устройство хрюкает и нагло мигает кривой табличкой «Треба доплатить!». Возмущенный Петелкин хотел принципиально выйти, а дверь не открывается и током бьет.

— Чертова кибернетика! — выругался он и бросил в автомат рубль. Электронное устройство проглотило его без всякого зазрения кибернетической совести, но табличка не погасла.

Петелкин дрожащей рукой вынул трояк и затопал в автомат. Машина рванулась и понеслась по автостраде.

— Грабители! — буркнул Петелкин.

Автомат щелкнул — и на табло вспыхнуло: «Берегите нервы!»

«Треба доплатить!»



Наконец Петелкин добрался домой. Усталый и злой. Решил принять душ, чтобы успокоиться. Открыл кран — воды нет. Опять безудача. Позвонил в техническую службу. Через несколько минут в комнату вползло паукообразное электронное существо. Электронный паучок обнюхал трубы. Разобрал кран и вдруг замер.

— В чем дело? — гаркнул Петелкин.

На «паучке» вспыхнуло кривое табло: «Гани магарыч!», — при этом устройство захрюкало.

И тут нервы нашего Петелкина не выдержали, схватил он подвешенную ему под руку швабру и резал ею электронахалу прямо промеж индикаторов.

«Паучок» растерянно заморгал разноцветными глазами, пискнул и покорно принял за работу.

Через несколько минут водопровод функционировал нормально. Но тут вдруг тревожно замигала красная сигнальная лампочка. «Паучок», взвизгивая сиреной, полез на стену.

Дверь распахнулась, и в комнату решительно вошел районный слесарь Тушаков в канадской дубленке, ондатровая шапка набекрень. В правой руке он держал черенный коробок с антенной, в левой — плоский чемоданчик типа «дипломат».

Паукообразное электронное устройство перестало реветь и, повиснув на люстре, жалобно замыкало.

— Поди сюда,— строго приказал ему Тушаков.

Оно послушно прыгнуло и, игриво виляя щупальцами, как собака хвостом, подошло к нему. Слесарь пощупал его, раскрыв чемоданчик, вытащил оттуда гаечный ключ, подвертел им что-то в «паучке» и рявкнул: «Марш домой!» «Паучок» взвизгнул и пулей вылетел за дверь.

— А с вас, гражданин, надо бы еще штраф слупить за оскорбление техники физическим действием.— И слесарь небрежно бросил в чемоданчик гаечный ключ. Чемоданчик поканулся и упал со стула. Оттуда выпали паяльник, гаечный ключ, щипцы, две отвертки и несколько кривых табличек со знакомыми словами: «Треба доплатить!». Тушаков нагнулся, чтобы подобрать с пола свои вещи.

Петелкин снова схватил швабру, замахнулся... И вдруг руки его бесильно опустились. Сзади, на спине Тушакова, прямо на модной дубленке зажиглись страшные буквы «Берегите нервы!».

В НОМЕРЕ

ПРОЗА

Ирина РАКША. А какой сегодня день? Рассказ	3
Иса КАПАЕВ. Выдержал... Рассказ	8
Эдуард БАБАЕВ. Рассказы	15
Валентин КАТАЕВ, Ливановы (Слово перед дебютом)	24
Василий ЛЕГАНОВ, Агния, дочь Агнии. Сказание о скифах	26
Наталья ХМЕЛИК. Польские пластинки. Рассказ	58

ПОЭЗИЯ

Илья ФОНЯКОВ. «Дни проходят, пролетают ночи...». Плотник. Баллада об энтомологе	2
Валентин СОРОКИН. Росчерк на облаке. «Я любил тебя нежно, без печали и боли...». «А в сентябре от ветра не согрелась...». «И тебя, о ком я горевал...»	13
Леонид ГРИГОРЬЯН. Ночь в феврале. «Я друга узнаю — с намека, с полуслова...»	14
Юнна МОРИЦ. Сезоны для Музы равны. «Эй, да кто там в вишневом саду...». К столетней годовщине. «Эту ветку миңдала...». У райской птицы. Перед ливнем. Летней ночью. О жизни, о жизни — и только о ней! Ночь гитары.	21
Анатолий КРАВЧЕНКО. «Теплей и прозрачней дождей...». «Тридцатого мая, тридцатого мая...». «Этот свет ночных дорог...»	60
Станислав КУНЬЯВ. «Не бесплодные людские труды...». Детство. День Победы. «В бору шумит весенний лес...». Бескомандная песня. «А что же он сделал, тот гений...». «Я люблю тебя, море, но знаю...». «Прощай, мой ненадежный друг...»	61
Дмитро ПАВЛЫЧКО. «Родное слово, что я без тебя...». Нива. Звезды. Перевел с украинского Л. Смирнов	62
Наталья АСТАФЬЕВА. «Смеркается, и розоватый...». «Могла б давно я провалиться в ад...». «Вновь на дворе оживают...». «Ты огромным серым наметом...». «На привычном бездорожье...». «Я оживаю медленно и робко...». «Любовь, как зонтик, надо мной раскрыта...». «Дорога еще далека...»	70
Владимир ЛЕОНОВИЧ. «Буксирчик, отрывисто вой...». «Сердце падает и бьется...». Сентиментальные стихи. «Сквозь дождь и дерево нагое...»	75

КРИТИКА

Маргарита НОГТЕВА. Из когорты титанов (К нашей владке)	63
Двести первый сезон (Театр)	65
Борис ЯНЧУК. Пепел стучит в сердце. (Поговорим о прочитанном)	71
Круг чтения (Маленькие рецензии и аннотации)	72

ПИСЬМО АВГУСТА

Светлана АФЛИЯН. Как хорошо, когда ты нужна людям!	74
--	----

ПУБЛИЦИСТИКА

Александр ШВИРИКАС. Таежная дружина	76
Николай ЧЕРКАШИН. Человек из машины	83
Вадим ГОРЕЛОВ. Отзовись, Аэлита!	89

НАУКА И ТЕХНИКА СПОРТ

Евгений Рубин. А завтра...	95
Юрий ВЛАСОВ. Великий Ганк	97

ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

В. СЛАВКИН. Театр в подворотне	102
Александр ЮДАХИН. Клоун Куклачев и его кошки	104
Анатолий ПАШУК. Праздник медведя	105

ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Анатолий ЗИРАМДЖАН. Энергетический кризис	107
Виталий БАБЕНКО. Дуэль	108
Прият АЙМЛА. Между нами, холостяками.	110
Василий ТРЕСКОВ. «Треба долатити»	111

Главный редактор
Б. Н. ПОЛЕВОЙ

Редакционная коллегия:
А. Г. АЛЕКСИН,
В. И. АМЛИНСКИЙ,
В. Н. ГОРЯЕВ,
А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ
(зам. главного редактора),
Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ
(отв. секретарь),
К. Ш. КУЛИЕВ,
Г. А. МЕДЫНСКИЙ,
В. Ф. ОГНЕВ,
С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,
М. П. ПРИЛЕЖАЕВА.

Художественный редактор
Ю. А. ЦИХОВСКИЙ

Технический редактор
Л. К. ЗЛАБИНА

На 1—4-й стр. обложки
рисунок Б. КОТЛЯРА.

Адрес редакции:
101524, ГСП, Москва, К-6.
Улица Горького, № 32/1.
Телефон редакции 251-32-83.

Рукописи
не возвращаются.

Сдано в набор 2/VI—1976 г.
А 07103.
Подп. к печ. 15/VII—1976 г.
Формат бумаги 84×108/16.
Объем 12,18 усл. печ. л.
17,62 уч.-изд. л.
Тираж 2 650 000 экз.
Изд. № 1802, Заказ № 2329.

Ордена «Зенна
и ордена Октябрьской
Революции
типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина
125865, Москва, А-47, ГСП,
ул. «Правды», 24.



МАСТЕР СПОРТА, МАСТЕР ЖИВОПИСИ

Прослеживая творческий путь Ярослава Викторовича Титова, вспоминая его произведения, отразившие героизм первых пятилеток, ратные подвиги советского народа во время минувшей войны, хочется рассказать и о том, как много труда он вкладывал в работу над своей самой любимой темой — темой спорта. Я убежден, что в этом немалую роль сыграло то, что Я. Титов — мастер спорта, человек, отлично знающий его секреты и умеющий воплотить на холсте все самые волнующие моменты спортивных поединков. Так уж случилось, что в жизни художника искусство и спорт тесно переплелись. Дружба со спортом у него началась в 1922 году в Звенигороде, где он тогда выступил в первых своих официальных соревнованиях. Его последнее выступление состоялось в 1947 году во время чемпионата СССР по баскетболу. Я хорошо помню Титова на площадке — это был умный и энергичный спортсмен, отлично понимающий своего партнера. Тогда с нами вместе играли такие замечательные мастера, как Е. Аленин, С. Спандарян... Между прочим, Титов играл и в хоккей — его партнерами были М. Якушин, Ф. Селин, М. Большаков... Я вспоминаю, как вместе с Титовым участвовал во Всесоюзной спартакиаде 1928 года...

Прошло время. И снова, как в дни нашей юности, приходит Титов в спортивные залы и на стадионы, на матчи и тренировки. Теперь уже с альбомом для эскизов — чтобы воплотить в своих картинах будни и праздники напряженной спортивной жизни.

Недавно в связи с 70-летием со дня рождения Я. В. Титова в залах Центрального Дома работников искусств была развернута выставка, отражавшая широкий творческий диапазон мастера живописи — мастера спорта.

И. ТРАВИН,

заслуженный тренер СССР,
заслуженный работник культуры РСФСР.

Я. Титов.
Бег (набросок).
1949.



Я. Титов.
Встреча.
Олимпийские игры.
Мюнхен. 1972.





Индекс
71120

Цена 40 коп.